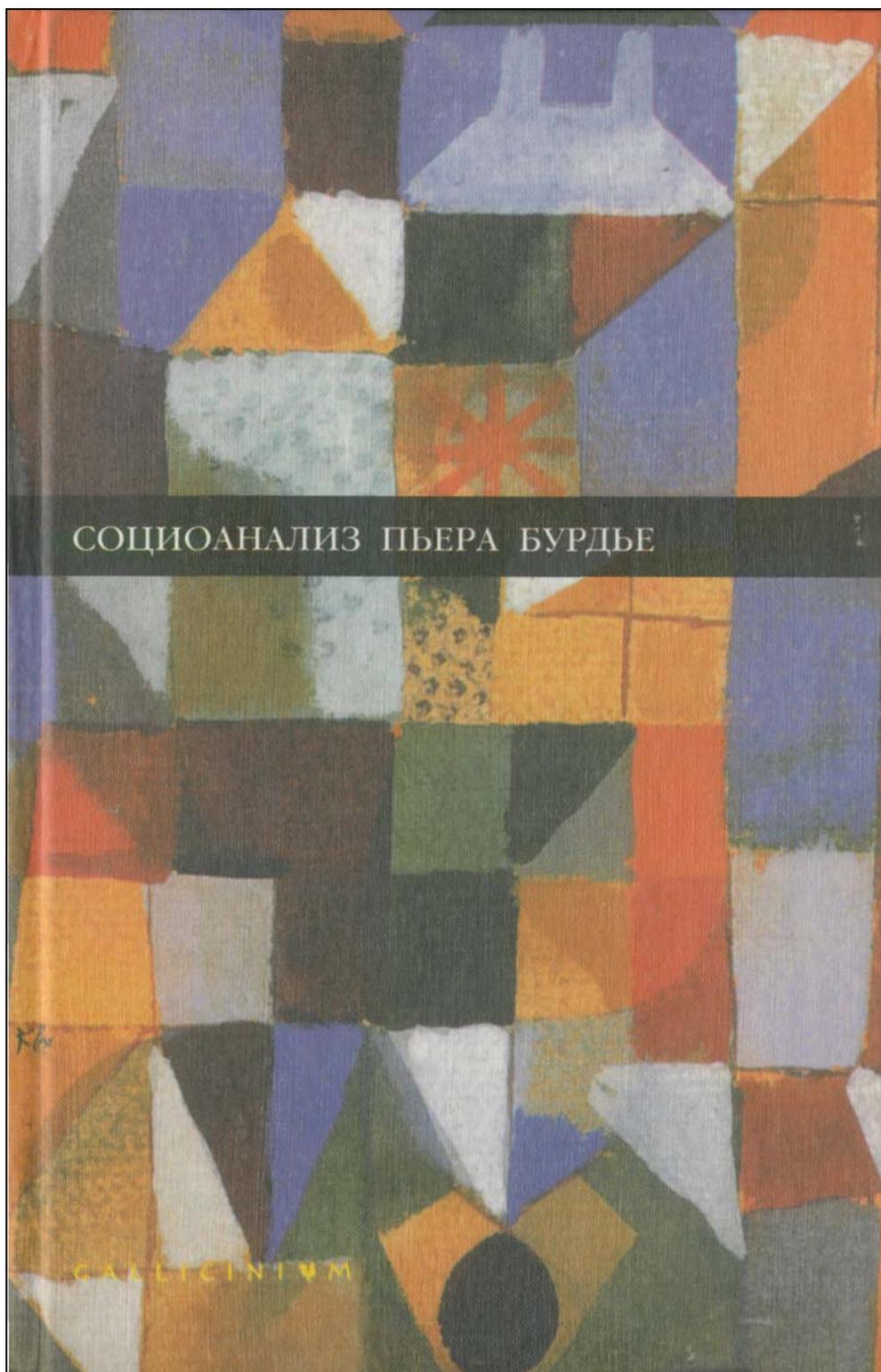
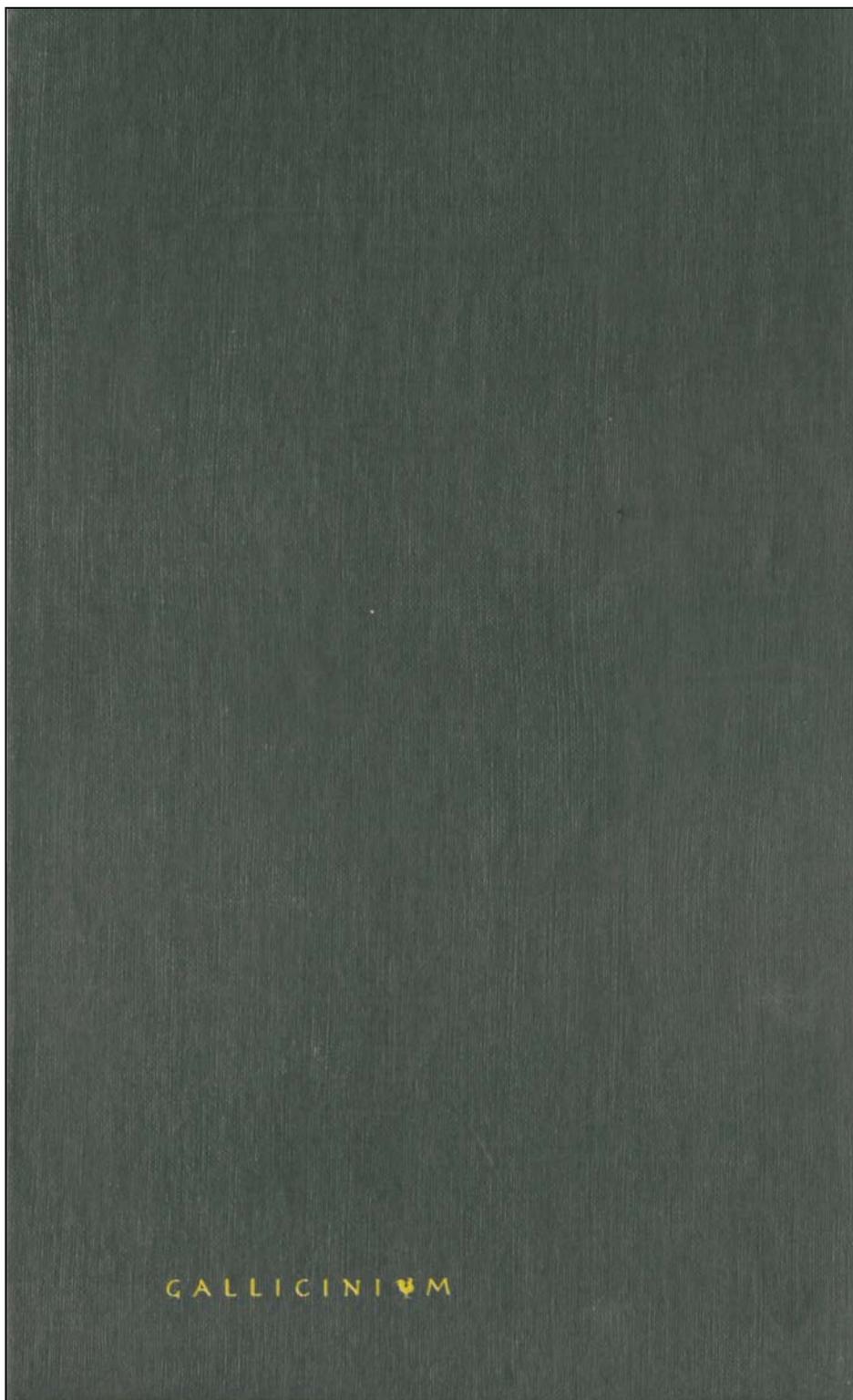


Сканирование и форматирование: Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru ||
yanko_slava@yahoo.com || <http://yanko.lib.ru> || Исq# 75088656 || Библиотека:
<http://yanko.lib.ru/gum.html> || Номера страниц - внизу
update 29.12.06







GALLICINIUM



Programme



(АЛТЕЙЯ)

SOCIO/

ΛΟΓΟΣ

Издание осуществлено в рамках программы «Пушкин» при поддержке Министерства иностранных дел Франции и посольства Франции в России.

Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алтея, 2001. — 288 с.

Ouvrage réalisé dans le cadre du programme d'aide à la publication Pouchkine avec le soutien du Ministère français des Affaires Etrangères, de l'Ambassade de France en Russie.

Редакционная коллегия:

П. Бурдьё (Франция)

Ю.Л. Качанов (Россия)

Л. Пэнто (Франция)

Н.А. Шматко (Россия) — *ответственный редактор*

S/Λ'2001

СОЦИОАНАЛИЗ ПЬЕРА БУРДЬЕ

Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук

«Институт экспериментальной социологии», Москва Издательство «АЛЕТЕЙЯ», Санкт-Петербург
2001

ББК С51(4Г)5 УДК 316(430)(092)Бурдьё С 69

Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

Ответственный редактор Н. А. Шматко Серийное оформление А. Л. Бондаренко

Для специалистов — социологов, философов, а также широкого круга интеллектуалов.

ISBN 5-89329-462-9

© Издательство «Институт социальной социологии», оригинальные тексты, перевод на русский язык, составление, 2001 ©Издательство «Алетейя» (СПб.), 2001

Электронное оглавление

Электронное оглавление	5
Содержание	6
ОТ РЕДАКТОРА	6
ИСТОРИЯ ТЕОРИИ	7
<i>Н.А. Шматко. ГОРИЗОНТЫ СОЦИОАНАЛИЗА</i>	<i>7</i>
§ 1. Пространство возможного: интеллектуальный контекст	7
§ 2. «Эмпирическая теория», или	10
§ 3. Пространство, поле, позиция	14
§ 5. Социальная функция социологии	17
СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ.....	19
<i>Пьер Бурдьё. КЛИНИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ ПОЛЯ НАУКИ*</i>	<i>19</i>
Глава 1. Поле как относительно автономный микрокосмос	19
Глава 2. Специфические свойства поля науки	23
Глава 3. Два аспекта научного капитала	25
Глава 4. Пространство точек зрения	27
Глава 5. Частный случай INRA	29
Глава 6. Преодоление иллюзий и ложных антиномий	31
Глава 7. Несколько нормативных предложений	33
Глава 8. Коллективная конверсия	34
<i>Пьер Бурдьё. ЦЕНзуРА ПОЛЯ И НАУЧНАЯ СУБЛИМАЦИЯ*</i>	<i>36</i>
Анамнез происхождения	38
<i>Пьер Бурдьё. ПОЛЕ ПОЛИТИКИ, ПОЛЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК, ПОЛЕ ЖУРНАЛИСТИКИ*</i>	<i>40</i>
СОЦИОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА	51
<i>Пьер Бурдьё. ОТ «КОРОЛЕВСКОГО ДОМА» К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИНТЕРЕСУ: МОДЕЛЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ БЮРОКРАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ*</i>	<i>51</i>
Особенность династического государства	52
Характерные противоречия династического государства	54
Династическая олигархия и новый способ воспроизводства	58
Логика процесса бюрократизации	59
Круг отрицания и генезис административного поля	62
КРИТИКА.....	64
<i>Лоик Ж. Д. Вакан. ДЮРКГЕЙМ И БУРДЬЁ: ОБЩЕЕ ОСНОВАНИЕ И ТРЕЩИНЫ В НЕМ*</i>	<i>64</i>
Безличная, неделимая и не-уместная наука	66
История как социологический дистиллятор	67
«Косвенный эксперимент» этнологии	69
<i>Луи Пэнто. ТЕОРИЯ В ДЕЙСТВИИ*</i>	<i>70</i>
Отказ от теоретических альтернатив	71
Самоограничение научного знания	72
Предпосылки и предпочтения	74
Коперниканская социология: объективация научного субъекта	75
Теория как знание и власть	78
<i>Жак Бувресс. ПРАВИЛА, ДИСПОЗИЦИИ И ГАБИТУС*</i>	<i>80</i>
<i>Филипп Коркюф. КОЛЛЕКТИВНОЕ В СПОРЕ С ЕДИНИЧНЫМ: ОТТАЛКИВАЯСЬ ОТ ГАБИТУСА*</i>	<i>89</i>
Три стороны единичности	90
Идентичность-самость и идентичность-тожесть	90
Моменты субъективации	90
От философии к социологии	91
Габитус, или Вызов коллективной единичности	91
Обедневший габитус	91
Теоретический вызов	92
Между теоретическими амбициями и эмпирической недостаточностью	93
Эмпирический случай: Хайдеггер	93
Множественная единичность	95
Еще раз о габитусе	95
Отложение слоев обыденного чувства собственной единичности	96
Множество форм вступления в действие	97
Литература	99
Библиография	100
Основные труды Пьера Бурдьё	100
Публикации о Пьере Бурдьё	101

Содержание

7.....	От редактора
11	ИСТОРИЯ ТЕОРИИ
13.....	<i>Н.А. Шматко.</i> Горизонты социоанализа
47.....	СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ
49.....	<i>Бурдьё П.</i> Клиническая социология поля науки
96.....	<i>Бурдьё П.</i> Цензура поля и научная сублимация
107	<i>Бурдьё П.</i> Поле политики, поле социальных наук, поле журналистики
139	СОЦИОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА
141	<i>Бурдьё П.</i> От «королевского дома» к государственному интересу: модель происхождения бюрократического поля
177.....	КРИТИКА
179.....	<i>Вакан Л. Ж. Д.</i> Дюркгейм и Бурдьё: общее основание и трещины в нем
197.....	<i>Пэнто Л.</i> Теория в действии
224	<i>Бувресс Ж.</i> Правила, диспозиции и габитус
250.....	<i>Коркюф Ф.</i> Коллективное в споре с единичным: отталкиваясь от габитуса
282	БИБЛИОГРАФИЯ

ОТ РЕДАКТОРА

Вы открыли специальный выпуск альманаха Российско-французского центра социологии и философии, посвященный семидесятилетию выдающегося социолога Пьера Бурдьё. Здесь вы найдете как работы самого юбиляра, так и критические статьи, раскрывающие его концепцию.

Пьер Бурдьё — несомненно один из крупнейших социологов современности. Как во Франции, так и в Европе фигур, равновеликих ему, сегодня нет. По силе воздействия на свою эпоху П. Бурдьё сравнивают с Ж.-П. Сартром, называя «тотальным интеллектуалом» и подчеркивая тем самым широту его непосредственных интересов. На разных этапах своего творческого пути П. Бурдьё исследовал социальное воспроизводство, систему образования, государство, власть и политику, литературу, масс-медиа, социальные науки. Он не поддается одномерной оценке и менее всего подходит на роль идола. Он тот, кто будоражит умы, вызывает восхищение и надежду одних и бурный протест других. Обостренное чувство социального, критика, направленная против любых способов и механизмов доминирования: политического, экономического, культурного — вызывает сопротивление и отторжение со стороны попавших в зону его критики. Редактор французского интеллектуального журнала *«Magazine littéraire»* во вступительной статье к номеру, посвященному П. Бурдьё, пишет: «Пытаться сегодня осмыслить творчество Пьера Бурдьё, его систему мышления, его теории — это все рав-

8

но, что сунуть в электрическую розетку два пальца. Выйдешь либо просветленным, либо обугленным»¹.

П. Бурдьё — не привычный академический или кабинетный ученый. Он стремится не просто познать и объяснить общество, но воздействовать на него, изменить его с помощью «интеллектуальных орудий», которые, на его взгляд, дает настоящий социологический анализ. Позиция П. Бурдьё как «ангажированного» социолога — и этим он опять-таки напоминает Ж.-П. Сартра — сложилась не сразу и не просто, а по мере роста его социальной и социологической зрелости. К тому же политическая вовлеченность П. Бурдьё определяется не его «левой» или «правой» политической позицией, но через оппозицию всяким господствующим политическим практикам, какой бы ориентации они не были. Он неоднократно подчеркивал свою непричастность к какой-либо политической партии:

«Я не испытываю склонности к пророческим выступлениям и предпочитаю действовать в тех случаях, когда могу... выйти за пределы моей компетенции... ведомый чувством, может быть иллюзорным, некоего легитимного гнева, близкого чувству долга... Выступая от своего собственного имени, я делал это в надежде, если не мобилизовать людей или хотя бы вызвать дискуссии... то разорвать видимость единодушия, на котором держится символическая сила господствующего дискурса»².

Начиная с 1993 года, с публикации коллективной монографии «Нищета мира», Пьер Бурдьё вместе со своими единомышленниками занимает критическую социологическую и политически ангажированную позицию, выступая на стороне социально обделенных, находящихся под угрозой или исключенных из общества групп: алжирских эмигрантов, безработных, молодежи «проблемных парижских окраин», крестьян, выступающих против неолиберального репрессивного законодательства... Свою позицию ангажированного социолога — «ученого-борца», со-

¹ Pierre Bourdieu // Magazine littéraire. 1998. Octobre. № 369. P. 19.

² Bourdieu P. Contre-feux. P.: Liber-Raison d'agir, 1998. P. 7-8.

9

единяющего неким образом сартровского «тотального интеллектуала» и «специфического интеллектуала» М. Фуко, — Пьер Бурдьё и близкие ему исследователи выражают в социологических исследованиях и публикациях на «горячие сюжеты», объединенных в книжную серию «Повод к действию». Эти работы, а также выступления П. Бурдьё на митингах и демонстрациях навлекли на него множество нареканий со стороны «чистых мыслителей», считающих, что дело ученого — быть в стороне Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

от политики, наблюдать и анализировать, но не участвовать непосредственно в политических событиях.

Теоретическая система П. Бурдьё и труды его школы сталкиваются с сопротивлением в кругах университетских преподавателей, чуждых духа научного поиска. Однако невозможно отрицать, что число его приверженцев и последователей во всем мире непрерывно растет. Школа П. Бурдьё — это не нечто ставшее и неизменное, но развивающийся организм с постоянно-переменным составом сторонников и учеников. Ряд исследователей, начинавших в 60-х с П. Бурдьё — «первый круг», — отделились, не выдержав работы в логике единой школы (Ж.-К. Шамборедон, Ж.-К. Пасрон, К. Гриньон, Л. Болтански). С другой стороны, за двадцатипятилетнюю историю существования Центра европейской социологии и журнала *«Actes de la recherche en sciences sociales»*, основанных и руководимых непосредственно П. Бурдьё, сформировалось «твердое ядро» и четко очерченные теоретические контуры школы.

Восемь лет прошло с момента первой публикации на русском языке программной статьи П. Бурдьё «Социальное пространство и генезис "классов"»³. С того времени было опубликовано в переводе немало трудов как самого юбиляра, так и его коллег. Для лучшего понимания концепции социоанализа рекомендуем обратиться к работам, список которых приведен в конце данной книги.

Задача, которую ставила перед собой редколлегия этого юбилейного выпуска, состоит не в подведении итогов и

³ Бурдьё П. Социальное пространство и генезис «классов» / Пер. с Фр. Н. А. Шматко // Вопросы социологии. Т. 1. 1992. № 1. С. 17-36.

10

вынесении окончательного приговора социоанализу. Она и не в том, чтобы доказать неоспоримость и всесильность теоретической системы Пьера Бурдьё. Наша задача скромнее — дать читателю возможность самому познакомиться с социоанализом, а также продемонстрировать позицию его критиков, подвергающих внимательному разбору ряд аспектов и составляющих концепции П. Бурдьё: габитус, поле, капитал. Пусть выводы сделает сам читатель.

Н. А. Шматко

ИСТОРИЯ ТЕОРИИ

Н.А. Шматко. ГОРИЗОНТЫ СОЦИОАНАЛИЗА

§ 1. Пространство возможного: интеллектуальный контекст

Анализ концепции П. Бурдьё, уже в силу самих ее основополагающих принципов, требует рассмотрения ее происхождения и, хотя бы в самом общем виде, той интеллектуальной и социальной ситуации во Франции, которая составляла условия возможности становления его как ученого. П. Бурдьё учился в Париже в одном из самых престижных (как в то время, так и теперь) высших учебных заведений — Высшей педагогической школе (*Ecole normale supérieure*), куда поступил несмотря на огромные для выходца из «народных классов»¹ трудности. П. Бурдьё учил-

¹ Пьер Бурдьё родился в 1930 году в Беарне, в деревне на границе с Испанией, в семье почтового чиновника. Закончив Высшую педагогическую школу в 1955 г., он начал преподавал философию в лицее небольшого города Мулен, но в 1958 г. уехал в Алжир, где продолжил заниматься преподаванием и начал работать как социолог. Далее последовал переезд в Лилль, а потом в Париж, где в 1964 г. П. Бурдьё стал директором-исследователем в Высшей практической исследовательской школе (*Ecole pratique de hautes études*). В 1975 г. он возглавил Центр Европейской социологии, имеющий обширные международные научные контакты и программы. В том же году П. Бурдьё организовал журнал «Ученые труды в социальных науках» (*«Actes de la recherche en sciences sociales»*), занимающий в настоящее время одно из ведущих мест среди социологических журналов Франции.

© Шматко Н. А., 2001

14

ся на отделении философии; его однокурсником был известный философ Ж. Деррида, а учителями — Л. Альтюссер, Г. Башляр, Ж. Кангильем, А. Койре и М. Фуко. В его студенческие годы в социальных науках сначала безраздельно господствовала философия, а затем наибольший авторитет получила антропология. Французская философия структурировалась тогда оппозициями: Ж.-П. Сартр — К. Леви-Строс, Ж.-П. Сартр — Р. Арон, Ж. Батай — Э. Бейль. Несмотря на то, что именно во Франции социология впервые стала университетской дисциплиной и имела прочные академические традиции, в качестве учебного курса в то время она не получила должного развития и считалась непрестижной специализацией. Свой выбор в пользу социологии П. Бурдьё объясняет стремлением к серьезности и строгости, желанием решать не отвлеченные познавательные задачи, но анализировать реально существующее общество и его действительные проблемы средствами социальных наук. На отход П. Бурдьё от философии повлияли в том числе работы М. Мерло-Понти «Гуманизм и террор» (1947) и «Приключения диалектики» (1955), в которых предпринималась попытка применить универсальные философские категории к анализу современных политических явлений.

В пятидесятые-шестидесятые годы во французской философии были наиболее ярко представлены три влиятельных направления: феноменолого-экзистенциализм (объединявший «Феноменологию духа» Г. В.

Ф. Гегеля и феноменологию Э. Гуссерля, Ф. Ницше и С. Кьеркегора, М. Мерло-Понти и М. Хайдеггера, проводниками которых в университетской среде были Ж. Валь, А. Кожев и Ж. Ипполит), структурализм и марксизм. Под влияние феноменолого-экзистенциализма в пятидесятые годы попали многие молодые философы: М. Фуко, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Деррида. Именно в этом философском контексте следует анализировать становление социологической концепции П. Бурдьё. Многие социологи (по большей части, преподаватели социологии и философии) находят истоки вдохновения П. Бурдьё в трудах К. Маркса, М. Вебера, Э. Дюрк-

15

гейма и Э. Кассирера. Это, несомненно, не лишено основания, но все же представляет собой весьма упрощенный взгляд, ограниченный университетской программой². Безусловно, можно проследить, как корни социологической концепции П. Бурдьё восходят к классикам, но это не означает, что она исчерпывается комбинацией положений, принадлежащих основополагающим социологическим учениям. Скорее следует говорить о критическом прочтении не только классических социологических трудов, но и социологических и философских работ современников. По выражению самого П. Бурдьё, он читает «вместе с автором против него», пытаясь восполнить К. Маркса — М. Вебером, М. Вебера — Э. Дюркгеймом, Э. Кассирера — М. Хайдеггером, К. Леви-Строса — Ж.-П. Сартром... Следует отметить, что П. Бурдьё впитал и преодолел, буквально подверг «снятию» (в гегельянском смысле этого слова) многие социологические и философские течения XX века, поскольку они возбуждали его неподдельный интерес и поскольку ни одно из них не могло полностью его удовлетворить. Отношение П. Бурдьё к современным направлениям философии и социологии, а также интеллектуальная атмосфера во Франции в середине XX века последовательно раскрыта им в книге «Паскалевские размышления» (1997). Здесь мы находим персонализированные ответы на вопросы о взаимодействии философии и социологии, а также квинтэссенцию интроспективного социоанализа, развиваемого в более ранних работах обобщающего характера: «Вопросы социологии» (1980), «Начала» (1987), «Ответы» (1992), «Практические доводы»³ (1994). Подобного

² См., например: *Accardo A. Introduction à une sociologie critique: lire Bourdieu. P.: Mascaret, 1997; Ansart P. Les sociologies contemporaines. P.: Seuil, 1990; Bonnewitz P. Premières leçons sur la sociologie de P. Bourdieu. P.: PUF, 1997; Corcuff Ph. Les nouvelles sociologies. P.: Nathan, 1995* и др.

³ Французское название этой книги «*Raisons pratiques*» несомненно перекликается с названием работы И. Канта «Критика чистого разума» и могло бы быть переведено как «Практический разум», однако, поскольку П. Бурдьё использует множественное число, то здесь вступают в игру иные значения слова «*raisons*» — основания, доводы.

16

рода рефлексия над истоками и основаниями собственных работ, в частности, анализ сходства и различий своей позиции с взглядами Л. Альтюссера, Л. Витгенштейна, Г. Гарфинкеля, И. Гофмана, Ж. Делёза, Э. Кассирера, К. Леви-Строса, Т. Парсонса, Ж.-П. Сартра, М. Фуко, Ю. Хабермаса, А. Шюца, Н. Элиаса, представляет особый интерес. Он помогает читателю контекстуализировать теорию П. Бурдьё, объективировать условия ее становления. Глубокое освоение, разрыв и преодоление — вот основные механизмы, приведшие французского социолога к формированию собственного «синтетического» направления, названного впоследствии «генетическим структурализмом». Некоторые критики до сих пор сравнивают П. Бурдьё с «теоретическим антигуманизмом» Л. Альтюссера⁴. На самом деле, подобно многим французским интеллектуалам поколения 60-х гг., П. Бурдьё в начале творческого пути был подвержен сильному влиянию марксизма, истолкованному с позиций экзистенциализма, персонализма и феноменологии. Однако впоследствии он отошел от марксизма, развив в поздних работах его социологическую критику. Марксизм во Франции, пережив взлет после Второй мировой войны, сохранял свою силу и привлекательность вплоть до начала 80-х гг., благодаря, в частности, работам Ж.-П. Сартра, М. Мерло-Понти, Л. Альтюссера, А. Лефевра, деятельности журналов «Социализм или варварство» и «Аргументы». П. Бурдьё детально изучал марксистские труды, делая, в отличие от Л. Альтюссера с его опорой на «зрелого» Маркса, особый акцент на ранние, антропологически ориентированные, работы. По собственному признанию, П. Бурдьё перечитал множество марксистских текстов о становлении пролетариата, что было связано с его работой в Алжире и исследованиями положения рабочих в колониальной системе⁵. Влиянием марксистской тра-

⁴ *Ferry L., Renaut A. La Pensée 68. P.: Gallimard, 1985. P. 202.*

⁵ См., в частности, работы П. Бурдьё: *Guerre et mutation sociale en Algérie // Etudes méditerranéennes. 1960. № 7. P. 25-37; La hantise du chômage chez l'ouvrier algérien. Proletariat et système coloniale // Sociologie du travail. 1962. № 4. P. 313-331; Les sous-prolétaires algériens // Les temps modernes. 1962. № 199. P. 1030-1051.*

17

диции отмечены работы 60-70-х гг.: «Труд и трудящиеся в Алжире» (1963), «Лишенные корней» (1964), «Наследники» (1964), «Воспроизводство» (1970), после публикации которых он был зачислен в ряды французских марксистов, хотя в них явным образом прослеживается структуралистский подход. Между тем П. Бурдьё всегда настаивал на тезисе несводимости всех общественных отношений к экономическим, на идее сложности социального.

Основные бурдьёвские концепты: «класс», «капитал», «производство», «рынок», «интерес» — кажутся вполне марксистскими, если не вникать в трактовку, которую им дает автор. Так, отношения господства как организующие социальное пространство отношения, борьба за занятие доминирующей Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

позиции играют в его концепции центральную роль, что заставляет думать о марксизме с характерной для него идеей классовой борьбы. Однако борьба у П. Бурдьё преследует не достижение господствующего положения в структуре распределения средств экономического производства (базовая оппозиция «эксплуататоры/ эксплуатируемые»), а нацелена, по преимуществу, на более широкое социальное и символическое господство, связанное с легитимностью доминирования одних и подчиненного положения других (оппозиция «доминирующие/доминируемые»). Особое значение придается сопоставлению смысловых и силовых отношений, символическому аспекту господства в социальных отношениях, а это сближает теоретическую позицию автора с веберовской в значительно большей мере, нежели с марксистской.

Наиболее ярко расхождение с марксизмом прослеживается в трактовке социальных классов. Обозначая свою позицию, П. Бурдьё говорит о разрыве с субстанциалистским (в терминах Э. Кассирера) подходом к проблеме социальных групп (классов), при котором группа — в ущерб социальным отношениям — рассматривается лишь как данная в непосредственном опыте и поддающаяся статисти-

18

ческому подсчету совокупность индивидов, определяемая множеством выделенных социологом свойств:

«... Марксизм либо без долгих разговоров отождествляет класс сконструированный и класс реальный, т. е. вещи в логике и логику вещей, а ведь именно в этом Маркс сам упрекал Гегеля; либо же противопоставляет "класс-в-себе", определяемый на основе ансамбля объективных условий, и "класс-для-себя", основанный на субъективных факторах, причем переход одного в другое марксизм постоянно "знаменует" как настоящее онтологическое восхождение в логике либо тотального детерминизма, либо — напротив — полного волюнтаризма»⁶.

П. Бурдьё выступает против *реализма интеллигентного*, наделяющего сконструированную в процессе научного исследования группу, т. е. абстрактную сущность, статусом социального бытия. Такая «теоретическая» группа есть «группа на бумаге» — результат объяснительной классификации. Однако, забывая об ее «искусственном» происхождении, ей приписывают единство политического и социального действия, определенный стиль жизни, групповые интересы, менталитет и т. п.:

«Социальных классов не существует (даже если политическая работа, направляемая теорией Маркса, может в некоторых случаях внести свой вклад и заставить их существовать, по крайней мере, через инстанции мобилизации и выборных лиц). Существует лишь социальное пространство, пространство различий, в котором классы существуют как бы в виртуальном состоянии, в потенции, не как нечто данное, но как *нечто, что нужно сделать*»⁷.

Еще одним существенным направлением разрыва является характерный для марксизма экономизм, т. е. исследовательская позиция, при которой социолог *a priori* отдает пальму первенства экономическим отношениям, выводя из них и подчиняя им все остальные социальные отноше-

⁶ Бурдьё П. Социология политики /Пер. с фр. /Сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1993. С. 62.

⁷ Bourdieu P. Le Sens pratique. P.: Minuit, 1980. P. 28.

19

ния. Не отрицая важности экономических отношений и конституирующей роли экономического капитала в структурировании социального пространства, П. Бурдьё неизменно подчеркивает многомерный характер социальных отношений, в котором экономическая составляющая лишь одна из многих.

Объясняя употребление «ортодоксальной» терминологии политической экономии, П. Бурдьё указывает, что это позволяет ему ввести социологическое объяснение сферы культуры, откуда исторически, с приходом модернистского видения искусства и становления автономии поля культуры, было изгнано научное («сциентистское») мышление:

«История интеллектуальной и художественной жизни может быть понята как история изменения функций институций по производству символической продукции и самой структуры этой продукции, что соотносится с постепенным становлением интеллектуального и художественного поля, т. е. как история автономизации собственно культурных отношений производства, обращения и потребления»⁸.

Концепт «производство» аналитически указывает, что любая практика агента есть действие над и с условиями/предпосылками [практики], влекущая за собой их изменение или воссоздание: практики производят/воспроизводят *условия производства*, понимаемые как социальные отношения. Иными словами, помимо своего непосредственного результата (в случае интеллектуального и художественного производства речь идет о символической продукции) практики агентов производят и воспроизводят социальные отношения.

Феноменолого-экзистенциализм во Франции порывал как с академическим рационализмом, так и с метафизикой. С одной стороны, по-новому решался вопрос о гуманизме, а с другой — приверженцы этого направления пы-

* Бурдьё П. Рынок символической продукции / Пер. с фр. Е. Д. Вознесенской // Вопросы социологии. 1993. № 1/2. С. 49.

20

тались превратить философию в «строгую науку» посредством интенциональности, трансцендентальной редукции и т. п. М. Мерло-Понти старался распространить понятие «позитивных наук», в частности, психологии и биологии, на философию. На П. Бурдьё оказали большое влияние

труды Э. Гуссерля, М. Мерло-Понти, М. Хайдеггера, А. Шютца. Они подтолкнули его к анализу обыденного опыта.

Однако наибольшее воздействие на концепцию П. Бурдьё прослеживается со стороны структурализма. Французский структурализм (К. Леви-Строс, Р. Барт, Ж. Лакан, а также отчасти М. Фуко) никогда не был школой или группой единомышленников, но между его представителями на протяжении пятидесятих — шестидесятых годов, вплоть до 1968 г., существовала проблемная общность. К. Леви-Строс — ключевая фигура французского структурализма — пытался использовать некоторые приемы лингвистического анализа для объективного познания неосознаваемых структур отношений культурной и ментальной жизни первобытных племен. Структурализм в форме антропологии превратился в одну из немногих признанных в социальных науках дисциплину и вызвал в них настоящий переворот: археология, антропология, семиология и другие «логии» стали наглядным выражением стремления гуманитариев стереть границу между наукой и философией. Французский структурализм шестидесятых годов был во многом реакцией на засилье феноменолого-экзистенциализма: в студенческой среде того времени это течение расценивалось как «вялый гуманизм», потворство «жизненному опыту» и «политическое морализаторство», тогда как основные положения структурализма больше напоминали «строгую науку», нежели «философствование».

Влияние К. Леви-Строса на П. Бурдьё было настолько сильным, что он даже предпринял попытку стать этнологом и занялся изучением феноменологии эмоциональной жизни. Он полагал соединить в своей работе философию, социологию и этнологию, предприняв исследование структур восприятия и ощущения времени в эмоциональном

21

опыте на примере алжирских крестьян, эмигрировавших в большие французские города. П. Бурдьё проводил одновременно этнолого-антропологические исследования (о родственных связях, ритуалах, докапиталистической экономике) и социологические исследования с использованием результатов социально-демографических опросов Национального института статистических исследований и экономики (*INSEE*). Антропологические и социологические исследования П. Бурдьё взаимопроникали, поскольку он анализировал условия усвоения «капиталистического» габитуса людьми, сформировавшимися в «докапиталистическом» обществе, прибегая к наблюдениям и измерениям, а не ограничиваясь осмыслением вторичных материалов. П. Бурдьё начал использовать статистику, что делалось в этнологии в 60-е годы крайне редко, и полученные результаты заставили его пересмотреть такие устоявшиеся понятия, как «родство», «правила родства».

В предисловии к работе «Практический смысл», построенной на исследовании типично структуралистской проблематики — антропологическом анализе организации пространственно-временных структур кабийского дома и структур родства, однако реализованном в духе структурно-генетического анализа, П. Бурдьё отмечает, что его идейный разрыв со структурализмом произошел еще в 1963 г. В сборнике, посвященном 60-летию К. Леви-Строса, он опубликовал статью, которая считается его последней работой в духе «сознательного структурализма»⁹.

«Мне стало казаться, — пишет П. Бурдьё, — что для понимания той почти чудесной (а потому немного невероятной) необходимости, которую показывал анализ, несмотря на отсутствие какого-либо организующего намерения, нужно вести поиск в направлении инкорпорированных предрасположенностей или, можно сказать, *телесной схемы*, этого командного принципа, способного направ-

⁹ Bourdieu P. La Maison kabyle ou le monde renversé // Echanges et communications. Mélanges offerts à C Lévi-Strauss à l'occasion de son 60e anniversaire / Pouillon J., Maranda P. (dir.). P.; La Haye: Mouton, 1970. P. 739-758.

22

лять практики одновременно неосознанным и упорядоченным образом»¹⁰.

Связь структурно-антропологических исследований периода шестидесятых со становлением в последующих работах концепции габитуса вполне очевидна. Вместе с тем П. Бурдьё потребовалось еще сравнительно много времени, чтобы действительно преодолеть структурализм, фундаментальные принципы которого он поначалу пытался применить к социологии, считая социальный мир пространством объективных связей, трансцендентных по отношению к агентам².

Подчеркивая свою идейную близость со структуралистами, П. Бурдьё к ним себя никогда не относил, поскольку принадлежал другому поколению (они были его преподавателями). Он утверждал, что его «вклад в дискуссии о структурализме родился из попытки объяснить логику такого реляционного и трансформационного способа мышления, специфические препятствия, которые он встречает на своем пути, во всяком случае в социальных науках, и дать точную характеристику условий, при которых он может распространиться за пределы культурных систем на социальные отношения, т. е. на социологию»¹³.

§ 2. «Эмпирическая теория», или

конструирование предмета исследования

П. Бурдьё решительно протестует против приклеивания какого-либо ярлыка к его системе взглядов, которую он также отказывается называть «теорией», подчеркивая, что

¹⁰ Bourdieu P. Le Sens pratique... P. 22.

¹¹ Более подробный анализ понятия «габитус» и его места в теории и исследовательских проектах П. Бурдьё см.: Шматко Н. А. «Габитус» в структуре социологической теории // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 1. 1998. № 2. С. 60-70.

¹² Бурдьё П. Начала/Пер. с фр. Н.А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1994. С. 17-18.

¹³ Bourdieu P. Structuralism and theory of sociological knowledge // Social Research. Vol. XXXV. 1968. № 4. P. 681-706.

23

его работы направлены не на анализ существующих понятий или разработку нового категориального аппарата, но на изучение действительных социальных явлений с помощью определенных социологических «инструментов». Логика его многочисленных исследований противоположна схоластическому теоретизированию: как практический социолог и социальный критик П. Бурдьё выступает за «практичную» мысль в противовес искусственно отстраненной от жизни «чистой», т. е. непрактичной, не находящей применения, теории. Все основные его понятия — поле, габитус, капитал, символическое насилие и т. п., — а также логика и методология работы с ними раскрываются лишь в «живом» социологическом исследовании.

П. Бурдьё поставил своей задачей преодолеть существующие в социальных науках ложные, как он считает, противопоставления теории и эмпирии, объективизма и субъективизма, микро- и макроанализа. Он не просто не признает подобного рода деления, но доказывает это положение своими работами: его теоретические тексты насквозь эмпиричны. Разрывая с неокантианской интеллектуалистской традицией, П. Бурдьё подчеркивает свою позицию антиинтеллектуалиста и выступает против создания «чистой» или «теоретической теории», тенденции рассматривать все проблемы восприятия в терминах познания¹⁴. Он настаивает на том, что понятие есть в первую очередь программа социологического исследования и система блокировки ошибок: теоретические определения не имеют сами по себе никакой ценности, если их нельзя заставить работать в реальном исследовании.

Придерживаясь, вслед за Э. Дюркгеймом, концепции социологии как строгой науки, П. Бурдьё придает большое значение верификации как методов, так и результатов ис-

¹⁴ «...Я не столько хотел наблюдать за наблюдателем в его своеобразии, что само по себе не представляет большого интереса, сколько наблюдать за воздействием, произведенным положением наблюдателя на само наблюдение, на описание наблюдаемых вещей, открыть все предположения, присущие теоретическому положению как видению внешнему, отдаленному, отстраненному или просто непрактичному, невовлеченному, неинвестированному» (Бурдьё П. Начала... С. 94).

24

следования. Все его выводы основаны на результатах проведенных им и сотрудниками его центра исследования (которые, кстати, по французской традиции называются не эмпирическими, а полевыми). Эти исследования базируются на комплексном сборе данных, не замыкаясь исключительно на анкетировании, но и не отрицая этот метод¹⁵. «Обычная» для сотрудников П. Бурдьё процедура проведения полевого исследования включает целую батарею различных методик и техник, как качественных, так и количественных, где одни дополняют другие. Наиболее важное место отводится собственно конструированию предмета исследования, необходимым моментом которого является рефлексия как над проблематикой, так и над позицией самого исследователя, объективация интереса исследователя к данной проблемной области и разрыв с предпонятиями, предвзятыми мнениями и «социологическим здравым смыслом».

Судить о значении, которое П. Бурдьё придает конструированию предмета и методам сбора данных о нем, можно уже на том основании, что все основные его книги содержат в качестве приложений методический инструментарий, описание выборки и т. п., а в предисловии к публикациям подробно раскрывается процесс построения объекта исследования. Для читателя возможность ознакомиться с инструментарием и методологией важна во многих смыслах: это и один из путей верификации, и предостережение от ошибочной трактовки или излишнего обобщения результатов, и практическое научение исследованию. «Только зная, что делал социолог, — замечает П. Бурдьё, — можно адекватно прочитать продукт этих

¹⁵ Критику опросного метода можно найти во многих работах П. Бурдьё или его соратников — П. Шампана, Д. Мерлье, но относится она в основном к опросам общественного мнения и к редуцированию метода опроса к зондажу и, в частности, к такому узкому его виду, как предвыборные опросы. См., например: Бурдьё П. Общественное мнение не существует // Бурдьё П. Социология политики / Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1993. С. 159-178; Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра / Пер. с фр. М.: Socio-Logos, 1997.

25

его операций»¹⁶. Методическая часть работ П. Бурдьё имеет принципиальное значение для понимания «эмпирического содержания» его теоретических понятий: поля, позиции, капитала, стратегии. Он подробно излагает, какие переменные были выбраны для исследования, как они формировались и как обрабатывались, причем одно только количество переменных впечатляет российского социолога, привыкшего довольствоваться значительно более скромной информацией.

Труды П. Бурдьё насыщены статистическими таблицами, диаграммами, схемами, демонстрирующими статистические результаты. Эти работы нельзя читать, опуская статистическую часть исследования как что-то конкретно-историческое, сугобо национальное, а потому к нам не

имеющее отношения, и обращать внимание лишь на полученные теоретические выводы. «Перескакивать» эмпирические выкладки в книгах П. Бурдьё — все равно, что читать совсем другие книги.

Главной опасностью П. Бурдьё считает склонность читателя к перенесению логики обыденного языка в язык социологии, когда с высказываниями сконструированного исследователем языка обращаются тем же образом, что и с высказываниями «здорового смысла». Так, например, социолог констатирует в процессе анализа факт наличия какой-то «ценности», а читатель стремится трактовать это суждение как ценностное суждение. Если П. Бурдьё утверждает, что женщины реже мужчин отвечают на «политические» вопросы зондажей общественного мнения, то всегда находится кто-то, упрекающий его за исключение женщин из сферы политики. Это происходит потому, что когда социолог фиксирует то, что есть, кто-то хочет сказать: «Хорошо вот так, как есть».

«...Констатация социологом того факта, что мужчины (и уж тем более женщины) наиболее культурно обделенных классов в своем политическом выборе полагаются на партию, которую они считают своей (в настоящее время

¹⁶ Bourdieu P. Homo academicus. P.: Minuit, 1984. P. 34.

26

мя — на Коммунистическую партию), была понята как увещевание целиком положиться на эту партию. Действительно, в обыденной жизни описывают народную еду только либо с восхищением, либо с отвращением, никогда не стремясь понять ее логику, понять здравый смысл, иначе говоря, дать себе возможность *воспринять ее как она есть*. Читатели прочитывают социологию сквозь очки своего габитуса. В том же самом реалистическом описании одни готовы найти оправдание своему классовому расизму, другие — заподозрить, что оно внушено классовым презрением. В этом проявляется принцип *структурной ошибки* в коммуникации между социологом и читателем»¹⁷.

В связи с этим П. Бурдьё вводит различие между *эмпирическим индивидом* (наблюдаемым в обыденном опыте) и *эпистемическим индивидом* (сконструированным исследователем в целях анализа)¹⁸. Если первый воспринимается как единичность, наделенная бесконечным множеством свойств, то второй — это ограниченный набор свойств, служащих в исследовании наблюдаемыми переменными и отвечающих требованиям используемого теоретического универсума. Эпистемический индивид не содержит ни одной характеристики, которую нельзя было бы концептуализировать. Таким же образом можно провести различие между *агентом* (одним из основных понятий бурдьёвской концепции) и *индивидом* (понятием феноменологии и методологического индивидуализма). Агент определяется конечной совокупностью свойств, а индивид — это нечто «готовое», «всегда уже» данное. Различие между эмпирическим и эпистемическим индивидом имеет особое значение в исследованиях позиций агентов, фигурирующих под собственными именами¹⁹, поскольку читатель почти неизбежно подменяет констатирующие вы-

¹⁷ Bourdieu P. Questions de sociologie. P.: Minuit, 1984. P. 41.

¹⁸ См.: Bourdieu P. Homo academicus... P. 34-52.

¹⁹ Как это было в случае исследования университетского поля («*Homo academicus*»), поля литературы («*Les règles de l'art*») или поля экономики («*Les structures sociales de l'économie*»).

27

сказывания исследователя оценочными суждениями, редуцируя научный анализ к сведению счетов.

Знакомство с социальным пространством, в котором социолог намерен проводить исследование, является одним из фундаментальных требований, но в то же время такой подход не лишен опасности излишне личностного восприятия и слабой объективации позиции и интересов исследователя. Поэтому первым этапом в конструировании предмета исследования выступает *статистическое конструирование*, включающее сбор и анализ всей возможной информации. Нужно отметить, что здесь французский социолог, не в пример российскому, находится в благоприятных условиях, поскольку статистика, а главное — социальная статистика, институционализована, поставлена на поток. Параметры и показатели сбора данных обширны и систематизированы, а опросы и переписи регулярны. На это работает крупный государственный научный институт — Национальный институт статистических и экономических исследований (*INSEE*). Данные переписей и статистических опросов свободно и безвозмездно передаются научным сотрудникам, работающим в государственных учреждениях.

Следующий необходимый этап полевого исследования — интервьюирование так называемых информаторов. Они выступают в роли «экспертов» по проблеме, но не в смысле их способности ответить на вопросы исследования, а лишь в том отношении, что они более других информированы о проблемной ситуации, поскольку непосредственно в нее включены. Подобная процедура дает возможность социологу получить детальную информацию о состоянии проблемной области, верифицировать процедуру конструирования предмета исследования, уточнить гипотезы исследования, адекватно сформулировать вопросы последующего анкетного опроса. Выборка для проведения анкетного опроса составляется на основе анализа статистики и результатов опроса информаторов. В большинстве случаев речь идет о проблемно сфокусированной выборке, а не о статистической репрезентации какой-либо генеральной

28

совокупности. В этом еще раз проявляется отличие подхода П. Бурдьё к опросу, поскольку он стремится включать в выборку только тех, кого непосредственно касается исследуемая проблема, кто в силу этой заинтересованности задумывается над ней, располагает средствами, необходимыми для производства собственных суждений. Далее, процедура полевого исследования подразумевает добор

недостающих данных, уточнение конкретных аспектов и деталей на основе глубинных (полудирективных или свободных) интервью с представителями отдельных подвыборок респондентов. Цель глубинных интервью — дополнить уже собранную информацию и уточнить интерпретацию статистических тенденций, полученных в результате математической обработки данных.

Среди других методов «эмпирической работы» исследователями школы П. Бурдьё широко применяется анализ документов (исторических, юридических, административных и прочих). К документам, в частности, относятся разного рода мемуары, биографические справочники, которые во множестве издаются на Западе по всевозможным сферам и по разным социальным категориям, ежегодники школ и университетов, публикующие сведения о преподавателях и обучаемом контингенте, и многое другое. Биографические и автобиографические данные дополняются объективными сведениями. Например, в случае писателей и ученых анализируются их работы, журналы и издательства, которые их публикуют, отзывы, рецензии... Подобного рода работа, расширяющая и обогащающая данные опросов, хорошо представлена в приложениях к фундаментальному труду П. Бурдьё «Государственная знать» (1989). Эта книга посвящена анализу формирования и функционирования корпораций государственных служащих, а также роли престижных высших школ Франции — *Grandes Ecoles* — в воспроизводстве позиций поля власти. Обосновывая применение комплекса методик сбора данных, аккумуляции многих источников информации об одном предмете, П. Бурдьё настаивает на том факте, что ни одна анкета или интервью, сколь бы подробными они ни были,

29

не могут дать необходимого объема достоверной информации, особенно когда дело касается респондентов, занимающих высокое положение. Считая интервью необходимым, но недостаточным источником социологической информации, П. Бурдьё разделяет мнение Ж. Лотмана, высказанное им по поводу опроса лидеров профсоюзов предпринимателей:

«Руководители предприятий, как и буржуазия в целом, охотно откровенничают только с теми, кого считают равными себе или с лицами своего круга. Совершенно очевидно, что социолог не проходит по этим критериям. Ограничения, накладываемые в этом случае на ситуацию интервью, выражены сильнее, чем во многих других социальных средах. К распространенному скептицизму в отношении социальных наук здесь добавляется привычка к власти и господствующей позиции в диалоге, которые еще более сужают границы свободы исследователя»⁰.

Помимо упомянутых — традиционных для социологии — методов П. Бурдьё и его сотрудники широко практикуют методы других социальных наук: истории, этнографии, антропологии, лингвистики. Такая методическая позиция соответствует глубинному убеждению в искусственности разделения наук об обществе. Примером соединения методов различных социальных наук является исследование, предпринятое в работе «Практический смысл». Там применялись как последовательно, так и параллельно «батарея» антропологических методов, набор методов структурной лингвистики, генеалогическое исследование, анкетирование, статистический анализ. Помимо традиционных для антропологии синоптических таблиц, где фиксировались связи между полярными позициями, П. Бурдьё начал применять метод группировки перфокарт, что для начала шестидесятых было совершенно новаторским приемом. На перфоркарты переносилась совокупность всех имеющихся данных, которые можно было собрать по проведенным

²⁰ *Lautman J. Fait social et questions sociologiques: à propos du syndicalisme patronal // Le mouvement social. 1967. № 61. P. 65.*

30

ранее исследованиям. Так, в исследовании кабийского ритуала было изготовлено около 1500 перфокарт²¹. Затем информация на перфоркартах дополнялась информацией анкетного опроса, а также данными новых наблюдений в областях достаточно изученных прежде: календарь земледельческих работ, заключение брака, структура и ориентация времени (деление года, дня, человеческой жизни), структура и ориентация пространства, а также *символические практики*, которым интервьюируемые придавали особое значение (войти и выйти, наполнить и опустошить, закрыть и раскрыть). Изготовление перфоркарт, позволяющих легко производить разного рода подвыборки и группировки по различным признакам, должно было помочь установить место каждого значимого действия или основного символа в сети отношений оппозиции и эквивалентности. Благодаря кодированию стало возможным «вручную» обнаруживать их взаимную встречаемость или взаимное же исключение. Применение статистического анализа с помощью перфоркарт дало неожиданные результаты, по-новому раскрывающие матримониальные, наследственные, ритуальные и другие практики крестьянских обществ. Это дало существенное приращение теоретического знания: принятое структуралистами-антропологами понятие «правило» было заменено более гибким понятием «стратегия», выражающим принцип действия габитуса как «рационального поведения без рационального расчета».

Развитие прикладной математической статистики создало предпосылки для решения более сложных и содержательных задач, в частности, анализа структуры полей разного рода. Излюбленным приемом обработки, осуществленным на материалах исследований самых разных социальных подпространств, стал для П. Бурдьё анализ множественных соответствий (*MULTM*) — французский вариант метода анализа главных компонент. Он позволяет помимо классификации переменных непосредственно вво-

²¹ Описание работы с карточками см.: *Bourdieu P. Le Sens pratique... P. 20-22.*

31

дить в анализ «кейсы» — персоналии, которым атрибутируется определенная конфигурация переменных. В частности, этот метод позволяет «визуализировать» структуру исследуемого поля, показать вклад различных переменных в структуру позиций. Эта структура схематически характеризуется основными оппозициями и силовыми напряжениями внутри поля²².

«Построить социальное пространство, — считает П. Бурдьё, — эту невидимую реальность, которую нельзя ни показать, ни потрогать пальцами, но которая организует практики и представления агентов, значит одновременно дать себе возможность построить *теоретические классы*, однородные настолько, насколько это возможно... Введенный здесь принцип классификации носит действительно *объяснительный* характер: он не довольствуется описанием ансамбля классифицированных реальностей, но, как и хорошая естественно-научная таксономия, привязывается к детерминирующим свойствам, которые позволяют предсказать другие свойства, а также разводят и объединяют агентов, сходных насколько это возможно между собой и отличающихся насколько это возможно от членов других классов, соседних или отдаленных»²³.

§ 3. Пространство, поле, позиция

П. Бурдьё ведет борьбу на два фронта: как с объективизмом, так и с субъективизмом. Опыт антропологических и социологических исследований привел его к выводу, что операции разрыва с повседневным опытом и построения объективных связей чреваты опасностью гипостазирова-

²² В качестве примеров конструирования полей см., например, подробное описание процедур построения поля высшего образования и поля власти политики в «*Noblesse d'Etat*» (части 3 и 4); поля литературы — в «*Les règles de l'art*» (часть 1, главы 2 и 3), поля социальных наук в «*Homo academicus*» (глава 3). Особое внимание стоит обратить на выделяемые переменные. Содержательно большой интерес представляет анализ, соотносящий исследуемые поля с полем власти.

²³ Bourdieu P. Raisons pratiques: Sur la théorie de l'action. P.: Seuil, 1994. P. 25.

32

ния этих связей, придания им статуса реально существующих вещей, возникших помимо индивидуальной или групповой истории. Отсюда тезис П. Бурдьё о необходимости борьбы с *реализмом структуры* и с жестким детерминизмом, постулирующим полную зависимость индивида от объективных социальных отношений. С другой стороны, субъективизм, индивидуалистическая тенденция к рассмотрению человека лишь как совокупности своеобразных личностных характеристик (рациональный выбор, вкус, способности, пороки, стремления и проч.), примат свободы субъекта, отрицание общественных детерминаций и т. п., представляет, по мнению П. Бурдьё, не меньшую опасность для социальной науки. Он считает, что только обращение к практике — к этому «диалектическому месту *opus operatum* и *modus operandi* — объективированным и инкорпорированным продуктам практической истории, структурам и габитусам» позволяет уйти от «неизбежного» выбора между объективизмом и субъективизмом²⁴.

Разрешая антиномию между объективистским механицизмом и субъективистским рациональным целеполаганием, между структурной необходимостью и индивидуальными действиями, П. Бурдьё обращается к синтезу структуралистского и конструктивистского подходов:

«С помощью структурализма я хочу сказать, что в самом социальном мире, а не только в символическом, языке, мифах и т. п. существуют объективные структуры, независимые от сознания и воли агентов, способные направлять или подавлять их практики или представления. С помощью конструктивизма я хочу показать, что существует социальный генезис, с одной стороны, схем восприятия, мышления и действия, которые являются составными частями того, что я называю габитусом, а с другой стороны, — социальных структур и, в частности, того, что я называю полями или группами и что обычно называют социальными классами»²⁵.

²⁴ Bourdieu P. Le Sens pratique... P. 88.

²⁵ Бурдьё П. Начала... С. 181-182.

33

По мнению П. Бурдьё, особенность общества заключается в том, что оформляющие его структуры ведут «двойную жизнь». Во-первых, они существуют как «реальность первого порядка», данная через распределение объективированных условий и предпосылок практик, средств производства дефицитных благ и ценностей. Во-вторых, они даны в качестве «реальности второго порядка» или «символической матрицы практик агентов», т. е. как социальные представления, практические схемы. Социологическое исследование общества, положенного как «реальность первого порядка», требует рассмотрения «социальной физики» — структуры объективных социальных отношений (существующих вне и независимо от сознания и воли агентов), узлы и сочленения которой могут наблюдаться, измеряться, «картографироваться». В то же время анализ общества как «реальности второго порядка» предполагает, что предметом социологии выступает не только реальность объективных социальных отношений, но и «... ее восприятие с перспективами и точками зрения, которые агенты имеют об этой реальности в зависимости от их позиции в объективном социальном пространстве»²⁶.

Таким образом, по П. Бурдьё, социальная действительность структурирована дважды. Во-первых, существует первичное или объективное структурирование социальными отношениями, которые опредмечены в распределениях разнообразных ресурсов (выступающих структурами господства — капиталами) как материального, так и нематериального характера. Во-вторых, социальная действительность структурирована представлениями агентов об этих отношениях, о различных общественных структурах и о социальном мире в целом, которые оказывают обратное воздействие на Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

первичное структурирование. Помимо этого в исследовании может учитываться детерминация истории со стороны исторических агентов (индивидуальных и коллективных), но при этом уточняется, что «...диалектика структур и действий эквивалентна диалектике

²⁶ Там же. С. 191.

34

"объективных и инкорпорированных структур", той, что совершается в любом практическом действии»²⁷. Указанная диалектика отражает процесс интериоризации/экстериоризации, связывающий объективные и инкорпорированные структуры. Социальные отношения, интериоризируясь в ходе практической деятельности, превращаются в «практические схемы» (схемы производства практик) — инкорпорированные структуры, которые обуславливают экстериоризацию, т. е. воспроизводство практиками агентов породивших их объективных социальных структур.

Концепция двойного структурирования включает в себя комплекс представлений, отражающих генезис и структуру социальной действительности. То, что относится к генезису, есть установление причинно-следственных связей: существуют объективные социальные отношения, которые решающим образом воздействуют на практики, восприятие и мышление индивидов. Именно социальные отношения являются необходимыми условиями и предпосылками практик и представлений индивидуальных и коллективных агентов, которые эти отношения могут подавлять или стимулировать. При этом социальные отношения могут выступать как в объективированной форме социальной предметности, так и в субъективированной — в виде диспозиций, знаний, навыков... С другой стороны, агентам имманентно присуща активность, они непрерывно оказывают воздействия на условия и предпосылки своих практик, собственными действиями воспроизводя или изменяя социальные отношения. Итак, социальные отношения обуславливают практики и представления агентов, но агенты производят практики, тем самым воспроизводя или преобразуя социальные отношения.

Указанные два аспекта генезиса социальной действительности для П. Бурдьё отнюдь не равнозначны и не рядоположены. Он не ограничивается констатацией того, что они находятся в «диалектической связи», но указывает на их иерархию. Обусловленность практик и представлений

⁷ Bourdieu P. *Le Sens pratique...* P. 70.

35

социальными отношениями раскрывается как необходимое опосредствование: они порождаются агентами лишь с помощью определенных средств производства. В силу того, что агенты не могут осуществлять свои практики вне и независимо от социальных отношений, являющихся необходимыми условиями и предпосылками любых практик и представлений, агенты оказываются в состоянии действовать исключительно «внутри» уже существующих социальных отношений и тем самым либо репродуцировать, либо трансформировать их. Говоря об активной роли агентов в воспроизводстве и производстве социальной действительности, П. Бурдьё подчеркивает, что оно невозможно без инкорпорированных структур — практических схем (схем порождения практик: «принципов, предписывающих порядок действия», и в первую очередь — принципов классификации, принципов восприятия деления социальной действительности²⁸), являющихся продуктом интериоризации объективных социальных структур. Отсюда следует, что субъективное структурирование социальной действительности есть подчиненный момент структурирования объективного.

П. Бурдьё представляет социальную действительность в форме многомерного пространства позиций, сконструированного в соответствии с принципами различения и распределения совокупности действующих свойств агентов. При этом под действующими свойствами понимаются такие, которые способны придавать агентам «силу», «влияние» и «власть», понимаемую в самом общем виде — как способность добиваться результатов²⁹.

В объективированной форме действующие свойства выполняют функцию «капиталов», дающих власть над продуктом совокупной деятельности, в котором опредмечены прошлые практики (в частности, над совокупностью средств производства), а также над механизмами производства определенной продукции, и через это — власть

²⁸ Бурдьё П. *Начала...* С. 121.

²⁹ Bourdieu P. *Raisons pratiques...* P. 55.

36

над доходами и прибылью. Распределение капиталов между агентами проявляется как распределение власти и влияния в этом пространстве. Позиции агентов в социальном пространстве определяется объемом и структурой их капиталов. Социальное пространство конституируется ансамблем полей, имеющих смысл подпространств, «...которые обязаны своей структурой неравному распределению отдельных видов капитала, и может восприниматься в форме структуры распределения различных видов капитала, функционирующей одновременно как инструменты и цели борьбы в различных полях»³⁰.

Социальное и физическое пространства, подчеркивает П. Бурдьё, невозможно рассматривать в «чистом виде»: только как социальное или только как физическое: «...Социальное деление, объективированное в физическом пространстве, функционирует одновременно как принцип видения и деления, как категория восприятия и оценивания, короче, как ментальная структура»³¹. Социальное пространство не есть некая «теоретически оформленная пустота», в которой обозначены координаты агентов. Оно представляет собой воплотившиеся физически социальные иерархии и классификации:

агенты «занимают» определенное пространство, а дистанция между их позициями — это тоже не только социальное, но и физическое пространство.

* * *

Совокупность всех социальных отношений не есть нечто аморфное и однородное, но наделено обусловленной структурой. Данное обстоятельство привело П. Бурдьё к формированию понятия «поле», понимаемого как относительно замкнутая и автономная подсистема социальных отношений. Поле — это место сил, относительно независимое пространство, структурированное оппозициями, которые нельзя свести к одной лишь «классовой борьбе»; оно есть особое место, где выражаются самые разнообразные став-

³⁰ Бурдьё П. Социология политики... С. 40

37

ки борьбы, но чаще всего в преобразованном виде, который делает их отчасти неузнаваемыми³². Внешний наблюдатель всегда стремится преуменьшить роль этих ставок, сводя их к обычным межличностным или же политическим конфликтам. Поле представляет собой совокупность позиций, которые статистически определяют взгляды занимающих их агентов как на данное поле, так и на их собственные практики, направленные либо на сохранение, либо на изменение структуры силовых отношений, производящей настоящее поле.

Поле возникает как следствие прогрессирующего общественного разделения практик. Одной из важнейших его характеристик является автономия, т. е. относительная независимость функционирования поля от внешних принуждений. Поле переопределяет все внешние воздействия в собственной «логике». Такое свойство поля П. Бурдьё называет *способностью к рефракции*, сила которой измеряется степенью преобразования внешних требований в специфическую, свойственную характеру поля форму³³. Например, поле социальных наук обладает небольшой степенью рефракции, поскольку испытывает сильное воздействие со стороны поля политики.

Поле науки может быть определено как относительно автономное пространство, обладающее собственными специфическими целями и ставками, главными среди которых являются накопление рациональных эмпирически обоснованных знаний. Утверждение своеобычности этих ставок возникает как результат процесса автономизации по отношению к внешним воздействиям, таким, например, как принуждения со стороны держателей религиозного, политического или экономического капитала. В результате сложного исторического процесса возникает оригинальный микрокосм, подчиняющийся лишь собственным принуждениям и свободный от воздействия тех форм господ-

³¹ Там же. С. 37.

³² Bourdieu P. Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire. P.: Seuil, 1992. P. 301-302.

³³ Там же. P. 306.

38

ства, которые главенствуют в окружающем социальном мире³⁴. «Политизация» социальной науки является индикатором ее слабой автономии: некомпетентные с точки зрения специфических научных норм агенты имеют возможность влиять на нее от имени гетерономных принципов, вместо того чтобы быть немедленно дисквалифицированными. Поле политики подчиняет логику и проблематику социальных исследований политической логике и ставит, таким образом, социальные науки на службу себе. Напротив, поле политики обладает высокой степенью рефракции. Оно может переформулировать любую социальную или экономическую проблему в специфических политических терминах. Вместе с тем автономия служит лишь одним из необходимых, но недостаточных критериев конституирования поля. Сколь бы слабой ни была автономия какого-то конкретного поля, нельзя редуцировать его функционирование к реакции на внешние воздействия. Невозможно объяснить все, что происходит в поле, опираясь исключительно на интерналистскую или на экстерналистскую интерпретацию.

Важнейшей характеристикой поля является форма взаимодействий между агентами, чьи позиции в поле должны рассматриваться только во взаимных отношениях. Принцип относительности — важнейший для понимания теории полей и всей концепции П. Бурдьё в целом. Агенты определяются через занимаемые ими в поле позиции, отличающиеся друг от друга сочетанием объективированных в них капиталов и, как следствие, специфической властью и влиянием, получаемой материальной и символической прибылью, ценой, которую надо заплатить, чтобы их занять... Агенты, действующие в поле, наделены постоянными диспозициями, усвоенными за время нахождения в нем.

Анализ, сочетающий взгляд как со стороны, так и изнутри рассматриваемого поля, выстраивает соответствия между позициями в поле, выражающимися через опреде-

³⁴ См.: Bourdieu P. Champ scientifique // Actes de la recherche en sciences sociales. 1976. № 2/3. P. 89-90.

39

ленные результаты практик агентов, занимающих данные позиции, и системой взглядов и представлений этих агентов. Возьмем для примера отдельную научную позицию, понимаемую как научное направление. Эта научная позиция подразумевает наличие агентов, занимающих определенную позицию в поле научного производства. Данная позиция поля научного производства может быть доминирующей, признанной официально, руководящей, получающей гранты или, напротив, доминируемой, непризнанной, отрицаемой, подчиненной, не получающей гранты... Нескольким упрощая, следует отметить, что ученые, институты, журналы, научные школы и направления существуют лишь благодаря тому, что их разделяет, посредством различий и благодаря им.

Социологический анализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

«Процесс создания произведений есть продукт борьбы между агентами, которые в зависимости от их позиции в поле, связанной с обладанием специфическим капиталом, заинтересованы в консерватизме (т. е. в рутине, рутинизации) или в перевороте, который порой принимает форму возврата к истокам, первоначальной чистоте и еретической критике»³⁵.

Логика функционирования поля конструирует из различных позиций (входящих в поле в данный момент времени и в данных условиях) некое пространство возможностей для каждого агента. Ансамбль позиций на деле есть деление поля в соответствии с логикой борьбы за различные возможности. С каждой позицией поля связана система представлений, диспозиций, интересов и особое видение деления поля. Между полем возможностей, структурой позиций и структурой продукции, производимой в данном поле, существует определенная гомология. В силу этого борьба агентов за сохранение или изменение своей позиции в поле, за трансформацию структуры поля есть в то же время борьба за сохранение или изменение структуры продукции данного поля и инструментов этого производства.

³⁵ Bourdieu P. *Raisons pratiques*... P. 70.

40

Рассмотрение как специфических, так и инвариантных свойств полей, выделенных в результате проведения многочисленных эмпирических исследований разных автономных социологических предметов по одной схеме, позволило сформулировать П. Бурдьё общую теорию полей. Основное положение данной теории утверждает структурную и функциональную гомологию между различными полями. Многолетнее изучение поля высшего образования, поля литературы, поля науки, поля религии и поля экономики привели П. Бурдьё к выводу, что наиболее общими, присущими всем полям характеристиками являются отношения конкуренции, монополии, существование предложения и спроса. Это обстоятельство позволяет говорить о поле как некоторого рода рынке³⁶. Следует отметить, что «рынок» является в бурдьёвской концепции скорее инструментальным, чем теоретическим понятием. Оно вводится для более отчетливого различения между капиталами и ресурсами (культурными, экономическими, социальными, образовательными и т. п.). Мысль П. Бурдьё состоит в том, что не всякий ресурс является капиталом, т. е. действующим свойством, придающим его обладателю силу и власть. Капиталом становится лишь тот ресурс, на который существует спрос на специфическом «рынке», установлена определенная «цена» и который может приносить «прибыль». В качестве близкого нам примера можно привести обладание дипломом о высшем экономическом образовании. В советское время он представлял собой практически невостребованный культурный ресурс, однако становление постсоветской экономики и формирование поля частных предприятий сделало из него «культурный капитал». Любое поле в этом смысле является рынком, где производятся и обращаются специфические капиталы.

П. Бурдьё рассматривает анализ поля экономики³⁷ как частный случай общей теории полей, который, не являясь

³⁶ Здесь П. Бурдьё близок к выводам М. Вебера относительно анализа религии, но переосмысливает его в постструктуралистской перспективе.

³⁷ Определение, которое дает П. Бурдьё полю экономики, весьма наглядно отражает сочетание специфических и общих свойств полей:

41

моделью для анализа всех других полей, все же дает социологу исследовательские инструменты, позволяющие конструировать различные поля, включая наиболее далекие от экономики. Можно сказать, что общая теория полей была построена посредством теоретической экстраполяции экономических понятий на неэкономические области, причем экстраполяции, валидизированной эмпирической индукцией, демонстрирующей как плодотворность, так и ограничения такого рода заимствований.

Конструирование поля требует вычленения всех возможных проявлений выделенной системы социальных отношений: практических, символических, идеологических, поведенческих и т. д. Необходимо детально проанализировать распределение капиталов, существующие классификации и иерархии, отношения господства/подчинения, институты и властные структуры. Эта работа по социологической реконструкции ансамбля социальных отношений является основой для анализа любого поля. Конечно же, поле не существует в реальности, являясь продуктом социологического конструирования, но вместе с тем оно не произвольно, но основывается на социально-исторических фактах. Построенное социологом поле не есть простое обозначение формальных связей, приложимых к любому социальному образованию: поле — модус социальной действительности, исследование которого представляет собой особую социологическую задачу.

§ 5. Социальная функция социологии

Категории, которыми социолог описывает социальную действительность, являются не результатами индивидуально-

«Поле экономики — это относительно автономное пространство, подчиняющееся собственным законам, наделенное своеобразной аксиоматикой, связанной с оригинальной историей. Оно производит особую форму интереса, являющуюся частным случаем области возможных форм интереса. Социальная магия может превратить почти что угодно в интерес и сделать из этого ставку в борьбе» (Bourdieu P. *Réponse aux économistes // Economie et société*. 1984. №2. P. 27).

42

го познания, но социальным продуктом. Отсюда вытекает необходимость анализа их генезиса и Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

способов конструирования. Многочисленные агенты культурного производства (включая социологов) участвуют в создании и распространении категорий восприятия и оценивания социальной действительности. Они пытаются навязать определенное легитимное видение социального мира и конкурируют между собой за то, чтобы именно произведенное ими, а не иное видение стало общепринятым. В силу этого язык социологического описания не может быть нейтральным. Исследователь обязан отдавать себе отчет в произвольном характере социологических, политологических, юридических категорий и не принимать их «очевидности». Он должен, опираясь на знания о социальном мире, объективировать условия, в которых появилась то или иное социологическое понятие. Объективация является необходимым условием нейтрализации эффектов воздействия со стороны социального мира на самого социолога. Основной вопрос социологической объективации — определение позиции внутри поля науки, в которой было произведено социологическое понятие. При этом важно не только фиксировать борьбу между позициями внутри поля социологического производства, но и познать детерминацию взглядов агента его собственной позицией. Такого рода анамнез социологического знания П. Бурдьё называет «социоанализом» или «рефлексивной социологией».

Социология, как неоднократно подчеркивал П. Бурдьё, является одной из областей социального мира. Поэтому она подчиняется тем же законам, что и любая другая область, и к ней применимы те же инструменты социологического анализа. В поле социологии и в поле науки в целом ведется постоянная «политическая» борьба за научное доминирование. Цель научной борьбы не есть нечто заданное: ее формулировка сама по себе есть ставка в борьбе. Побеждают в ней те, «кому удалось навязать такое определение науки, согласно которому наиболее полноценное занятие наукой состоит в том, чтобы иметь, быть и делать то, что они имеют, чем они являются или что они дела-

43

ют»³⁸. Как итог научной борьбы каждому социологу, в зависимости от его позиции в поле, неявно предписывается исследование тех или иных социально-политических и, вместе с тем, научных проблем, а также применение некоего набора методов:

«В каждый момент времени существует иерархия объектов исследования (исследователей), эти иерархии в значительной мере способствуют распределению объектов между субъектами. Учитывая, кто вы есть, никто не скажет вам (или редко): "Вы имеете право на этот предмет, а не на другой; на этот способ работы с ним ('теоретический' или 'эмпирический', 'фундаментальный' или 'прикладной'), а не другой; на такой-то способ ('блестящий' или 'серьезный') представления результатов". Чаще всего такие *призывы к порядку* не нужны, так как достаточно позволить действовать внутренней цензуре, которая есть не что иное, как интериоризированная социальная и образовательная цензура ("Я не теоретик", "Я не умею писать"). Таким образом, нет ничего менее социально нейтрального, чем отношение между субъектом и объектом»³⁹.

Легитимация доминирования в научном поле часто апеллирует к «традиции», которую, однако, следует проанализировать. Эта традиция есть унаследованные от предыдущего состояния поля схемы мышления. Их интериоризация, во-первых, расценивается как практическое овладение социологией, а во-вторых, упрощает коммуникацию внутри поля. Социоанализ социологии требует рассмотрения развития во времени и традиции как таковой, и способов ее применения. Необходима операция «двойной историзации»: с одной стороны, познаваемого объекта, а с другой — познающего субъекта. Во-первых, следует реконструировать пространство возможных теоретических точек зрения (выраженных в публикациях, отчетах, доку-

³⁸ Bourdieu P. Champ scientifique... P. 90.

³⁹ Бурдьё П. За социологию социологов / Пер. с фр. Ю. В. Марковой // Пространство и время в современной социологической теории / Отв. ред. Ю. Л. Качанов. М.: Институт социологии РАН, 2000. С. 9.

44

ментах и т. п.) в конкретном историческом контексте и, во-вторых, надо проанализировать пространство возможных позиций в поле науки самих интерпретаторов, рассматривая их генезис в аспекте оппозиций и союзов с другими позициями поля.

«...Я могу продвинуться в объективации моего объекта в той мере, в какой смогу объективировать мою собственную позицию в пространстве, отличном от пространства, где помещается мой объект, а следовательно, — в объективации моего бессознательного отношения к объекту, которое может продиктовать целиком все то, что я собираюсь рассказать об объекте»⁴⁰.

Отказ от историзации приводит к анахроническому и этноцентрическому видению социологии, к ее «нормативизации» и вневременности. Таким образом, социология «натурализируется»: ее понятия рассматриваются как самоочевидные и превращаются в якобы реально существующие субстанциальные феномены. Подобное овеществление, гипостазирование социологических понятий на языке П. Бурдьё называется «социологической доксой»⁴¹. Многие социологические категории, которыми оперирует исследователь, принимая их без предварительной рефлексии, функционируют как категории здравого смысла социолога. Например, изучая проблемы «экологической безопасности» или «политической элиты», социологи чаще всего не задумываются о том, что указанные «социологические» проблемы на самом деле суть проблемы государственные, что сама «проблематичность» подобных объектов исследования вытекает из непосредственного государственного или политического заказа. Подавляющее большинство социологических проектов не конструирует предметы исследования самостоятельно, а извлекает готовые пред-

⁴⁰ Бурдьё П. За рационалистический историзм // Социо-Логос постмодернизма. S/Λ'97. Альманах Российско-французского центра социологических исследований Института социологии РАН. М.: Институт экспериментальной социологии, 1997. С. 25.

⁴¹ См., в частности: Bourdieu P. Les règles de l'art... P. 426-427.

45

меты, сформулированные государством на языке «социальных проблем». Такие «предметы» воспринимаются государством как нечто функционирующее «ненормальным» образом и в силу этого создающее для него проблемы. Эту «ненормальность» — с позиций государственной администрации — социология якобы должна диагностировать и найти способы ее исправления. Чтобы избежать навязанного извне видения целей и результатов исследования, социолог должен объективировать свой предмет, сконструировать его заново, разорвав с «полуфабрикатами» государственного производства.

«Значительная часть называющих себя социологами... на деле являются социальными инженерами, функция которых — поставлять руководителям частных предприятий или властных структур некие рецепты. Они пытаются рационализировать практическое или полунаучное знание представителей правящих классов о социальном мире. В настоящее время правящие нуждаются в науке, способной рационализировать — в обоих смыслах слова — господство, способствовать укреплению механизмов, обеспечивающих это господство, и легитимировать его. Разумеется, такая наука ограничивает себя лишь практическими функциями: ни у социальных инженеров, ни у руководителей экономики такая наука не может вызвать радикального сомнения»⁴².

Социология, как считает П. Бурдьё, не является и не должна быть нормативной наукой, поскольку в ее задачи не входит разработка рекомендаций для того или иного института, той или иной заинтересованной в исследовании группы. Она может выполнять в обществе как консервативную, так и освободительную функции, в зависимости от позиции, занимаемой социологом. Однако дело социолога, даже социально или политически ангажированного, не предписывать, а описывать логику функционирования социального мира. Социолог должен давать инструменты для описания и объяснения социального мира и в первую

⁴² Bourdieu P. Questions de sociologie. P.: Minuit, 1984. P. 24.

46

очередь — раскрывать механизмы установления различных форм социального господства, давая тем самым орудия борьбы с этим господством, которое часто воспринимается как нечто естественное, само собою разумеющееся, а потому не замечается доминируемыми.

Отсюда можно вывести социальную функцию социологии, которая, согласно П. Бурдьё, заключается в том, чтобы создавать основания для мобилизации агентов на политическое действие, направленное на борьбу с доминированием любого рода. Эта функция социологии аргументируется самими результатами социологических исследований. При условии соблюдения требований научности они, объективируя социальное неравенство, открыто заявляют о нем. Социологические знания срывают покров с социальных по форме, но всегда исторически произвольно учрежденных механизмов господства. Вместе с тем П. Бурдьё напоминает о социологической ангажированности особого, специфического рода, которое состоит в служении прогрессу науки и борьбе за ее автономию от политического или экономического заказа.

СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ

*Пьер Бурдьё. КЛИНИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ ПОЛЯ НАУКИ**

Глава 1. Поле как относительно автономный микрокосмос

В чем заключается социальное назначение науки? Возможно ли создание науки о науке, то есть социальной науки научного производства, способной описывать и направлять его социальное использование? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо вначале напомнить несколько понятий, являющихся условием обоснованного анализа и, в частности, понятие поля, генезис которого мне бы хотелось кратко представить.

Все типы культурного производства — философия, история, наука, искусство, литература и т. п. — являются объектом анализа, претендующего на статус научного. Существует история литературы, история философии, история науки и т. д., и при анализе каждой области возникает одна и та же оппозиция, которую часто считают неизбежной (вероятно, сфера искусства представляет собой одно из тех мест, где эта оппозиция является наиболее сильной), один и тот же антагонизм между двумя способами интерпретации, которые можно назвать интерналистскими или внутренними, и экстерналистскими или внешними.

* Bourdieu P. Les usages sociaux de la science. Pour une sociologie clinique du champ scientifique. P.: Éd. INRA, 1997. ©Bourdieu P., 1997

50

ми. В общих чертах можно сказать, что, с одной стороны, существуют те, кто считает, что для понимания литературы или философии достаточно чтения текстов. Для приверженцев такого фетишизма

Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

автономного текста, процветавшего во Франции вместе с расцветом семиологии и сегодня снова распространившегося с тем, что называют постмодернизмом, текст является альфой и омегой, и потому для понимания философского текста, юридического кодекса или поэмы не нужно знать ничего, кроме буквы самого текста. Я немного упрощаю, но не слишком.

С другой стороны, традиция, часто представляемая теми, кто, ссылаясь на марксизм, желает свести текст к его контексту и стремится интерпретировать произведения, устанавливая прямое соответствие между ними и социальным или экономическим миром. Существуют различные примеры этой оппозиции, и те, кто этим интересуется, могут обратиться к моей книге «Правила искусства» (*«Les règles de l'art»*), где они разбираются более подробно, включая библиографию.

Обращаясь к науке, мы вновь находим все ту же оппозицию в виде традиции истории науки, которая к тому же довольно близка к историко-философскому подходу. Эта традиция очень хорошо представлена во Франции. Она описывает процесс воспроизводства науки как некоторый вид партеногенеза, как самопорождение науки без какого бы то ни было вмешательства со стороны социального мира.

Для того чтобы избежать указанной альтернативы, я и разработал понятие поля. Это очень простая идея, чья функция отрицания вполне очевидна. Я утверждаю, что при анализе культурного производства (литературы, науки и т. д.) недостаточно полагаться на содержание произведенного текста, так же как и недостаточно полагаться на социальный контекст, довольствуясь установлением прямой зависимости между текстом и контекстом. Это то, что я называю «ошибкой короткого замыкания». Она состоит в попытке установить прямую связь между некоторым музыкальным произведением или символистской поэмой и забастовками в Фурми или выступлениями в Анзине, как это

51

делают некоторые историки искусства или литературы. Моя гипотеза состоит в том, что эти достаточно удаленные полюса, между которыми, как несколько неосмотрительно кое-кто полагает, может быть напрямую пропущен ток, имеют посредника, которого я называю *полем: литературы, искусства, права или науки*, — то есть между ними существует пространство, в котором находятся агенты и институты, производящие, воспроизводящие и распространяющие искусство, литературу или науку. Этот мир, как и все остальные, является миром социальным, но в то же время он подчинен более или менее специфическим социальным законам.

Понятие поля здесь вводится для того, чтобы обозначить это относительно автономное пространство, этот микрокосм, наделенный своими собственными законами. Если, как и макрокосм, он подчинен социальным законам, то они все же не тождественны. Хотя поле никогда полностью и не избавлено от ограничений макроструктуры, оно располагает более или менее ярко выраженной относительной автономией. И один из главных вопросов, возникающих относительно поля (или субполя) науки, — это вопрос об уровне его автономии. В сущности, одним из относительно простых различий между полями научного производства или тем, что называют дисциплинами, которое не всегда легко измерить и как-то выразить количественно, является уровень их автономии. То же самое относится и к институтам. Можно себя спросить, является ли *CNRS*¹ более автономным, чем *INRA*², *INRA* более автономным, чем *INSEE*³, и т. д. Очевидно, что одна из смежных проблем состоит в том, чтобы понять природу внешних принуждений, форму, в виде которой они реализуются, спо-

¹ *CNRS* (Centre National de la Recherche Scientifique) — Национальный центр научных исследований (*Примеч. перев.*).

² *INRA* (Institut National de la Recherche Agronomique) — Национальный институт агрономических исследований (*Примеч. перев.*).

³ *INSEE* (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) — Национальный институт статистики и экономических исследований (*Примеч. перев.*).

52

собы влияния, порядок, заказы, соглашения и т. д. и то, в каком виде проявляется сопротивление, характеризующее автономию, то есть какие механизмы использует микрокосм, чтобы освободиться от этих внешних принуждений и быть в состоянии признавать только свои собственные внутренние детерминации.

Другими словами, необходимо отказаться от альтернативы «чистой науки», полностью свободной от любой социальной необходимости, и «науки-служанки», полностью подчиненной политико-экономическим интересам. Поле науки является социальным миром, и, будучи таковым, оно осуществляет принуждения, предъявляет требования и т. д., которые, однако, оказываются относительно автономными по отношению к принуждениям всего социального мира в целом. На самом деле, осуществляемые лишь через посредничество поля, внешние принуждения, какими бы они не были, опосредованы логикой поля. Одно из наиболее очевидных проявлений автономии поля — это его способность к *рефракции*, то есть способность переводить внешние принуждения и требования в их специфическую форму. Отсюда возникает вопрос, как в конкретном поле трансформируется некоторое внешнее явление, катастрофа, бедствие (черная чума, последствия которой искали в живописи, или болезнь «коровье бешенство»).

Чем более автономно поле, тем сильнее его способность к рефракции, тем больше изменений претерпевают внешние воздействия, часто до такой степени, что становятся совершенно неузнаваемыми. Таким образом, в качестве главного индикатора уровня автономии поля выступает сила его рефракции и способность к преобразованию. И наоборот, гетерономия поля в основном проявляется в том, что

внешние проблемы, особенно политические, находят в нем свое прямое выражение. Это говорит о том, что «политизация» дисциплины является показателем ее слабой автономии, и одна из основных трудностей, с которыми сталкиваются социальные науки в своем стремлении к автономии, состоит в том, что малокомпетентные, с точки зрения специфических норм поля, люди имеют возмож-

53

ность вторгаться в него, действуя от имени гетерономных принципов, вместо того чтобы быть немедленно дисквалифицированными.

Если бы вы сказали современным биологам, что какое-нибудь из их открытий является «левым» или «правым», католическим или не католическим, вы бы вызвали откровенный смех, хотя так было не всегда. В социологии и сегодня можно говорить вещи подобного рода, как, впрочем, и в экономике, хотя экономисты стремятся заставить поверить, что это не так.

Каждое поле, к примеру наука, является полем отношения сил и полем борьбы за сохранение или изменение этого соотношения. В первую очередь научное или религиозное пространство можно описать как физический мир, содержащий отношения силы, отношения доминирования. Например, служащие фирмы в экономическом поле создают пространство, которое до некоторой степени существует только посредством агентов, которые там находятся, и объективных отношений между ними. Крупная фирма изменяет все экономическое пространство, придавая ему определенную структуру. В научном поле Эйнштейн, как такая большая фирма, изменил все пространство вокруг себя. Эта эйнштейновская метафора по поводу Эйнштейна означает, что не существует физика, известного или неизвестного, в Бриде или в Гарварде, который (вне всяких прямых контактов и вне любого взаимодействия) не был бы затронут, потеснен, отодвинут в сторону вмешательством Эйнштейна, точно так же крупное предприятие, снижающее свои цены, выбрасывает за пределы экономического поля целую группу мелких предпринимателей.

Отсюда следует — и это важно для последующего практического рассуждения, — что точками зрения, научными выступлениями, выбором мест и тем публикаций, предметов, представляющих интерес и т. д., управляет структура объективных отношений между различными агентами, причем эти отношения, используя еще раз эйнштейновскую метафору, являются источниками этого поля. Именно *структура объективных отношений* между агента-

54

ми определяет то, что они могут или не могут делать. Или, точнее, позиция, занимаемая агентами в этой структуре, определяет или направляет, по крайней мере через отрицание, их выбор. Это означает, что мы действительно понимаем то, что говорит или делает агент, включенный в поле (экономист, писатель, художник и т. д.), только если мы в состоянии соотнести это с позицией, которую он занимает в этом поле, только если мы знаем «откуда он говорит», как выражались несколько расплывчато в 1968 году. Это предполагает, что мы имели возможность провести и предварительно провели работу, необходимую для конструирования объективных отношений, образующих структуру анализируемого поля, а не просто довольствовались обращением к положению, которое предположительно занимает агент в общем социальном пространстве (то, что марксистская традиция называет классовым положением).

В общих чертах эта структура определяется существующим в данный конкретный момент распределением научного капитала. Другими словами, агенты (индивиды или институты), характеризующиеся объемом своего капитала, определяют структуру поля пропорционально своему весу, зависящему от веса всех остальных агентов, т. е. всего пространства. И наоборот, каждый агент действует под давлением структуры этого пространства, которое тем сильнее оказывает влияние на агента, чем меньше его относительный вес. Такое структурное принуждение не обязательно принимает форму прямого принуждения, осуществляемого в непосредственном взаимодействии (порядок, «влияние» и др.).

Так же как в экономическом поле решение доминирующих изменить цены изменяет среду существования всех предприятий, или как в интеллектуальном поле 50-х годов позиция Сартра по отношению к Хайдеггеру или Фолкнеру косвенным образом повлияла на выбор Батайя или Бланшо⁴, так и в области научных исследований домини-

⁴ *Boschetti A. Sartre et les «Temps modernes»*. P.: Minuit, 1985.

55

рующие ученые и исследовательские проекты направляют концентрацию научных усилий, определяя для данного момента времени совокупность важных объектов, то есть комплекс благодатных для исследователей вопросов, на которых они сосредоточивают свои усилия, рассчитывая, что они будут, если можно так сказать, «оплачены».

Из этого следует, что агенты действительно производят научные факты и, даже если и частично, — научное поле, однако, вопреки положениям идеалистического конструктивизма, они делают это, исходя из той позиции в поле, которую сами не производят, но которая вносит свой вклад в определение того, что является для них возможным или невозможным. Вопреки иллюзии в духе Макиавелли, к которой склоняются некоторые социологи науки (возможно потому, что приписывают ученым свое собственное «стратегическое», если не сказать циничное, видение научного мира), нужно в первую очередь показать, что нет ничего более трудного, и даже невозможного, чем «манипулирование» полем. К тому же необходимо указать, что каким бы искусным в «управлении сетью» ни был агент (о чем так беспокоятся

те, кто намерен использовать свою «науку» науки, чтобы проводить в жизнь свои теории науки и утверждать власть экспертов в мире науки), его шансы на поддержание сил поля в соответствии со своими желаниями пропорциональны его влиянию на поле, то есть размеру его научного капитала или, точнее, его позиции в структуре распределения капиталов. Это верно за исключением тех чрезвычайно редких случаев, когда благодаря революционному открытию, способному поставить под вопрос основания самого существующего научного порядка, один ученый способен переопределить принципы распределения капитала и сами правила игры.

Я указал, что структура поля в некоторый данный момент времени определяется прежде всего структурой распределения научного капитала между различными агентами, включенными в поле. Хорошо, скажут, но что вы понимаете под капиталом? И вновь я мог бы ответить лишь кратко: каждое поле является местом формирования спе-

56

цифической формы капитала. Как я определил еще в 1975 году⁵ (обращение к датам, то есть приоритет открытия, иногда необходимо, чтобы защитить себя от незаконного присвоения, особенно тогда, когда оно сопровождается деформациями, направленными на то, чтобы это скрыть), научный капитал представляет собой особый вид символического капитала (о котором известно, что он всегда основан на актах узнавания и признания), состоящий в признании (или доверии), которое даруется группой коллег-конкурентов внутри научного поля (хорошим показателем для этого служит число упоминаний в *цитат-индексе*, который можно дополнить, как это было мной сделано при исследовании французского университетского поля, такими знаками признания и посвящения, как Нобелевская премия или, применительно к общенациональному уровню, медали *CNRS*, а также переводы на иностранные языки). Впоследствии я еще вернусь к различным формам, которые может принимать этот капитал, и тем видам власти, которые он дарует своим обладателям.

Научные капиталисты, если можно так выразиться, не имеют почти ничего общего, если отвлечься от эффектов структурной гомологии, с капиталистами в обычном смысле этого слова, то есть с теми, кто находится в экономическом поле (и путаница, поскольку она допускает радикализм, является чрезвычайно опасной из-за игнорирования особенностей, связанных с собственной логикой научного поля). Очевидно, что капитал Эйнштейна имеет совсем иную природу, чем финансовый. Этот совершенно специфический тип капитала частично базируется на признании компетенции, которое, помимо производимых им эффектов узнавания и частично благодаря им, придает авторитет и участвует в определении не только правил игры, но также и в определении ее правомерности, например, законов, по которым в ней будут распределяться выигрыши или которые будут указывать, что важно, а что нет

⁵ Bourdieu P. La spécificité du champ scientifique et les conditions sociales du progrès de la raison // Sociologie et sociétés. Montréal. Vol. VII. 1975. №1. P. 4.

57

в такой-то теме, блестяще ли это или устарело, что выгоднее будет опубликоваться в *«American Journal of so and so»*, чем в *«Revue Française de ceci-cela»*.

Каждое поле представляет собой место отношений силы, содержащее в себе имманентные тенденции и объективные вероятности. Оно ориентировано отнюдь не случайным образом. В нем не все в равной мере возможно или невозможно в тот или иной момент времени. К социальным преимуществам тех, кто родился в поле, относится знание, полученное посредством некоего наития, об имманентных законах поля, тех неписанных законах, которые включены в саму реальность в виде тенденций, а кроме того обладание тем, что в регби или на бирже называют *чутьем на размещение (sens du placement)*. Например, как подтверждают многие исследования, стратегии конверсии, осуществляемые учеными и заставляющие их переходить из одной области в другую или от одного предмета к другому, очень неравновероятны для различных агентов и зависят от типов капитала, которыми те располагают, и от типов отношения к капиталу, различающихся по способу получения агентами своего капитала.

Одним из факторов, определяющих самые явные социальные различия в научных карьерах (и это еще более очевидно в современном искусстве), является тот дар предвосхищения тенденций, который, как замечают, всюду тесно связан с высоким социальным происхождением и хорошим образованием и который позволяет завладеть в нужный момент выгодными темами, хорошими местами публикаций (или, в других случаях, выставок) и т. п. Это чувство игры есть в первую очередь чувство истории игры и чувство будущего игры. Как хороший игрок в регби знает, где должен упасть мяч и уже находится там, где тот собирается упасть, так и хороший научный игрок — без необходимости рассчитывать и быть циничным — совершает оправдывающий себя выбор. Те, кто родились в игре, обладают привилегией «прирожденности». Им не надо быть циничными, чтобы делать то, что нужно и когда нужно, чтобы «сорвать банк».

58

Итак, существуют объективные структуры, а также и борьба по поводу этих структур. Социальные агенты, конечно, не являются частицами, пассивно направляемыми силами поля, даже если иногда и говорят, что между ними существует большое сходство (хотя если посмотреть на некоторые типы политической эволюции, например, как у многих наших интеллектуалов, то как тут не сказать себе, что металлические опилки действительно направляются силами поля?). Агенты обладают интериоризированными диспозициями (не буду здесь подробно рассматривать этот вопрос), которые я называю *габитусом* (то есть постоянные, устойчивые во времени способы поведения); он, в частности,

может привести к сопротивлению или к противодействию силам поля. Тот, чьи диспозиции сформировались вне данного поля, а потому отличаются от тех, что в нем требуются, рискуют всегда отставать, быть оттесненными или неуместными, чувствовать себя не в своей тарелке, оказаться не с той стороны и не в то время, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но они также могут и вступить в борьбу с силами поля, сопротивляться им и вместо того, чтобы подчинить свои диспозиции структурам, стремятся изменить последние так, чтобы подогнать их под свои собственные диспозиции.

Как бы там ни было, поле является объектом борьбы как в плане представлений, так и в плане реальности. Основное различие между полем и игрой (этого не должны забывать те, кто вооружается теорией игр, чтобы понять социальные и, в частности, экономические игры) состоит в том, что поле представляет собой такую игру, в которой правила игры сами являются ставками (как это можно наблюдать каждый раз, когда символическая революция, например произведенная Э. Мане, стремится переопределить сами условия доступа к игре, то есть те свойства, которые там функционируют как капитал и дают власть над игрой и другими игроками). Социальные агенты включены в структуру на основе позиций, которые зависят от собственного капитала этих агентов, и в пределах своих диспозиций развивают стратегии, зависящие в значительной

59

мере от этих позиций. Эти стратегии ориентированы либо на сохранение структуры, либо на ее изменение, и в целом, можно установить, что чем более благоприятную позицию занимают индивиды в этой структуре, тем более они нацелены на сохранение одновременно и структуры, и своей позиции, конечно же, в границах своих диспозиций (то есть своей социальной траектории и своего социального происхождения), которые более или менее подогнаны под их позицию.

Глава 2. Специфические свойства поля науки

Рассмотрев самые общие свойства поля на примерах как поля экономики, литературы, так и поля науки, мне бы хотелось кратко представить специфические характеристики самого поля научного производства. Чем более автономно то или иное научное поле, тем менее оно зависимо от внешних социальных законов. В начале выступления я отказался от той формы редукционизма, что сводит законы функционирования поля к внешним социальным законам, то есть от так называемой ошибки короткого замыкания.

Но существует иная форма редукционизма, более тонкая, получившая в социологии науки название «сильной программы» — это «радикализация», несовместимая с отстаиваемой мною позицией. Она состоит, с одной стороны, в сведении стратегий ученых к социальным стратегиям, которые всегда составляют лишь один из их аспектов, а также к их социальным детерминациям, а с другой стороны, — в игнорировании сублимации внешних интересов (конечно же, политических) или интересов внутренних, связанных с борьбой в поле, навязанной агентам социальными законами этого поля (и, в частности, ограничениями, связанными с тем, что каждый имеет в качестве клиентов лишь своих же собственных конкурентов). Безмолвно навязываемая каждому новичку, эта сублимация включена в ту частную форму *illusio*, что неотделима от принадлежности к полю, то есть в научную веру, понима-

60

емую как незаинтересованный интерес и интерес к незаинтересованности. Такая вера заставляет принять, что, как говорится, научная игра заслуживает, чтобы в нее играли, что она стоит свеч, и определяет предметы, заслуживающие внимания, интересные, важные, то есть способные оправдать инвестиции.

Другими словами, поле, или, точнее, место антиэкономической экономики и регулируемой конкуренции, производит ту специфическую форму *illusio*, которой является научный интерес, то есть такой интерес, который в сравнении с другими его формами, находящимися в повседневном обращении (и, в частности, в экономическом поле), выглядит как незаинтересованный и бескорыстный. Но при более внимательном рассмотрении можно увидеть, что «чистый» бескорыстный интерес есть интерес к незаинтересованности, форма интереса, которая признается в любой экономике символического производства, этой антиэкономической экономике, где до некоторой степени именно незаинтересованность приносит выгоду. (Как раз в этом коренится одно из радикальных отличий «научного капиталиста» от просто капиталиста.) Из этого следует, что стратегии агентов всегда в некоторой степени неоднозначны, двойственны, являются одновременно заинтересованными и незаинтересованными, поскольку порождены своего рода интересом к незаинтересованности, и что им можно дать два противоположных описания, одинаково ложных, поскольку оба являются односторонними: одно агиографическое и идеализированное, другое — циничное и упрощенное, делающее из «научного капиталиста» такого же капиталиста, как и все остальные.

Руководители ведущих американских физических журналов рассказывают, что беспокойные исследователи звонят им днем и ночью, поскольку существует возможность потерять прибыль от двадцатилетнего исследования за пять минут опоздания. Понятно, что в таких условиях далеко до идеализированного видения науки, которое опровергается всем, что известно об истине научного исследования: плагиат, кража идей, борьба за первенство и т. д. — мно-

61

жество практик столь же древних, как и сама наука. Ученые корыстны, они желают быть первыми, лучшими, выдающимися.

Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

Но парадокс научного поля в том, что оно одновременно производит как эти губительные стремления, так и способы их контроля. Если вы хотите одержать победу над математиком, то должны это сделать математически, посредством доказательства или опровержения. Конечно, всегда существует возможность, что римский солдат отрубит голову математику, но это «категориальная ошибка», как сказали бы философы. Паскаль видел здесь тиранический акт, состоящий в том, что в рамках одной системы используется власть, принадлежащая другой. Но победа, отвечающая внутренним нормам поля, не единственная. То же самое можно сказать и об успехах тех, кто, не имея способностей для достижения признания в соответствии со специфическими нормами литературного поля, делают все возможное, чтобы быть избранными во Французскую академию и тратят свое время на газетные статьи или телевизионные выступления. Многие виды мирского (*temporel*⁶) признания применительно к этому «духовному ордену» выполняют такую компенсаторную функцию.

Чем более гетерономно поле, тем более неоднозначны правила борьбы и тем больше возможностей заставить признать в научной борьбе ненаучные аргументы. И наоборот, чем более автономно поле и чем оно ближе к чистой и однозначной конкуренции, тем сильнее проявляется сугубо научная цензура и слабее вмешательство чисто социальных сил (аргументов власти, ограничений карьеры и т. п.), социальные принуждения принимают форму логических ограничений, и наоборот: чтобы отстоять себя

⁶ *Temporel* — 1) временный, преходящий; 2) светский, мирской; 3) временной. Автор постоянно обыгрывает многозначность французского слова *temporel*, что делает невозможным его однозначный перевод на русский. Поэтому в русском варианте оно переводится в зависимости от контекста иногда как административный, институциональный, политический и т. п. с указанием в скобках французского варианта. (Примеч. перев.).

62

в поле, нужно отстоять свои доводы, чтобы там победить, нужно одержать верх над аргументами, доказательствами и опровержениями.

Научная борьба есть вооруженная схватка между соперниками, обладающими оружием тем более мощным и эффективным, чем более значительным является коллективно накопленный внутри поля и при его участии научный капитал (в его инкорпорированном в каждом из агентов состоянии), которые, однако, солидарны в том, что в качестве последнего арбитра взывают к показаниям опыта, то есть к «реальности». Эта «объективная реальность», на которую все явно или неявно ссылаются, в конечном счете представляет собой только то, что согласны считать таковой исследователи, включенные в поле в данный момент времени, и проявляет себя лишь посредством *представлений*, которыми ее наделяют те, кто взывает к ее суду.

То же самое можно сказать и о других полях, таких, как религиозное поле или поле политики, где, в частности, соперники ведут борьбу за навязывание принципов видения и деления социального мира, систем классификаций по группам, территориям, нациям, этносам и т. д. и постоянно призывают в качестве свидетеля так называемый социальный мир, вызывают его на суд с тем, чтобы потребовать от него подтверждения или опровержения своих представлений и предположений, своих диагнозов и прогнозов. Но специфику поля науки составляет именно то, что конкуренты едины в отношении принципов проверки на соответствие «реальности», в отношении общих методов проверки положений и гипотез, короче, в отношении неявного договора, неизбежно политического и когнитивного, которым обосновывается и определяется *работа по объективации*.

Из этого следует, что в поле прежде всего сталкиваются конкурирующие социальные конструкции или *представления* (включая все то, что это слово означает применительно к театральному представлению, чье предназначение в том, чтобы дать увидеть и заставить оценить свое видение), но представления реалистичные, претендующие

63

на обоснованность «реальностью», наделенную всеми средствами, чтобы навязать свое решение с помощью целого арсенала коллективно накопленных и используемых, зависящих от научных дисциплин и цензуры поля методов, инструментов и экспериментальных техник, а также с помощью невидимой силы согласования габитусов.

Все было к лучшему в этом лучшем из возможных научных миров, если бы логика чисто научной конкуренции, основанной исключительно на силе разума и аргументов, не сталкивалась, и даже в некоторых случаях не аннулировалась бы, внешними силами и принуждениями (как это наблюдается в тех науках, которые находятся еще на полпути к автономии, и тех, где всегда можно представить социальную цензуру как цензуру научную и облачить в одежды научных аргументов злоупотребления специфической социальной властью, такой, например, как административная власть или власть распределения должностей, получаемая благодаря участию в разных конкурсных комиссиях).

В действительности, миру науки, так же как и экономическому миру, известны отношения силы, явления концентрации капитала и власти, или даже монополии, социальные отношения доминирования, включающие господство над средствами производства и воспроизводства; ему также знакома борьба, где в качестве одной из ставок выступает власть над специфическими средствами производства и воспроизводства, действующими в той или иной области. И если он является именно таким, то помимо прочего потому, что эта антиэкономическая экономика чисто научного порядка (к этому пункту я еще вернусь) остается укорененной в обычной экономике и в силу этого подставляет себя под удар экономической (политической) власти и чисто политических стратегий, направленных на преодоление или сохранение этой власти.

Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

Научная активность предполагает экономические издержки, и уровень автономии науки частично зависит от того, в какой степени она нуждается в экономических ресурсах, чтобы состояться (с этой точки зрения, математики находятся в лучшем положении, чем физики или даже

64

биологи). Но к тому же уровень автономии особенно зависит от того, в какой степени научное поле защищено от вторжений (в частности, с помощью более или менее высокой платы за вход, которую оно требует от новичков и которая зависит от коллективно накопленного научного капитала) и в какой оно способно навязать свои позитивные или негативные санкции.

Глава 3. Два аспекта научного капитала

Из этого следует, что научное поле представляет собой место, где существуют две формы власти, соответствующие двум аспектам научного капитала. С одной стороны, власть, которую можно назвать светской (*temporel*) или политической: это власть институциональная и институционализованная, которая связана с занятием важных позиций в научных институтах, руководством лабораториями или факультетами, участием в комитетах, экзаменационных комиссиях и т. д., а также власть над средствами производства (контракты, кредиты, посты) и воспроизводства (власть назначать на должности и продвигать по службе), которую дают им высокие посты. С другой стороны, — специфическая власть или индивидуальный «престиж», более или менее — в зависимости от поля и институтов — автономный от первой формы власти и почти исключительно основанный на слабо объективированном и институционализированном признании группой равных или какой-либо частью наиболее посвященных среди них (учеными «невидимых колледжей», объединенными взаимным признанием).

Исходя из того, что научное нововведение сопровождается социальным разрывом с действующими в данный момент предпосылками (всегда соотносимыми с первенством и привилегиями), «чистый» научный капитал, даже соответствующий тому идеальному образу, который желателен в поле и форму которого оно стремится принять, оказывается, по крайней мере на стадии его начального накопления, более подвержен опровержению и критике,

65

*controversial*⁷, как говорят англосаксонцы, чем институционализированный научный капитал: создатели новых направлений в той или иной области (например, в социальных науках Бродель, Леви-Строс, Дюмезиль) были заклеены как еретики и подвергались резким нападкам со стороны институтов.

Два аспекта научного капитала имеют разные законы своего накопления: «чистый» научный капитал приобретает главным образом признанным вкладом в прогресс науки, то есть изобретениями или открытиями (наилучшим показателем в данном случае являются публикации, особенно в наиболее селективных и престижных печатных органах, способных, наподобие банков символического кредита, наделять социальным авторитетом); а институциональный научный капитал в основном приобретает посредством политических (специфических) стратегий, общей характеристикой которых является расход *времени* (участие в комиссиях, жюри диссертаций и конкурсов, семинарах, более или менее фиктивных с научной точки зрения, церемониях, собраниях и т. п.). Трудно сказать, является ли накопление институционального научного капитала основой (как бы компенсацией), как это обычно открыто заявляют его обладатели, или результатом хотя бы малейшего успеха в накоплении наиболее специфичной и наиболее легитимной формы научного капитала.

Различаясь по трудности практического накопления, эти два аспекта научного капитала имеют также разные способы трансляции. Слабо объективированный «чистый» научный капитал, обладающий некоторой неясностью и остающийся относительно неопределенным, всегда содержит нечто харизматическое (в обыденном восприятии он связан с личностью, с ее индивидуальными «дарованиями» и не может являться предметом «приказа о назначении на должность»); в связи с этим на практике его трансляция представляет собой большую трудность (даже если, в отличие от пророка, модельера или поэта, крупный ис-

⁷ *Controversial* (англ.) — спорный, дискуссионный (Примеч. перев.).

66

следователь способен передать наиболее формализованную часть своей научной компетенции, правда, лишь в ходе длительного и медленного обучения или, лучше, сотрудничества, которое требует много времени; и даже если он может, как любой обладатель символического капитала, «освящать» исследователей, обученных им или кем-то другим, создавая им репутацию, публикуя с ними совместные работы, издавая их, давая им рекомендации в инстанциях, дарующих признание и т. д.).

И наоборот, научный институционализированный капитал имеет почти те же правила трансляции, что и любой другой вид бюрократического капитала: даже если в некоторых случаях он должен принимать вид «отбора» по примеру «чистого» научного капитала, особенно на основе конкурсов, которые на самом деле могут быть очень схожими с конкурсами бюрократического приема на работу, где определение должностного места некоторым образом подогнано под претендента. (Без сомнений, именно в процессе отбора, направленного на сохранение корпуса исследователей, конфликт между этими двумя принципами становится наиболее заметным: держатели институционализированного научного капитала стремятся организовать процедуры — например, конкурсы — в соответствии с логикой бюрократического назначения, в то время как обладатели «чистого» научного капитала стремятся Социологизм Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

следовать «харизматической» логике «первооткрывателя»).

Очень хорошая статья Терри Шинна⁸, которая, благодаря строгому анализу, тщательному наблюдению и обоснованному (но не претенциозному) теоретизированию, противоречит современным тенденциям социологии науки, одновременно популистским и циничным, показывает, как в некоторых случаях эти два вида научного капитала и две формы власти могут сосуществовать в недрах одной лаборатории ко всеобщей пользе коллективного предприятия. С одной стороны, директор лаборатории, хорошо ин-

⁸ *Shinn T. Hiérarchies des chercheurs et formes des recherches // Actes de la recherche en sciences sociales. 1988. № 74. P. 2-22.*

67

формированный о состоянии исследований в данной области, благодаря частому посещению комитетов и комиссий, в некоторой мере воплощает «нормальную науку» и производит обобщения, а с другой — престижный исследователь, посвящающий себя конструированию «интегративных моделей» и дающий другим исследователям, старшим или младшим, некий дополнительный импульс их научному воображению (такое разделение труда, наблюдаемое в физической лаборатории, встречается во множестве исследовательских групп, относящихся к самым разным научным дисциплинам).

Как я отметил, в силу практических причин, накопление двух видов капитала является крайне сложным. И можно характеризовать исследователей по той позиции, которую они занимают в этой структуре, то есть на основе структуры их научного капитала или, точнее, по соотношению весов «чистого» и «институционального» капитала: на одном полюсе находятся обладатели большого объема специфического капитала и небольшого объема политического, а на другом, — обладатели большого объема политического капитала и небольшого научного (в особенности научные администраторы).

Если и оказывается, что накопление большого кредита научного доверия (в группе равных) благоприятствует, в конце концов и чаще всего на склоне лет (то есть когда уже слишком поздно), получению экономического и политического признания (со стороны административных, политических и других властей), то конверсия политического (специфического) капитала в научную власть является (к сожалению!) более легкой и быстрой, особенно для тех, кто занимает средние позиции в обеих иерархиях (научного престижа и административной власти) и кто, посредством влияния, которое они способны распространять на производство и воспроизводство (участие в Национальном совете университетов, комитетах *CNRS*, конкурсных и аттестационных комиссиях и др.), способен поддерживать незыблемый порядок и отвергать нововведения (особенно в пользу сложных альянсов, посредством которых

68

профсоюзные делегаты — часто обреченные быть административными работниками — способны оказывать поддержку своим руководителям, более других приверженным установленному научному порядку).

Символические отношения власти, существующие внутри поля науки, не обладают той отчетливостью, какую им может дать научный анализ, связанный с количественным определением характеристик, вплоть до самых трудноопределяемых, таких, как международное признание. Институциональная научная власть, благодаря господству, которое она обеспечивает над инстанциями и инструментами освящения, академиями, словарями, премиями или списками награжденных (по крайней мере, национальными), а также господству над позициями в университетах и в исследовательских институтах, является почти полностью национальной (чем объясняется отчасти разрыв между национальными и международными иерархиями); она получает возможность производить эффект квазихаризматического ореола, и прежде всего на молодых исследователей, часто склонных (и не только из-за заинтересованного раболепия) приписывать научные качества тем, от кого зависит их карьера, и способных обеспечить послушную клиентелу и целую вереницу фиктивных цитат и знаков академического признания.

Еще одним фактором, вносящим путаницу, по крайней мере в глазах «молодежи», которая в значительной мере способствует производству символического капитала (этого своего рода способа «быть замеченным», *percipi*, зависящего от восприятия и оценки агентов, включенных в поле), является тот факт, что научное влияние в конце концов может обеспечить себе некоторый вид политического (слово, всегда употребляемое в специфическом смысле) капитала светского признания, который в некоторых обстоятельствах может быть разочаровывающим или даже дискредитирующим фактором (одна из проблем новаторов, достигающих признания, особенно в литературе, как сохранить престиж, полученный от еретического разрыва, от авангарда).

69

Следовало бы проанализировать, каковы последствия такой двойственности власти для функционирования научного поля. Было ли бы оно более научно эффективным, если наиболее авторитетные исследователи одновременно обладали бы наибольшей властью? И если предположить, что в таком случае поле будет наиболее эффективным, то значит ли это с необходимостью, что оно будет более жизнеспособным?

Казалось бы, все (или почти все) находят свою выгоду в таком разделении властей и в таком половинчатом соглашении, позволяющем избежать наиболее ужасающих последствий некой эпистемологической теократии «лучших» или, наоборот, полного раскола двух властей, который обреч

бы «лучших» на полное бессилие. Но невозможно не видеть, с некоторым сожалением, действительную «функциональность», но не для прогресса науки, а для комфорта наименее активных и наименее продуктивных исследователей, того факта, что административная (*temporel*) власть над научным полем чаще всего предоставлена технократии от исследования, то есть исследователям, которые, с точки зрения научных критериев, совсем не являются лучшими.

Бесспорно, чем более ограниченной и неполной будет приобретенная полем автономия, чем более явно в ней будут обозначены разрывы между временной, или административной (*temporel*), и специфической иерархией, тем в большей мере временная (*temporel*) власть, часто выступающая посредником внешних властей, сможет вмешиваться в специфическую борьбу, главным образом, посредством господства над постами, субсидиями, контрактами и другими институциональными ресурсами, позволяющими мелкой олигархии освобожденных работников комиссий поддерживать свою клиентулу. В связи с тем, что для своего развития научные дисциплины в разной мере нуждаются в экономических ресурсах, некоторые исследователи, ставшие администраторами от науки (более или менее прямо связанными с исследованиями), способны, благодаря контролю над этими ресурсами, обеспечить их

70

социальным капиталом, осуществлять над исследованием практически тираническую (в смысле Паскаля) власть, поскольку последняя основана на принципе, не релевантном специфической логике поля.

В силу того что автономия научных дисциплин по отношению к внешней власти никогда не бывает полной, а сами они представляют собой место сосуществования двух принципов доминирования, политического (*temporel*) и специфически научного, то все эти универсумы характеризуются структурной неопределенностью: интеллектуальные конфликты в некотором смысле всегда являются и конфликтами власти. Любая стратегия ученого содержит одновременно как политическое (специфическое), так и научное измерение, и социологическое объяснение всегда должно включать эти два аспекта. Однако их относительный вес сильно меняется в зависимости от поля и от позиции в нем: чем более неоднородно поле, тем более велик разрыв между структурой распределения в поле неспецифической (политической) власти и структурой распределения специфической научной власти (признания, научного престижа и т. п.).

Существуют пространства, где эти две структуры даже перевернуты: распределение университетских преподавателей литературы и гуманитарных наук в пространстве французского университетского поля таково, что чем ближе они к полюсу власти, тем меньшим научным авторитетом обладают (основой измерения служили такие показатели, как место в *цитат-индексе*, число переводов и целый ряд других индикаторов): с одной стороны расположены наиболее влиятельные индивиды, особенно с точки зрения контроля за воспроизводством профессионального корпуса (те, кто заседают в *CNU*⁹, в больших конкурсных жюри и т. д.), а также сохранения парадигмы и ортодоксии; с другой — агенты, обладающие авторитетом, известностью, признанием, особенно международным, но не обладающие большой институциональной властью.

⁹ *CNU* (Conseil National Universitaire) — Национальный совет университетов (*Примеч. перев.*).

71

Это несоответствие является источником целого комплекса последствий. Оно позволяет тем, кто потерпел неудачу, рассказывать о себе истории, например, объяснять свою слабую интеллектуальную позицию своим плохим положением во властном порядке или изображать обладателей научного престижа так, как будто речь идет об обладателях политической власти. Кроме того, это несоответствие выступает механизмом, который позволяет обладателям светской власти (*dominants temporels*) — в противоположность обладателям духовной власти (*dominants spirituels*) — играть на неопределенности структуры, представляя свои стратегии, направленные на воспроизводство своей собственной позиции, как стратегии, направленные на развитие науки.

Это означает, что содействие прогрессу научности с необходимостью предполагает содействие прогрессу автономии этого пространства и, конкретнее, практическим условиям автономии, посредством установления препятствий на входе, запретом на введение и использование неспецифического оружия, поощрением установленных форм соперничества, подчиняющихся только ограничениям логической непротиворечивости и экспериментальной проверки.

Глава 4. Пространство точек зрения

Среди способов социального применения науки существует один, о котором на самом деле почти всегда забывают, но который от этого не становится наименее важным: он состоит в том, чтобы поставить науку, и особенно науку о науке, на службу самой науке, на службу ее прогрессу. Может ли представленный мною чисто описательный анализ привести к принятию какой-либо предписываемой точки зрения? Одно из достоинств теории поля состоит в том, что она позволяет разорвать как с первичным знанием, всегда частичным и пристрастным (каждый видит поле с определенной долей точности, но с той позиции в поле, которую он не видит), так и с полунаучными теориями, которые лишь эксплицируют одну из точек зрения на это поле.

72

Чтобы пояснить сказанное, я обычно привожу два примера критического анализа интеллектуалов, Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

относящиеся к концу 50-х годов. В книге «Опиум для интеллектуалов», получившей определенную известность, Раймон Арон изобразил тех, кого он назвал «интеллектуалами», то есть, по принятому в то время определению, «левыми интеллектуалами», наиболее яркими представителями которых были Сартр и Симона де Бовуар. В серии статей, появившихся в «*Les Temps modernes*», журнале Жана-Поля Сартра, Симона де Бовуар методично и аргументированно раскрыла содержание «правой мысли» (по ее мнению, воплощаемой Раймоном Ароном и еще некоторыми другими).

Но по ту сторону разделяющей их радикальной оппозиции и тех и других объединяло то, что они выдавали за строго объективное знание о предмете лишь свою частную точку зрения. Весьма прозорливые по отношению к точке зрения своих конкурентов (тем типом заинтересованной прозорливости, которая подсказана конкуренцией и воспринимается как соперничество или враждебность), они оставались слепы к самим себе и особенно к той позиции, с которой они понимали своих конкурентов, то есть к тому факту, что в одном и том же поле они занимали антагонистические позиции, обосновывающие как их проницательность, так и слепоту.

Научный анализ поля, например, исследовательских институтов, факультетов университетов, *CNRS*, *INSEE*, *INSERM* и т. д., внутри которого *INRA* занимает определенную позицию, или самого *INRA*, также функционирующего как относительно автономное субполе, организованного вокруг своих собственных оппозиций, с первого взгляда может показаться очень схожим с представлениями, производимыми агентами, особенно для целей полемики со своими конкурентами. И все же различие радикально: на самом деле, частичным и заинтересованным объективизациям агентов, ангажированным в поле, противопоставляется объективизация всего поля как ансамбля точек зрения (в двух смыслах: как взглядов, усваиваемых, исходя из определенной точки поля, и как совокупности

73

позиций поля, с которых принимаются эти заинтересованные взгляды). Такая объективизация предполагает установление дистанции по отношению к каждой из частных точек зрения, по отношению к каждой, обычно критикуемой, позиции.

Установление объективирующей дистанции (которое применимо и к самому объективирующему субъекту, когда в качестве объекта берется то поле, частью которого он является, как я это сделал в работе «*Homo Academicus*») подразумевает определение места этих точек зрения в пространстве позиций в целом (*l'espace des prises de position*) и соотнесение с соответствующими позициями, то есть необходимо одновременно лишить их «абсолютистского» притязания на объективность (связанного с иллюзией отсутствия точек зрения) и дать им объяснение и обоснование, сделать их понятными и прозрачными.

Мы видим, что независимо от любого нравоучительного намерения точка зрения, объективирующая другие точки зрения и определяющая их как таковые, которая часто несправедливо описывается как редуцирующая маркировка, подразумевает замену понимающего и снисходительного видения позиций и точек зрения — в соответствии с формулой «понять значит простить» — полемичным, частичным и пристрастным видением самих агентов, которое само по себе является ошибочным, даже если то, что оно открывает, раскрывает или разоблачает, содержит часть истины. Таким образом, объективизация вносит посильный вклад как в дело взаимного понимания тех, кто занимает разные позиции в поле, так и в дело интеграции этой институции, отнюдь не предполагая ущемления различных точек зрения.

К тому же, вместо того чтобы вести к релятивизму, как можно было бы подумать (и как часто хотят заставить думать), который устанавливает ничью между соперниками в борьбе за истину, конструирование поля позволяет установить истину различных позиций (*positions*) и границы валидности различных точек зрения (*prises de position*), которых, как я указал, неявным образом придерживаются

74

участники борьбы, с целью мобилизовать наиболее мощные инструменты доказательства или опровержения, предоставляемые им коллективным опытом их собственной науки. Оно также позволяет разорвать с научными полуообъективизациями или полунаучными объективизациями, которые лишь по своим притязаниям отличаются от представлений, произведенных социальными агентами в повседневной жизни и основанных на имеющемся у них заинтересованном знании (а иногда на весьма полной информации) о своих конкурентах.

Поэтому при анализе структуры и функционирования *INRA*, который я мог бы очертить, я ограничусь осторожными предположениями, предоставляя вам возможность продолжить и завершить их, следуя намеченному плану, понимая, что необходима огромная информация, предварительно собранная в ходе исследования, которой вы обладаете друг о друге, одни о других, в частности, о профсоюзной и политической принадлежности, о привязанностях и т. д. — что постоянно используется «стихийной социологией», часто довольно близкой, с точностью до рефлексивности, к научному анализу.

Анализ, основанный на понимании игры как таковой, разрывает с играми (или двойными играми) на антагонистических представлениях, показывая, что они разоблачают не только тех, кто их производит (и их позицию в поле), но и тех, к кому они относятся, и их позицию. Эти заинтересованные и частичные социальные представления, переживаемые и презентуемые как объективные и универсальные (особенно внутри научного универсума, где в силу профессии агенты располагают мощными инструментами универсализации), в действительности являются орудием внутренней борьбы.

Так, например, риторика «социальных потребностей», особенно навязываемая в научных институтах, официально признающих социальные функции науки, руководствуется скорее не реальной заботой об

удовлетворении потребностей и ожиданий той или иной категории «клиентов» (крупных или мелких земледельцев, продовольст-

75

венной промышленности, сельскохозяйственных организаций, министерств и т. д.) или даже о том, чтобы получить таким образом себе поддержку, а стремлением обеспечить себе относительно бесспорную легитимность и одновременно увеличить символическую власть во внутренней конкурентной борьбе за монополию легитимного определения научной практики (с этой точки зрения можно было бы последовательно проанализировать ряд постановлений по состоянию и развитию земледелия и сельского хозяйства 1982 года¹⁰, устанавливая соответствие между точками зрения и позициями).

Одним словом, не стоит ждать от социологического анализа крайних откровений. Особенно в таком институте, который, как *INRA*, занимает доминируемую позицию (в отношении научного престижа) среди других исследовательских институтов и неустойчивое положение между прикладным и фундаментальным исследованием и который по этой причине оказывается вдвойне предрасположенным к беспокойству и тревоге, способствующим едкой, а иногда даже немного патологической и саморазрушительной прозорливости.

Достоинство подобного социологического анализа, изменяющего, в некотором смысле, все, состоит прежде всего в том, что он дает систематическое видение точек зрения, производимых агентами в поле, что необходимо для их практической борьбы. Несмотря на производимое впечатление (как в случае с обращением к «социальным потребностям», чтобы их «универсализовать»), эти точки зрения имеют своим основанием свойства позиции внутри самого поля и, поставленные таким образом на ноги, радикально меняют свой смысл и функции.

Глава 5. Частный случай INRA

Итак, как же не замечать, что все двусмысленности и неопределенности, свойственные в разной мере любому, да-

¹⁰ [Etats généraux du développement agricole de 1982.](#)

76

же самому «чистому» полю, поскольку в них вынужденно сосуществуют как внутренние и специфические, так и внешние и исключительно социальные принципы доминирования и иерархии, в случае такого института, как *INRA*, характеризуемого в высшей степени структурной и функциональной неопределенностью, могут быть только закреплены? И что все упомянутые мной двойные игры между престижем и властью, научными и обслуживающими функциями, которые позволяют избежать требований науки во имя требований общественной пользы (как, впрочем, и в образовании), находят здесь исключительно благоприятные условия?

Конкретно это означает, что если все научные институты без особого трепета могут и должны принимать как есть неприкладные исследования, примеры которых они неизбежно представляют (Дьедонне где-то сказал, что математическая практика не нуждается ни в каком другом оправдании, кроме «славы человечества»), то не только нищета, но и величие сотрудников институтов прикладных исследований в том, чтобы быть постоянно призванными — собой и другими — заботиться о социальной бесполезности: в конечном итоге, весьма почетном деле. Единственный вопрос, заслуживающий интереса, состоит в том, чтобы понять, извлекать ли из этой частной ситуации мрачное наслаждение от своего рода первородного и неискупимого греха или же, напротив, повышать требования и увеличивать возможности, связанные с необходимостью совмещать исследовательские императивы, обычно более или менее условно разделенные.

По этому поводу я вынужден высказать свое несогласие с подходом, представленным здесь Бруно Латуром¹¹. Такое понятие, как «*RANA*»¹² лишь придает марку научности наиболее циничным и наиболее безнадежным (что часто одно и то же) прозрениям докисического самоана-

¹¹ [Latour B. Le métier de chercheur, regard d'un anthropologue. P.: Éd. INRA, 1995.](#)

¹² *RANA* (Recherche appliquée non applicable) — неприкладное прикладное исследование (*Примеч. перев.*).

77

лиза, который довольно успешно выражается формулой, произведенной коллективной рефлексией мая шестьдесят восьмого года: «Исследователь, который что-то ищет, — это и находит; исследователь, который что-то нашел, — это и ищет». Под видимостью критического радикализма полуанализ подобного рода потакает наиболее распространенным и наиболее конвенциональным ожиданиям: вместо того чтобы стимулировать критическое, то есть конструктивное мышление, ответственные за это способствуют цинизму в научной практике или, хуже того, создают инструменты обоснования управленческого видения руководителей институтов, более заботящихся о том, как контролировать и сдерживать, чем о том, как конструктивно и творчески объяснять и развивать.

Итак, *INRA* функционирует как поле. И разрыв, как между агентами, так и между отделами, организованными в соответствии с иерархией, которую в очередной раз нелегко определить, поскольку она определяется как административными (или политическими), так и сугубо научными критериями (что не является исключением и наблюдается очень часто в других научных институтах), здесь особенно

велик из-за двойственности взятых на себя и декларируемых функций, а именно функций фундаментального и прикладного исследований.

Этот разрыв настолько велик, что некоторые, даже сотрудники института, могли бы себя спросить, а существует ли, помимо видимости и общей зависимости от Министерства сельского хозяйства и Министерства научных исследований (которые сами разделены и иногда находятся в оппозиции), еще какой-нибудь объединяющий принцип, помимо отсылки, для некоторых совершенно формальной, к общему конкретному объекту исследования — сельскому хозяйству.

Действительно, если обратиться к крайним позициям и пренебречь всем остальным распределением агентов, которые в разных пропорциях объединяют в себе характеристики крайних полюсов, и особенно если забыть, что многие исследования, называемые «фундаментальными»,

78

являются менее «чистыми», чем они кажутся, а также что многие так называемые «целевые» исследования могут вносить значительный вклад в фундаментальную науку, то можно противопоставить несовместимые и взаимоисключающие категории (чьи эквиваленты можно найти и в других областях, таких, например, как медицинские факультеты с их оппозицией между представителями клинической медицины, доминирующими социально, и представителями фундаментальной медицины, доминирующими в научном плане): с одной стороны, практики-клиницисты, в основном выпускники *Agro*, более ориентированные на проверку уже установленных научных и технических знаний или на подтверждение или распространение устоявшихся представлений, а также на краткосрочные исследования, иногда проводимые в сотрудничестве с производителями (включая таких производителей особого типа, как крестьяне) и направленные на быстрое решение практических проблем; с другой — исследователи, вышедшие в основном из университетской среды, склонные к более узкоспециализированным исследованиям, не имеющим никакой другой непосредственной цели, кроме приращения знания.

Такое социально сконструированное видение делений без труда находит себе пищу в стереотипах, подтверждающихся особенно в конфликтные и кризисные периоды: «чистые» исследователи хорошо видят, что ценой социального признания и «политического» веса (в очень широком смысле), получаемым «прикладниками» от потребителей, фермеров, членов профессиональных и профсоюзных кооперативов и ассоциаций, промышленников, а также от политических властей, о чем свидетельствуют их частое участие во властных структурах, — довольно часто являются отказ или отречение от научности, а главное — от автономии. Интерес, проявляемый индивидами и внешними инстанциями к исследованию и к его результатам, на самом деле всегда является неоднозначным и двусторонним: поскольку социальное признание, которое приходит с ним и которое может трансформироваться в доступ к зна-

79

чительным экономическим и политическим ресурсам, недоступным для фундаментальщиков, имеет обратной стороной определенные притязания пользователей на оценку или даже на ориентацию исследования.

Что касается «прикладников», то их позиция позволяет им увидеть, что законное снисхождение, которое проявляют к ним некоторые так называемые «чистые» исследователи, часто прикрывает беспокойство или неудовлетворенность типом исследования, не находящим признания ни со стороны науки, ни со стороны практики (и происходит даже так, что, опираясь на социальное удовлетворение и признание их деятельности, «прикладники» лучше видят компенсирующие функции, которые выполняет более или менее подчеркнутая политическая ангажированность «чистых» исследователей, вынужденных мириться с отсутствием социального одобрения их научной деятельности, не получающей к тому же действительного научного признания).

Относительная сила двух позиций меняется. С одной стороны, она зависит от развития науки (например, от появления таких новых дисциплин, как молекулярная генетика), с другой стороны, она довольно явно зависит от политической конъюнктуры и неявно — от экономической и социальной конъюнктуры, а также от доминирующей в руководящих кругах и внутри института проблематики: некоторые из наиболее характерных изменений научной политики руководства, как, например, отступление от целевой миссии *INRA* и желание трансформировать институт в орган передовых исследований, конкурентоспособный на международном уровне, совпали с кризисом легитимности производительного сельского хозяйства (без установления причинно-следственной связи) — тезис, поддерживаемый аграрной политикой, в которую *INRA* внес большой вклад. Именно эти две группы факторов изменяют как смысл, который приписывается общим категориям, маркирующим позиции в наиболее важных дискуссиях (подобных тем, что сегодня порождают споры между требованиями роста производительности и заботой

80

о сохранении национальных традиций), так и отношения символической власти между, например, сторонниками производительности и защитниками национального наследия, чьи интересы связаны с различными состояниями не только экономического и социального мира, но и самого пространства института.

Скрытое недовольство, так сильно ощущаемое сегодня в *INRA*, возможно, объясняется тем фактом, что этот институт потерял (или теряет) безусловное признание, которое давал ему аграрный сектор (как

со стороны профсоюзных организаций, так и со стороны самих фермеров, этих восторженных получателей в сущности популистского дискурса), не получив в полной мере международного научного признания, которое, начиная с 70-х годов, кажется, стало первой, если не единственной, целью его руководителей.

Глава 6. Преодоление иллюзий и ложных антиномий

Не буду углубляться в эти предположения, поскольку их невозможно проверить ввиду нехватки у меня информации, в частности, о социальном происхождении исследователей и их дальнейшем продвижении. Однако не вызывает сомнений, что декларируемые оппозиции скрывают то, что смог бы показать систематический социологический анализ, а именно: полемичные и частичные взгляды, вырабатываемые каждым из двух «лагерей» в свою защиту, упускают из виду не только общие характеристики и интересы, но и обоснования их деятельности, не связанной исключительно с одной из двух функций, официально закрепленных за институтом.

Достаточно иметь объективирующую точку зрения, которую предполагает социологическое конструирование пространства *INRA* как поля, чтобы увидеть, что специфику этого института и основу разрывающих его противоречий, составляет не что иное, как двойное определение

81

функций, приписываемых исследованию и заставляющих объединять в рамках одной организации два момента любого научного производства, обычно разделенных (например, в области фармацевтических исследований), а именно: момент *изобретения* и момент *инновации*, в значении, которое приписывает этому слову экономическая традиция, то есть трансформации научных изобретений в нововведения, производящие новые товары и новые доходы в экономической сфере.

Известно, что одна из проблем, которую необходимо решить, чтобы перейти от изобретения к инновации, и над которой размышляют многие аналитики, — взаимодействие между полем науки и полем экономики, где ставки и цели абсолютно различны, где агенты придерживаются совершенно разных, даже противоположных, философий существования, порождающих глубинные различия: с одной стороны, логика специфической внутренней борьбы поля, с другой — стремление к прибыли, рентабельности, которое выводит на первое место проблему *screening*¹³ — выявления изобретений, способных стать инновациями (как найти интересные открытия и изобретателей и прежде всего как получить об этом информацию), что, в свою очередь, отсылает к проблеме *go between*¹⁴ — поиску посредников, способных распространять информацию и обеспечивать связь.

Несомненной особенностью *INRA* является то, что он объединяет два типа специалистов и две логики, научную и экономическую, в одном и том же социальном пространстве, а точнее, в одном государственном институте (и возможно, именно с этого утверждения нужно было бы начать, чтобы подвергнуть критике позицию тех, кто, выступая за внедрение результатов исследований, иногда доходит до желания осуществить своего рода скрытую или явную приватизацию института). Это означает, что обе функции, изобретения и инновации, научного исследования и поис-

¹³ *Screening* (англ.) — отбор, проверка (Примеч. перев.).

¹⁴ *Go between* (англ.) — быть посредником (Примеч. перев.).

82

ка возможностей практического применения и производства, возлагаются на инстанции, принадлежащие к одному институту, но, что самое главное, подчиняющиеся одной и той же логике — логике государственных институтов, свободных от прямого давления рынка.

Одно из серьезных противоречий научного поля состоит в том, что своей автономией оно во многом обязано факту финансовой поддержки со стороны государства, а значит, — включенностью в специфические отношения зависимости от той инстанции, которая способна поддержать или сделать возможным производство, свободное от прямого давления рынка (совершенно очевидны соответствия с некоторыми случаями культурного производства, такими, как музыка или авангардная живопись). Эта зависимость в независимости (или наоборот) имеет некоторую двойственность, поскольку государство, обеспечивающее минимальные условия автономии, также способно навязывать ограничения, основанные на внешней логике, и стать выразителем или посредником экономического принуждения, от которого оно считается избавленным.

Здесь мы находим еще одну *ложную антиномию*, которую анализ способен легко развенчать: можно выработать стратегию использования государства, чтобы освободить себя от влияния государства, чтобы бороться против принуждений, которые оно осуществляет; можно извлечь пользу из автономии, которую дает государство (например, пожизненные штатные должности, *tenures*¹⁵, как говорят англосаксонцы), чтобы утвердить свою независимость по отношению к государству. Кстати, в реальности само государство не обладает тем единством, которое подразумевается понятием аппарата: различные министерства, органы одного и того же министерства или группы разделены всевозможными противоречиями, которые можно легко использовать, особенно в области научных иссле-

¹⁵ *Tenure* (англ.) — амер. постоянная штатная должность (особ. преподавателя) (Примеч. перев.).

83

дований, где они не имеют ни сходных целей, ни одних и тех же органов по отбору проектов и оценке результатов.

Первый действительно научный акт социальной науки будет состоять в том, чтобы взять в качестве объекта анализа социальное конструирование объектов исследования, которые предлагаются социологии государственными институтами, сегодня, например, — это преступность, «пригороды», наркотики и т. п., и сопутствующие им категории анализа, некритично используемые такими крупными государственными исследовательскими институтами, как *INSEE*, *CREDOC*¹⁶, не говоря уже об институтах общественного мнения, которые я определил как науку без ученого.

Но вопрос автономии не абсолютно чужд той позиции в пространстве *INRA*, что ответственна главным образом за инновацию и имеет к тому же возможность отстаивать и утверждать свою независимость как по отношению к государству, так и по отношению к экономическим и социальным силам (можно сослаться на примеры из прошлого *INRA* о независимости, которую ему предоставляло государство и государственное финансирование в противовес контрактам, несущим в себе угрозу гетерономии), с тем чтобы самостоятельно определять цели своего исследования, давать собственную формулировку общего интереса, который не сможет сформулировать или профинансировать ни одно частное предприятие, например, в области повышения производительности сельскохозяйственных предприятий или защиты природных ресурсов.

Я не уверен, что руководители института, занятые, как всегда, попытками уменьшить угрозу разрыва между «прикладниками» и «исследователями» на основе примиряющей идеологии (здесь можно говорить о «фундаментальном исследовании») и о значительной части усилий всех бесконечных комиссий по поводу будущего *INRA*, его функций и т. д., которые направлены на примирение более или

¹⁶ *CREDOC* (Centre de REcherche et de Documentation sur la Consommation) — Центр изучения и документации потребления (*Примеч. перев.*).

84

менее мифических противоречий (например, требований представителей университета и ожиданий потребителей), имеют представление об интересах и потребностях, присущих всем исследователям вместе, и «чистым» и «прикладным», как членам одного государственного института, наделенного универсальным призванием, трансцендентным по отношению к групповым интересам, обычно идущим в паре с частным финансированием.

Вместо вербального и неэффективного экуменизма, всех благих рассуждений по поводу «социального заказа», их требований и угроз, нужно бы провести обстоятельный анализ *контрактов*, направленный не на определение принципиальных позиций «за» или «против» контрактов, обычно абстрактных и общих, а на выработку практических принципов управления этими контрактами (я думаю о принципе, состоящем в том, чтобы браться за исследование только проблем, лежащих в русле проблематики группы исследователей, который, как показывает опыт, совсем не столь очевиден, или же о правиле, которое я старался использовать в своей исследовательской группе, а именно заключать контракты только на исследование уже исследованных проблем или, точнее, «продавать» уже выполненные исследования, с тем чтобы финансировать текущие или проектируемые работы, определенные в соответствии с логикой научного исследования, а не внешнего запроса). Эти проблемы для так называемых прикладных и фундаментальных исследований, несмотря на все разделяющие их различия, являются общими, и они могут попытаться найти общие для них решения.

Столкновение антагонистических точек зрения, противопоставляющих автономию так называемых «чистых» исследователей гетерономии «прикладных» исследователей, лишает возможности увидеть, что в реальности происходит столкновение двух относительно автономных форм исследования, одна из которых более ориентирована, по крайней мере в своей интенции, на научное открытие и имеет отношение (с грехом пополам) к логике научного поля, в то время как другая больше ориентирована на ин-

85

новацию, но также совершенно независима, как к лучшему, так и к худшему, от санкций рынка и способна сама определять столь же универсальные цели государственных институтов и заботу об общем интересе. Где бы еще, помимо ассоциаций и социальных движений, которые чаще всего лишены научных инструментов, необходимых для защиты своих интересов, говорили о защите генов растительных и животных видов, оказавшихся под угрозой, о защите экосистем или невозобновляемых природных ресурсов, если бы этого не делал *INRA*?

Очевидно, что эта двойственность функций дает некоторым возможность играть на двух полях и, сознательно или бессознательно, ссылаться на требования практического применения, чтобы избежать требований научного открытия, и наоборот, ссылаться на требования научного открытия, чтобы избежать требований практического применения. Разоблачение подобных «провалов» составляет необъемлемую часть уловок, к которым охотно прибегают полусоциологи, немедленно одобряемые администраторами, полагающимися на их ложные пессимистичные выводы, чтобы придать авторитет своему нормативному или репрессивному вмешательству.

Более сложным, правильным и необходимым является понимание несомненно довольно загадочной логики этого института, который объединяет в себе две концепции автономии, две концепции исследования и две концепции открытия (как такового изобретения и инновации), которые, обладая большими различиями, все же основаны на одном и том же экономическом фундаменте, а именно на относительной свободе от прямого экономического принуждения, обеспечиваемой поддержкой со стороны государства, и являются вполне совместимыми и даже взаимно дополнительными.

Глава 7. Несколько нормативных предложений

Если бы я мог позволить себе дать рекомендации, о которых меня никто не просил, то сказал бы, что сотрудникам

86

INRA — вместо того чтобы тратить столько энергии на междоусобные войны, результатом которых является лишь развитие извращенного, бесплодного, ожесточающего здравомыслия (одновременно всеобъемлющего и бессодержательного в силу своей частичности, предназначенного оправдать более глубокую форму заблуждения), — нужно объединить свои усилия, чтобы развивать и культивировать то, что составляет их специфику, то есть двойственность функций исследования. Вместо того чтобы противостоять как автономные и гетерономные, так называемые фундаментальные и прикладные исследования — которые к тому же никогда не являются столь фундаментальными, чтобы не иметь хоть какого-нибудь практического применения, и никогда столь узко прикладными, чтобы не оказаться полезными для какого-либо научного исследования в качестве некоторого основания или следствия — имеют то общее, что являются в равной мере автономными и вписанными в универсалистскую логику государственного института, предназначенного служить обществу и радеть об общественной пользе.

Политика, направленная на развитие потенциальных конкурентоспособных свойств института или, что в принципе одно и то же, на социальное обоснование его существования (а также на удовлетворенность его сотрудников, которая сильно зависит от чувства социальной оправданности или общественного смысла), должна одновременно работать на то, чтобы, не входя в противоречия, *акцентировать как дифференциацию* функций и структур, их обслуживающих (чтобы, к тому же, затруднить сознательную или бессознательную двойную игру), *так и интеграцию* различных агентов и институтов в общий коллективный проект посредством систематической организации обмена информацией (общие семинары, исследовательские проекты, включающие изобретательские и инновационные аспекты, а значит, и соответствующие кафедры и их исследователей, и т. д.). Само собой разумеется: чтобы быть действительной движущей силой интеграции разделения научного труда (интеграции, взятой в понятном и

87

всеми явным образом принимаемом значении этого слова, то есть научно эффективной и политически демократичной), сознательное усиление дифференциации функций (предполагающее, конечно, сокращение или ослабление некоторого числа групп или кафедр, живущих и сохраняющихся благодаря двусмысленности функций) подразумевает глубокую *перестройку иерархии* этих функций, которая должна быть осуществлена всеми средствами и прежде всего в умах (что не самое легкое дело).

Подобного рода «деиерархизация» является одним из условий конструирования действительно общих целей, наиболее важной из которых, наверное, могла бы стать организация коллективной борьбы в защиту автономии (пример которой я дал относительно политики контрактов). Такая борьба, очевидно, предполагала бы — для преодоления дезинтеграционных факторов — формирование своего рода патриотизма или «дела чести института», то есть формирование солидарности в конкуренции между всеми исследователями (изобретателями и инноваторами, вместе взятыми), чьи суждения, как неформальные (репутация, престиж, и т. д.) — смутные, неоформленные и в то же время глубоко чувствуемые и уважаемые, так и формальные (публикации в престижных журналах, специальные премии и т. д.), обладали бы способностью выступать как единственная мера и как единственное практическое и непосредственное одобрение достижений и упущений в деле создания нового, что представляет собой принцип оценки, общий как для изобретателей, так и для инноваторов; и одновременно выставить неоспоримую социальную преграду административным руководителям, а также внешним властям и их предписаниям и оболещаниям.

Становится понятно, что я считаю настоятельно необходимым усиление коллективной способности к сопротивлению, которую исследователи должны быть способными противопоставить, несмотря на конкуренцию и конфликты, их разделяющие, более или менее тираническому вмешательству научных администраторов и их союзников в мире исследователей (и услужливой социологии, спеша-

88

щей создать в себе потребность, предлагая «беспорные» критерии, способные обосновать решения просвещенного деспотизма).

Допустим, что научная бюрократия учла бы предлагаемые мной цели, то есть необходимость одновременного усиления дифференциации и интеграции, тогда в качестве первой реакции любая бюрократия от исследований (я говорю об административных руководителях институтов) потребует у какой-нибудь комиссии провести работу по выяснению и уменьшить неопределенность, предложив, с помощью одной из своих «консультационных комиссий» (или чего-то подобного), продающей дорогостоящие технократические выдумки, такие, как «социометрия» или «библиометрия», новые системы критериев, удобные для «научного» обоснования бюрократически безупречных решений.

Но неопределенность системы гибких критериев, которые действительно учитываются при приеме новичков и профессиональном продвижении (и которые нужно бы вычленить посредством систематического анализа выборки результатов отборочных конкурсов), слишком явно благоприятствует маневрам аппарата, чтобы можно было ожидать от людей аппарата, что бы они ни говорили, действительной борьбы с неопределенностью и старания уменьшить ее. Кроме того, какой бы важной ни была эта мера, она бы не смогла внести принципиальных изменений в функционирование института.

Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

Рискуя вмешаться в святая святых научной институции, то есть в систему механизмов и процедур, с помощью которых она обеспечивает свое воспроизводство, я бы хотел, опираясь на общие знания, имеющиеся у меня благодаря анализу функционирования научных институтов, указать на то, что рассуждения реформаторов по данным вопросам, особенно когда они исходят от руководящих инстанций, опираются на скрытое лицемерие.

Если я считаю, что административные меры, направленные на совершенствование оценки исследований и установление системы санкций (таких, как «пункты в карьере»), способствующей лучшим исследованиям и исследо-

89

вателям, будут в лучшем случае неэффективными, а скорее всего станут содействовать усилению дисфункций, которые они призваны уменьшать, то это потому, что у меня есть серьезные и причем значительно обоснованные сомнения в способности административных инстанций дать действительно объективную и правильную оценку. В основном потому, что реальным результатом их операций по оцениванию оказывается не собственно оценка, а власть, позволяющая им осуществлять и усиливать контроль над воспроизводством профессионального корпуса (в особенности через определение состава жюри).

Вопрос, который здесь возникает, как и в других случаях, состоит в том, чтобы знать, кто обладает правом судить и кто будет судить о законности судей. Упрощая, можно сказать, что вопрос о справедливой оценке сводится практически к вопросу о правильности и справедливости выбора судей или, если подняться еще на одну ступень, выбора тех, кто способен назначать судей (составлять жюри) и определять, с помощью создаваемых ими комиссий, критерии, в соответствии с которыми судьи должны будут судить.

Таким образом, мы доходим до руководителей институтов, до научных администраторов. Примечательно, что все эти люди, говорящие только о критериях оценки, научном качестве, «весомости» научной карьеры, с жадностью бросающиеся на методы «социометрии» и «библиометрии» и обожающие беспристрастные и объективные экспертные оценки (обычно производящие дорогостоящие тривиальные факты и бесполезные предложения, как, например, последняя проверка процедур оценивания в *CNRS*), сами освобождены от какой бы то ни было оценки и тщательно избегают любого применения к их административным практикам (а не только к их научным практикам, как это делается при обычной полемике) процедур, использование которых они столь активно проповедают.

Итак, я твердо уверен, что некоторые структурные дисфункции могут быть ликвидированы только в том случае, если руководители институтов будут оцениваться по кри-

90

териям, которые они хотят навязать другим, или, по меньшей мере, по специфическому эквиваленту проповедуемых ими процедур оценки. К выработке критериев изобретения и инновации в области науки и экономики необходимо добавить критерии в области *организационной инновации* и открыто признавать агентов, отличающихся по этим критериям. В результате более или менее длительного периода на административные позиции можно было бы привлечь не столько посредственных или стареющих исследователей или просто честолюбцев и карьеристов (как это почти всегда происходит, со всеми вытекающими отсюда последствиями, особенно в области оценки), а действительно *специфических предпринимателей*.

Эти руководители нового стиля считали бы своей целью, по примеру некоторых издателей или директоров галерей, действовать как изобретатели, способные помогать нетипичным исследователям, руководить и организовывать коллективные действия, разрабатывать заявки на исследования, с тем чтобы помочь наименее опытным исследователям согласовать внешний спрос и внутренние требования, одним словом, действовать не как штатные руководители, на которых возложены обязанности одобрять, а как *тренеры*, обязанные побуждать, помотать, поддерживать, поощрять и организовывать исследования, а также обучение (посредством программ непрерывного образования и взаимообучения) и распространение научной информации.

Глава 8. Коллективная конверсия

В связи с указанными мной причинами, а также в связи со многими другими, которые еще нужно подробно анализировать и которые столь же систематично упускаются и игнорируются реформаторскими комиссиями всех сортов (не говоря уже о «коллективной оценке», которой подчинены лаборатории *INRA*), очевидно, что научная политика, действительно согласованная с интересами института

91

(а не с интересами тех, кто им управляет), не может быть разработана и реализована по приказу (тех, кто им управляет, какими бы просвещенными они ни были). Только коллективная рефлексия, способная мобилизовать все живые силы института (и, в частности, силы наиболее активных и увлеченных исследователей, особенно среди самых молодых) и все его ресурсы (которые нужно еще инвентаризировать, мобилизовать и распространить информацию о них среди всех сотрудников института), могла бы привести к подобной коллективной конверсии, являющейся условием действительного обновления.

Я прекрасно понимаю, что большому числу положительных моментов, которые могут возникнуть в Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российской-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

результате подобной коллективной конверсии, поскольку речь идет именно об этом, как в области научных открытий, так и в области экономических инноваций, соответствует огромное число социальных препятствий, которые на практике оказывают сопротивление подобному изменению всей системы представлений о разделении научного труда и, глубже, способов восприятия других и себя самого. Обозначенный мною слом всего множества предпонятий, допущений, предрассудков, которые выстраиваются спонтанной социологией конкурирующих агентов (и под видом объективации ратифицируются плохой социологией), является лишь первым, но решающим, на мой взгляд, шагом к своего рода коллективному освобождению.

Продвижение вперед и осуществление этого коллективного социоанализа, который является абсолютным условием истинной коллективной конверсии, могут реализоваться лишь ценой длительной работы каждого над собой и над всеми другими, и только всей группой в целом. Поэтому важно создавать дискуссионные органы (возможно, при участии и незначительном, но, думается, совершенно необходимом, содействии социологов), где все сотрудники института будут вынуждены формулировать и осмысливать коллективно, вне всяких принуждений или иерархических санкций, проблемы, которые могут быть общими для разных категорий исследователей, но могут так-

92

же их разделять и ставить в оппозицию друг к другу. При столкновениях или обычных дискуссиях, в небольших дискуссионных группах, открытых для недовольства или сплетен; в партиях, ассоциациях и синдикатах, открытых всякого рода самообману (*self déception*), свойственным системам коллективной защиты; в комитетах или комиссиях, приверженных ложным реалистичным фактам и молитвенным обетам шаблонного бюрократического языка, — эти проблемы чаще всего не обсуждаются, а замещаются разоблачениями или «политизацией», как более легкими формами рассуждения.

Я убежден (здесь проявляется моя сторона *Aufklärer*), что из реалистичного, но не разочарованного видения научной жизни можно вывести правила или максимы, процедуры и методы, в частности, применительно к организации дискуссии и циркуляции информации, которые позволили бы сделать практику и научную жизнь одновременно более эффективными и более удачными или же менее несчастными (поскольку очевидно, что одна из основных функций всех антагонистических представлений, что производятся различными категориями исследователей, состоит именно в заклинании и прелотворении всех специфических форм несчастий или страданий, которые связаны с включенностью в научное поле, структурно предрасположенное приносить значительно больше поражений, чем побед).

Я считаю, что, опираясь на строгий анализ научного поля, такого, каким оно на самом деле является, можно предложить конкретные принципы *Realpolitik* разума. В отличие от философии «коммуникативного действия» Юргена Хабермаса, очень уважаемого и вызывающего сегодня большой интерес немецкого теоретика, который отводит значительное место проблемам и нормам коммуникации в социальных пространствах, таких, например, как поле политики, та *Realpolitik*, использование которой я собираюсь показать, утверждает, что, для того чтобы осуществился идеал, принимаемый за истину коммуникации, необходимо воздействовать на структуры, в которых осу-

93

ществляется коммуникация, посредством политического, но специфического действия, то есть действия, способного преодолеть специфические социальные препятствия для рациональной коммуникации и просвещенной дискуссии.

Хотя научные поля и представляют собой специфические пространства (и тем более специфические, чем более они автономны), но, как я указал, не все к лучшему в этом лучшем из возможных научных миров, и существуют социальные препятствия для установления рациональной коммуникации, являющейся условием прогресса разума и универсальности. Итак, необходимо бороться практически, а значит, политически (в специфическом смысле слова), чтобы придать силу разуму и аргументам, при этом опираясь на доводы, уже получившие подтверждение в истории поля.

Но чтобы не впасть в самообман, необходимо помнить, что борьба, о которой я говорю (в частности, борьба за защиту автономии, за защиту экономических и социальных условий автономии, которые никогда не приобретаются раз и навсегда, как думают некоторые сторонники позиции ухода в себя и уединения в башне из слоновой кости), — это борьба специфическая, ее ведут специфическим оружием, внутри каждого поля, и ее нельзя переносить — как это так часто происходит — на другие территории, например, в область обычной политики.

На самом деле, нет ничего более пагубного, чем «политизация», в обычном смысле этого слова, научного поля и идущей в нем борьбы, то есть переноса политических моделей в поле науки, что часто практикуется во Франции, включая *INRA*. «Политизация» почти всегда является делом самых слабых по специфическим нормам поля (будь то временно доминирующие и временно исполняющие или доминируемые) и, таким образом, заинтересованных в гетерономии: вовлекая внешние силы во внутреннюю борьбу, они препятствуют полному развитию рационального обмена.

Именно тот факт, что даже наиболее специфическая борьба в области искусства, литературы или науки не из-

94

бавлена от всякого рода последствий в общем социальном пространстве, делает положение столь сложным, а двойную игру такой легкой. И защита, в виде борьбы за автономию того, что является

наиболее специфичным для некоего поля, к примеру, борьба американских художников против цензуры, может иметь политические последствия. А главное, защита автономии поля, в особенности научного, и поля социальных наук в частности, сама по себе является политическим актом, особенно в те периоды и в тех обществах, где политики и управляющие экономикой неустанно вооружаются наукой, особенно экономической, но не для того чтобы управлять, как они хотят заставить всех думать, а чтобы легитимировать политические действия, вызванные к жизни причинами, не имеющими ничего общего с научными.

После столь длинного отступления, необходимого, как я считаю, чтобы избежать непонимания по поводу моих намерений, возвращусь к своей теме, то есть к *INRA* и тому, что могло бы стать *Realpolitik* разума, направленной на интеграцию этого института, имеющего двойную цель, интеграцию, основанную на коллективном и согласованном господстве над своей структурной и функциональной дифференциацией и посредством его. Речь идет об установлении и приведении в действие механизма коллективной дискуссии, ориентированного на открытие новых организационных структур, способных содействовать этой интеграции в дифференциации.

Я часто говорю, придавая более широкое толкование замечанию Макса Вебера по поводу взаимной роли в развитии огнестрельного оружия и форм организации вооруженных сил (с изобретением такого вида боевого порядка, как шеренга), что большой прогресс в науке также связан с организационными открытиями (такими, как лаборатория или семинар), в частности, с изобретением способов, заставляющих работать вместе исследователей, имеющих разные интересы, поскольку они включены в поля, построенные по квазиантагонистическим логикам. Благодаря такому механизму можно было бы рассчитывать на

95

некоторый шанс правильно сформулировать и действительно решить, избегая любого индивидуального и коллективного самообмана, ужасную проблему «социального заказа»; проблему условий, при которых «социальный заказ» может и должен быть определен и выработан, когда можно и должно продуктивно на него отвечать.

Перевод с французского Ю. В. Марковой

Пьер Бурдьё. ЦЕНЗУРА ПОЛЯ И НАУЧНАЯ СУБЛИМАЦИЯ*

Реалистическое видение истории, даже если и не позволяет переступить границы истории, все же заставляет проанализировать, как и при каких исторических условиях истина, не сводимая к истории, может лишиться своего исторического контекста. Необходимо признать, что разум не упал с небес, как некий дар, таинственный и необъяснимый, — он весь пронизан историей; но в то же время нет никакой необходимости делать из этого привычный вывод, что разум сводим к истории. В истории, и только в истории, нужно искать основание относительной независимости разума от истории, продуктом которой он сам является; или, точнее, в собственно исторической, но совершенно специфической логике, в соответствии с которой формировались уникальные пространства, где реализуется специфическая история разума.

Эти универсумы, основанные на том, что называют *skholè*, и на схоластической дистанции по отношению к требованиям и необходимости, особенно экономическим, благоприятствуют тем социальным взаимодействиям, в которых социальные принуждения принимают форму принуждений логических (и наоборот). Они благоприятствуют развитию разума (*raison*) именно потому, что заслужить оценку там — это заставить оценить аргументы (*raisons*); что восторжествовать там — это восторжество-

* © Bourdieu P., 1997

97

вать над аргументами, доказательствами или опровержениями. «Патологические начала», о которых говорит И. Кант и от которых совершенно несвободны агенты, ангажированные в «чистый» универсум схоластической мысли (о чем говорят, например, плагиат или кражи открытий в научном мире), могут стать эффективными в этих универсумах только при условии подчинения правилам методического диалога и всеобъемлющей критики.

Но не стоит заблуждаться: мы так же далеки от примиренческой точки зрения, представляемой Ю. Хабермасом, об интеллектуальном обмене, который подчиняется «силе наилучшего аргумента» (или мертоновскому описанию «научного сообщества»), как и от дарвиновского или ницшеанского представления о научном сообществе, которое от имени лозунга «власть/знание» (в виде которого часто резюмируют работы М. Фуко) грубо редуцирует все отношения смысла (и науки) к отношениям силы и борьбе интересов. Вполне возможно утверждать специфичность и автономность научного дискурса, оставаясь в пределах научных высказываний и не прибегая к различным видам *deus ex machina*, к которым обычно обращаются в подобных случаях. Научное поле — это микрокосм, который, с определенной точки зрения, является социальным миром, как и все остальные, включая концентрацию власти и капитала, понятия монополии, отношения силы, эгоистических интересов, конфликтов и т. д. С другой точки зрения, он является универсумом исключительным, несколько сверхъестественным, где принуждения разума различным образом закреплены в самом способе существования структур и диспозиций. Не существует надъисторических универсумов коммуникации, как это хотят представить К. О. Апель или Ю. Хабермас. Существуют лишь социально установленные и гарантированные формы коммуникации, среди них — и реально навязываемые в научном поле, которые обязаны своей Социологией Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

действительной эффективностью таким механизмам универсализации, как взаимный контроль, навязываемый логикой конкуренции более эффективно, чем все призывы к «беспристрастности» и «этической нейтральности».

98

Таким образом, в своем универсальном измерении научное поле не совпадает с агиографической точкой зрения, которая превозносит науку как исключение из общих законов универсальной теории поля или экономики практик. Научное соперничество предполагает и производит специфическую форму интереса, кажущегося незаинтересованностью лишь в сравнении с обычными интересами, особенно к власти и деньгам, который ориентирован на завоевание монополии на научный авторитет, неделимо объединяющий техническую компетенцию и символическую власть. Но в своем специфическом измерении оно отличается от всех остальных полей (в соответствии с уровнем автономии, который зависит от дисциплины, типа общества и исторического периода) по форме организации и регулирования конкуренции, по логическим и экспериментальным принуждениям, которым эта конкуренция подчиняется, и по целям знания, которые она преследует. И как следствие, в силу своей внутренней двойственности и в какой-то мере по принципу «неопределенных образов» теории формы, поле допускает два одновременных прочтения: стремление к накоплению знаний и навыков неотделимо от поиска признания и желания создать себе имя; техническая компетенция и научные знания функционируют одновременно как инструменты накопления символического капитала; интеллектуальные конфликты всегда одновременно являются конфликтами власти, полемикой по поводу оснований научного соперничества и т. п.

Те, кто используют в качестве аргумента тот факт, что высказывание есть результат исторически возникающего процесса, чтобы поставить под вопрос истинность его содержания, или кто, как Рорти¹, утверждают, что эпистемологические отношения силы сводятся к политическим отношениям силы, что наука отличается от других форм знания не с эпистемологической точки зрения, а в первую очередь способностью навязывать свои определения посредством риторического убеждения, и что, одним словом,

¹ Rorty R. *Feminism and Pragmatism // Radical Philosophy*. Vol. 59. 1991. P. 3-14.

99

истина той или иной формы знания определяется только властью, которая, структурируя «языковые игры», заставляет нас предпочитать одни метафоры другим, — они забывают главное: очевидно, что каждое высказывание о физическом мире, претендующее на научный статус, есть конструкция, которая утверждается в противовес остальным, и что различные точки зрения, которые, таким образом, сталкиваются внутри научных полей, своей относительной силой частично обязаны, даже в наиболее автономных полях, социальной силе тех, кто их защищает (или их позиции) и символической эффективности их риторических стратегий. Тем не менее, борьба всегда развивается под контролем конститутивных норм поля и только с помощью допустимого в нем оружия, и высказывания, вовлеченные в эту борьбу и претендующие на применимость к свойствам самих вещей, к их структурам, к их следствиям и т. д., и, таким образом, на статус истинных, явно или не явно признаются как прошедшие проверку на непротиворечивость и одобренные опытом. Таким образом, именно простое наблюдение научного мира, где защита разума возложена на коллективную работу критических столкновений, находящуюся под контролем фактов, заставляет стать сторонником критического и рефлексивного реализма, разорвав одновременно как с эпистемическим абсолютизмом, так и с иррациональным релятивизмом.

Символическое вознаграждение сомнительной ценности — это все, что, пожалуй, можно извлечь, если перейти от агиографической точки зрения к «редукционистской» (называемой иногда в социологии науки «сильной программой»), которая, настаивая на бесспорном факте, что социальные универсумы бесконечно конструируются перформативными определениями и операциями по классификации, редуцирует интересы и стратегии познания к стратегиям и интересам власти, таким образом, просто и откровенно затушевывая одну из двух сторон схоластических универсумов, которые на самом деле неразделимы. Поэтому, после того как явным образом сформулирована эта внутренняя двойственность поля науки и всего того, что в нем задействовано, необходимо определить его специфи-

100

ческое измерение и показать, как специфические желания, произведенные полем, сублимируются, чтобы иметь возможность реализоваться в рамках и под давлением цензуры поля.

Беспорядочное столкновение индивидуальных инвестиций и интересов переводится в рациональный диалог только в той мере (и именно относительной мере), в какой поле автономно (т. е. наделено довольно высоким порогом вхождения), для того чтобы исключить из внутренней борьбы неспецифические средства, особенно политические и экономические; в той мере, в какой участники вынуждены использовать лишь инструменты дискуссии или доказательства, соответствующие научным требованиям по данному вопросу («из чувства собственного достоинства»), т. е. вынуждены сублимировать их собственное *libido dominanti* в *libido sciendi*, которое может восторжествовать, лишь опровергнув доказательства и противопоставив один научный факт другому.

Принуждения, способные вызвать действия, благоприятствующие прогрессу разума, чаще всего не эксплицируются в виде правил. Они вписаны в институционализированные процедуры, регулирующие вход в игру (отбор и кооптация), в условия обмена (форма и пространство дискуссии, легитимная

проблематика и так далее), в механизмы поля, которое, функционируя как рынок, определяет позитивные и негативные санкции для индивидуальных производителей в соответствии с очень специфическими законами, не сводимыми к тем, что управляют миром экономики и политики, и, наконец, в особенности. Эти принуждения вписаны в диспозиции агентов, которые являются продуктом этого ансамбля действий — как склонность и способность произвести «эпистемологический разрыв», вписанный, например, в саму логику функционирования автономного поля, способного породить свои собственные проблемы, вместо того чтобы их получать только извне. (В случае социальных наук установление социальных условий разрыва и автономии особенно необходимо и в то же время особенно сложно. В связи с тем, что

101

их объект, а следовательно, и все, что они говорят по его поводу, является политической ставкой — что ставит их в условия конкуренции со всеми, кто претендует на авторитетное мнение о социальном мире: писателями, журналистами, политиками, представителями церкви и так далее (они особенно предрасположены к опасности «политизации») — всегда существует возможность ввести в поле и навязать внешние силы и формы, происходящие из гетерономии и способные противостоять, нейтрализовать, а иногда и разрушить завоевания исследования, освобожденного от предрассудков.)

Таким образом, в той мере, в какой возрастают коллективно накопленные научные ресурсы и насколько, соответственно, повышается порог вхождения в поле, формально и реально исключая претендентов, лишенных компетенции, необходимой для эффективного участия в конкуренции, агенты и институты, вовлеченные в конкуренцию, все больше и больше стремятся к тому, чтобы их адресатами или возможными «клиентами» были только наиболее серьезные из их противников: «претензии на валидность» (*validity claims*) с необходимостью сталкиваются со схожими претензиями, которые точно так же вооружены научными инструментами; авторы открытий имеют шанс получить понимание и признание лишь от тех представителей своего круга, кто одновременно и наиболее компетентен, и наименее предрасположен к участливой симпатии, т. е. теми, кто наиболее способен и предрасположен задействовать специфические ресурсы, накопленные в ходе всей истории поля, для критики этих открытий, способной вызвать прогресс разума благодаря опровержениям, исправлениям и дополнениям.

Это означает, что поле есть место режима рациональности, установленного в виде рациональных принуждений, которые, объективируясь и проявляясь в некоторой структуре социального обмена, встречают моментальное согласие диспозиций, усвоенных исследователями по большей части как результат их дисциплинарного опыта в научном сообществе. Именно эти диспозиции делают их способны-

102

ми конструировать пространство специфических возможностей, которые вписаны в поле (проблематика) в виде состояния дискуссии, вопроса или знаний, и которое само воплощено в агентах и институтах, в признанных фигурах и различных «измах» и т. д. Именно диспозиции позволяют исследователям заставить функционировать символическую систему, предлагаемую полем, в соответствии с правилами, которые это поле определяют и которые навязываются исследователям, со всей силой необходимости, одновременно логической и социальной. Опыт трансцендентности научных объектов, математических в особенности, к которому зывают эссенциалистские теории, представляет собой ту специфическую форму *illusio*, которая рождается в отношении между агентами, наделенными габитусом, который социально требуется полем, и символическими системами, которые способны навязать свои требования тем, кто их склонен воспринять и заставить их функционировать, и которые наделены автономией, тесно связанной с автономией поля (тогда понятно, что чувство трансцендентной необходимости будет тем острее, чем больше капитал накопленных ресурсов и чем выше порог вхождения).

Анамнез происхождения

С одной стороны, в отличие от платоновского фетишизма, преследующего любое схоластическое рассуждение, социальная наука работает на то, чтобы установить происхождение как объективных структур схоластических универсумов (и в особенности поля науки), так и когнитивных, которые являются одновременно и продуктом, и условием их функционирования. Социальная наука анализирует специфическую логику различных социальных пространств, где производятся символические системы и соответствующие когнитивные структуры, претендующие на универсальную действенность. Она соотносит логические законы, принимаемые за абсолютные, с внутренними принуждениями поля (или «формой жизни») и особенно с со-

103

циально регулируемой практикой дискуссии и оценки утверждений. С другой стороны, в отличие от релятивистского редукционизма, социальная наука показывает, что если научное поле и не отличается абсолютно от других полей мотивацией, которая в нем задействована, то оно полностью отличается от них с точки зрения принуждений (например, принцип противоречия, заключающийся в необходимости пройти проверку на непротиворечивость), которым нужно подчиниться, чтобы заставить там восторжествовать свои страсти и интересы, в виде принуждений цензуры, навязанной взаимным контролем, который осуществляется в виде конкуренций хорошо вооруженных соперников. Это совершенно специфическая необходимость, которая сама является результатом истории, совершенно Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

специфической с точки зрения логики своего квазитеологического развития.

Длительный процесс исторического развития, в ходе которого постепенно утверждается специфическая необходимость каждого поля, не является тем видом длительного партеногенеза, самопорождающегося и сводимого (ретроспективно) к длинной цепи рациональных оснований, каким представляет его интеллектуалистская точка зрения (и в особенности история научных и философских идей). И тем более он не сводится к чистому и простому сцеплению случайностей, как иногда полагает Паскаль, чтобы преодолеть высокомерие разума-триумфатора. Своей логикой этот процесс обязан тому факту, что события, происходящие в поле, являются дважды детерминированными специфической необходимостью поля: каждый раз, когда структура пространства позиций, произведенная историей поля, воспринимается агентами, на диспозиции которых повлияли требования этой структуры, она воспринимается этими агентами как пространство возможностей, которое посредством своих призывов способно ориентировать их ожидания и проекты и даже их принуждать, по крайней мере негативно, своими требованиями, таким образом побуждая их к действиям, способным внести вклад в развитие более сложной структуры. Художник, писатель, ученый, как только начинает действовать, оказывается по-

104

хож на композитора перед фортепиано, которое предлагает его воображению — как и воображению исполнителя — возможности, кажущиеся безграничными, но на деле навязывающие принуждения и ограничения, вписанные в его структуру (как, например, диапазон клавиатуры, навязывающий определенную тесситуру), где последняя зависит от используемого материала; принуждения и ограничения, которые также присутствуют в диспозициях художника, сами зависят от возможностей инструмента, даже если именно эти диспозиции раскрывают и реализуют в более или менее полной мере эти возможности.

Непрозрачность исторических процессов основана на том, что человеческие действия не являются ни случайным, ни рационально направляемым результатом бесчисленного множества столкновений (которые сами по себе непонятны), с одной стороны, между габитусом, несущем в себе отпечатки породившей его истории, и, с другой стороны, социальным универсумом (особенно полем, в котором габитус реализует свои возможности под давлением структуры этого универсума), получая от этой двойной необходимости свою специфически историческую логику, выступающую посредником между логическим основанием «истины разума» и чистой случайностью «истины факта», не дедуцируемую, но понимаемую или даже навязываемую.

В данном случае можно возразить, без сомнений, что, выходя из заколдованного круга антиномии между позитивным и нормативным, я предлагаю прескриптивное описание поля науки. В той мере, в какой это описание дает объяснение основ функционирования поля науки, оно дает знание об его объективной необходимости и предлагает возможность свободы по отношению к ней, т. е. практическую этику, предполагающую увеличение этой свободы. Действительно, не существует такой констатации в отношении поля, которая не могло бы стать объектом нормативной интерпретации: это результат наблюдения, что при определенных условиях соревнование благоприятствует прогрессу знания, или констатации того, что ставка научной игры сама является ставкой научной игры и

105

что, как следствие, в поле нет судей, которые бы сами не имели личного интереса (это хорошо видно в случаях революционных разрывов: кто окажется компетентным, чтобы оценить теорию или метод, ставящие под сомнение установленное определение теоретической и методологической компетенции?). Неужели эта перформативная точка зрения не вводит вновь некоторую форму нормативности, устанавливая, что истина и объективность являются вынужденным результатом механизма социальной борьбы, не насильственной, но и не незаинтересованной? И, заявляя это, не оказывается ли «субъект» такого перформативного представления, в некотором роде вне игры, которую он воспринимает как таковую, из внешней и привилегированной позиции, утверждая посредством этого возможность суверенной, всеобщей и объективной точки зрения нейтрального и беспристрастного наблюдателя?

Нельзя так легко выйти из спонтанно перформативной логики языка, который, как я не перестаю повторять, постоянно способствует тому, чтобы произвести (или заставить существовать) то, что он говорит, особенно благодаря работе по когнитивной и политической классификации. И нельзя игнорировать то, что рефлексивный историко-социологический анализ науки стремится произвести и навязать, в виде обратной связи, свои собственные критерии научности. Но возможно ли избежать — без того, чтобы обращаться к *deus ex machina* — этого круга, который существует в реальности, а не только в рассуждении? Именно автономизация научного поля делает возможным установление специфических законов, которые, в свою очередь, способствуют прогрессу разума и посредством этого — автономизации поля.

И если пойти еще дальше, то как избежать того (предполагая, что этого действительно хотят), чтобы описание более развитых состояний научного поля, т. е. сравнительно более автономных состояний, не выступало как резкая критика менее развитых состояний и в особенности поля социальных наук, в котором оно возникает? Несомненно, что знание основных тенденций научной эволюции —

106

постепенное увеличение порога вхождения, увеличение сходства между конкурентами, уменьшение разрыва между консервативными стратегиями и радикальными стратегиями, замена больших

периодических революций множеством мелких постоянных революций, свободных от внешних политических причин и последствий и т. д., — предполагает и вводит нормативное определение фундаментального закона реального научного поля, а именно консенсус по поводу легитимных объектов спора и легитимных средств его урегулирования. Также не вызывает сомнения, что это знание предлагает действительный критерий различия между ложным согласием религиозной, философской или политической ортодоксии (или ложной науки), которое опирается на соучастие *a priori* и на социально предустановленные формы оценивания (*communis doctorum opinio*), и реальными разногласиями, которые могут быть названы научными, потому что они опираются на согласие, сводимое к ставке разногласия и средств их урегулирования, и которые, таким образом, могут привести к действительному согласию, хотя и неизбежно временному.

Если истина и существует, то она в том, что истина является ставкой в борьбе. И эта ставка находится в самом научном поле. Но столкновения, которые там происходят, имеют свою собственную логику, которая их освобождает из игры отражений, уводящей в бесконечность тотального перспективизма. Объективация этой борьбы и модель соответствия между пространством позиций (*l'espace des positions*) и пространством точек зрения (*l'espace des prises de position*), которая раскрывает ее логику, являются продуктом работы, выполненной с помощью инструментов обобщения и анализа (таких, как статистика) и ориентированной на объективность, это предельный горизонт (причем постоянно удаляющийся) ансамбля коллективных практик, которые можно описать, вслед за Гастоном Башляром, как «постоянное усилие по десубъективации».

Перевод с французского Ю. В. Марковой

Пьер Бурдьё. ПОЛЕ ПОЛИТИКИ, ПОЛЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК, ПОЛЕ ЖУРНАЛИСТИКИ*

В этом выступлении я надеюсь ответить на два рода ожиданий. Во-первых, на те, что можно назвать академическими, представляя теоретические инструменты, которые, как мне кажется, могут использоваться для анализа социальных феноменов вообще и феноменов культурного производства, в частности: литературы, искусства, журналистики. Во-вторых, — на ожидания политические или гражданские. Я часто говорю, что социологию можно рассматривать как некий вид спорта по символической борьбе. Такой спорт позволяет защитить себя от различных форм символического насилия, объектом которого может оказаться каждый. Особенно часто это происходит теперь в средствах массовой информации. Выступление, которое я вам предлагаю, входит в серию лекций, представленных во Фрайбурге в Германии и в Страсбурге во Франции. Итак, я постараюсь очень быстро напомнить несколько предварительных понятий, не тратя времени на детали.

Понятие поля. Тех, кто хотел бы действительно разобраться в этом вопросе, отошлю к моей книге «Метод ис-

* Данный текст представляет собой запись лекции Пьера Бурдьё в курсе Коллеж де Франс, прочитанной им на факультете антропологии Лионского университета Lumière 14 ноября 1995.

© Bourdieu P., 1995

108

кусства»¹, где рассматривается генеалогия понятия поля. Во «Французском социологическом журнале» (Генезис и структура религиозного поля // *Revue française de sociologie*. Vol. XII. 1971. № 3. P. 295-334) вы найдете анализ религиозного поля. В журнале «Ученые труды в социальных науках» (*Actes de la recherche en sciences sociales*) можно обнаружить анализ других видов полей: науки, политики, юридического. Обратитесь к содержанию, и вы легко отыщете. Книга «Политическая онтология Мартина Хайдеггера»² представляет анализ немецкого философского поля, в котором и по отношению к которому формировалась теория Хайдеггера. И наконец, в «Метод искусства» вы найдете очень детальный анализ функционирования литературного поля и примеры применения этого понятия к изучению литературы.

Сегодня я решил представить объект немного странный, но, думаю, очень важный в научном и политическом плане, а именно — отношение между *полем политики, полем социальных наук и полем журналистики*. Они представляют собой три социальных универсума, автономных, относительно независимых и в то же время влияющих друг на друга. Я хотел бы сегодня попробовать раскрыть это влияние, показать, как можно анализировать феномены, ежедневно предстающие перед нашими глазами, когда мы включаем телевизор, читаем газеты, социологические тексты и т. п.; показать, что эти эффекты, часто объясняемые с помощью понятий стихийной социологии, личной ответственностью участников, хитрыми ходами институций и прочим — нельзя понять иначе, как с помощью анализа тех невидимых структур, что представляют собой поля, а в нашем случае — тех особо незаметных структур, какими являются отношения между только что перечисленными полями.

¹ Bourdieu P. Les Règles de l'Art: Genèse et structure du champ littéraire. P.: Seuil, 1992. P. 254-259.

² Bourdieu P. L'Ontologie politique de Martin Heidegger. P.: Minuit, 1988.

109

Определение понятия поля просто и удобно, но как все определения очень несовершенно: поле есть место сил, внутри которого агенты занимают позиции, статистически определяющие их взгляды на это поле и их практики, направленные либо на сохранение, либо на изменение структуры силовых

отношений, производящей это поле.

Другими словами, по некоторым своим характеристикам социальное поле (например, поле литературы как микрокосм, объединяющий агентов и институты, вовлеченные в производство литературных произведений) можно сравнить с полем физических сил, но нельзя сводить его к физическому полю. Социальное поле является местом действий и противодействий, совершаемых агентами, обладающими постоянными диспозициями, которые некоторым образом усвоены в ходе опыта нахождения в данном поле. Агенты реагируют на отношения силы, на структуры, они их конструируют, изобретают, воображают, представляют себе и т. п. И несмотря на принуждения со стороны сил, вписанных в эти поля, и детерминацию их постоянных диспозиций силами поля, агенты способны влиять на эти поля, действовать в них, согласно частично предустановленным направлениям, имея при этом некоторый запас свободы.

Итак, понятие поля является инструментом исследования, главная функция которого — дать возможность научного конструирования социальных объектов. Поэтому, чтобы объяснить и сделать доступным то, что я понимаю под понятием поля, я не буду просто перефразировать уже сказанное, представлять генеалогию этого концепта (возможно, это было бы полезно для некоторых из вас: он идет от Э. Кассирера, через К. Левина и т. д., восходит к ним и в то же время нет...) или упражняться в генеалогии, показывая отношения преемственности и разрыва со схожими понятиями у Макса Вебера (исследователь, ближе всех подошедший к понятию поля, но никогда его не рассматривавший, что, как мне кажется, помешало ему завершить то, над чем он работал всю свою жизнь), поскольку считаю, что в социальных науках тоже есть прогресс. Итак,

110

вместо того чтобы упражняться в схоластике по поводу понятия поля, я хотел бы продемонстрировать вам его работу в виде некоторого упражнения по конструированию объекта, включая все, что может быть в этом неопределенного, несовершенного и незаконченного. На самом деле, если подходить к этой задаче серьезно, то нужно не два часа лекции, а год обучения, может быть два года семинаров. Семинаров, представляющих собой совсем иной, нежели лекция, способ коммуникации, в силу иной организации пространства, числа присутствующих и т. п. Итак, я постараюсь в максимально сжатой форме сделать нечто подобное тому, что происходит на исследовательском семинаре, где понятие поля применили бы к объекту, который я только что постарался сконструировать с помощью понятия поля.

В соответствии с представлениями здравого смысла в социальном универсуме сегодня существуют журналисты, политики, телевизионные журналисты, интервьюирующие политиков, социологи, дающие интервью в газетах или интервьюирующие политиков и журналистов и т. д. То есть существуют видимые и непосредственно воспринимаемые агенты, встречающие друг друга, которые могут бороться друг с другом, конкурировать и т. д., и т. п. Что можно получить, если на место наблюдаемых феноменов и совокупности единичных агентов, обозначенных именами собственными, поставить пространство невидимых отношений, составляющих то, что я называю полем социальных наук, юридическим полем или полем политики? Что дает подстановка этих невидимых отношений на место воспринимаемых непосредственно агентов и взаимодействий между ними? Например, во время телевечера, посвященного выборам, можно наблюдать только что названные мною поля — поле политики, поле социальных наук и поле журналистики, — но они представлены в лице конкретных индивидов. Вы найдете господина Рене Реймона, известного, заслуженно или нет, историка, который прокомментирует результаты; рядом господин Поль Амар, представитель поля журналистики; тут же господин Лан-

111

село, директор *Sciences-Po*³ и представитель я не знаю уж какого поля, скажем, академического, и поля социальных наук, через посредничество институтов по опросам общественного мнения, которые он консультирует. Можно было бы дать интеракционистское описание, т. е. описание, сведенное к взаимодействиям между людьми, или провести анализ дискурса, опирающийся на используемую риторику, стратегии, поведение и т. д. Я предлагаю нечто совсем иное: я предполагаю, что в тот момент, когда господин Рене Реймон обращается к господину Полю Амару, то это не просто историк говорит с журналистом — вот мы уже и начали конструировать объект! — а историк, занимающий определенную позицию в поле социальных наук, который говорит с журналистом, занимающим определенную позицию в журналистском поле, и, в конце концов, — это поле журналистики говорит с полем социальных наук. Тогда характеристики взаимодействия между Полем Амаром и Рене Реймоном (например, тот факт, что Поль Амар обращается к Рене Реймону за окончательным вердиктом как к некоторому арбитру, внешнему по отношению к сугубо политическому спору, как к тому, кто может сказать последнее слово, сослаться на предыдущие выборы, вспомнить прецеденты) или между Полем Амаром и каким-либо выступавшим до него политиком выражают структуру отношений между полем журналистики и полем социальных наук. Например, статусная объективность, приписываемая господину Рене Реймону, связана не с внутренними свойствами личности этого господина, а с полем, частью которого он является. С определенной точки зрения это поле находится в объективном отношении символического доминирования с полем журналистики (последнее так же может осуществлять символическое доминирование над первым, но при других условиях: например, владея условиями доступа к широкой публике и т. д.). Одним словом, взгляд на телестудию в свете предлагаемых мною

³ *Science-Po* — сокращенное название для Института политических исследований (*Institut d'études*

politiques) (Примеч. перев.).

112

средств позволяет увидеть множество характеристик, которые не воспринимаются интуицией.

Итак, поле, которое я предлагаю проанализировать, представляет собой расширенную форму так называемого мира или микрокосма политики. Я редко цитирую Реймона Барра, особенно как социолога, но в этот раз он оказался прав. Слово микрокосм точно указывает на то, что политический универсум, со всеми своими институтами и партиями, правилами функционирования и агентами, отобранными в соответствии с определенными процедурами (электоральными) и т. д., является автономным миром, микрокосмом, встроенным в социальный макрокосм. Политический микрокосм является своего рода маленьким универсумом, погруженным в законы функционирования большого универсума, который тем не менее наделен относительной автономией внутри этого универсума и подчиняется своим собственным законам, своему собственному *nomos*'у, одним словом — своему автономному закону.

Необходимо учитывать эту относительную автономию, чтобы понять практики и произведения, возникающие в этих универсумах. Обычно большинство исследований, посвященных праву, литературе, искусству, науке, философии, любому виду культурного производства, используют один из двух основных подходов. Первый, который можно назвать интерналистским, утверждает, что для понимания права, литературы и т. д. необходимо и достаточно читать тексты, и нет необходимости обращаться к контексту, что текст автономен и самодостаточен и незачем соотносить его с внешними, экономическими, географическими и т. п. факторами. Второй, гораздо более редкий и находящийся в доминируемом положении, напротив, предполагает соотношение текста с социальным и прочим контекстом. Вообще экстерналистское прочтение считается кощунством, оно очень плохо воспринимается кастой комментаторов, *lectores*, проповедниками комментариев, имеющими монополию на легитимный доступ к святым текстам. Интерналистский подход очень влиятелен в философии: философия и право — две дисциплины, которым уда-

113

лось сохранить монополию на свою историю вплоть до сегодняшнего дня. Выступая против него, я всегда цитирую замечательный текст Б. Спинозы (здесь я использую священное против священного — это честная борьба), который в «Богословско-политическом трактате» ставит серию вопросов по поводу классических проблем интерпретации, положивших начало герменевтическим традициям, о которых нам сегодня прожужжали все уши (Х.-Г. Гадамер, П. Рикёр и др.): как возможно понять священные, пророческие, библейские тексты, если неизвестно кто их написал, когда они были написаны, как они были написаны, на каком языке, кто создал канон, т. е. *корпус* канонических текстов, текстов, заслуживающих того, чтобы считаться священными. Спиноза ставит все эти вопросы относительно священных религиозных текстов, и удивительно, что философы, выступающие от его имени, по крайней мере, не-

которые из них (я имею в виду пример Мачерея, только что опубликовавшего комментарии к пятой книге «Этики», где он опирается на Спинозу — у него вне всяких сомнений произошло вытеснение цитируемого мной текста, — чтобы обосновать исключительно внутреннее прочтение священных текстов), все еще считают святотатством, когда по поводу этих текстов задают вопросы, которые задавал Спиноза: «кто написал?», то есть чем он занимался, как воспитывался, где учился, чьим учеником был, против кого писал — иначе говоря, в каком поле он находился? Изначальная функция понятия поля — избежать этой альтернативы и снять необходимость выбора между интерналистским чтением текста-в-себе и текста-для-себя, и экстерналистским прочтением, грубо сводящим текст к обществу вообще. Между этими двумя полюсами, если хотите, существует социальный универсум, о котором всегда забывают — это универсум производителей этих произведений, универсум философов, художников, писателей. И не только писателей, а, например, литературных институций, журналов или университетов, где формируются писатели и т. д. Говорить о поле — значит называть этот микрокосм, который также является социальным универсумом, но при

114

этом освобожден от некоторых принуждений, характеризующих социальный универсум в целом; это немного необычный универсум, наделенный своими собственными законами, своим собственным *nomos*'ом, своим собственным законом функционирования, в то же время не имеющий абсолютной независимости от внешних законов.

Один из вопросов, который следует задать относительно поля, — это вопрос об уровне его автономии. Например, среди перечисленных мною трех полей поле журналистики по отношению к полю социологии (и уж тем более по отношению к полю математики) характеризуется высоким уровнем гетерономии. Это очень слабо автономное поле. Но какой бы слабой ни была эта автономия, невозможно понять все, что происходит в поле, опираясь лишь на знание внешнего контекста: чтобы понять, что происходит в журналистике, недостаточно знать, кто финансирует, кто является рекламодателем, кто платит за рекламу, откуда идут субсидии и т. д. Некоторые события, происходящие в мире журналистики, можно понять, лишь рассматривая этот микрокосм как таковой и стараясь понять воздействия, которые оказывают друг на друга люди, вовлеченные в этот универсум.

Примерно то же самое происходит и с полем политики в узком смысле. Маркс где-то писал, что политический универсум, идентифицируемый с миром парламента, представляет собой нечто вроде театра, предлагающего театральное представление социального мира и социальной борьбы, которое не является абсолютно серьезным и реалистичным, потому что истинные ставки и настоящая борьба Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

находятся где-то за сценой. Говоря это, он указывает на одно из важных свойств поля политики: каким бы слабо автономизированным ни было это поле, оно все же обладает некоторой автономией, некоторой независимостью. Другими словами, оно представляет собой своего рода игру, имеющую свои собственные правила, такие, что описание агентов, играющих в нее, как прислужников производителей стали, сахаропромышленников, крупных хозяев, как говорили в свое время, оказывается явно недостаточ-

115

ным, чтобы понять происходящее там. Утверждение, что политики, парламентарии, министры и т. п. включены в поле, означает, что ставки, заставляющие их действовать, движущие ими мотивы имеют свои основания в этом микрокосме, а не напрямую во внешнем социальном пространстве. Это означает, что для понимания поступков депутата от социалистов или от *RPR*⁴ недостаточно обращаться к обычным показателям, таким, как, например, классовая принадлежность, социальная позиция в общем социальном пространстве, недостаточно знать об их прямой зависимости от того или иного внешнего источника власти, о том, например, что они являются бывшими сотрудниками банка — факт, о котором им часто напоминают в предвыборных баталиях. Словом, недостаточно описывать их лишь через внешние зависимости, которыми они могут обладать в силу своего социального происхождения, профессии, прямых или косвенных социальных и экономических связей. Столь же необходимо понимать позицию, занимаемую ими в политической игре: со стороны наиболее автономного полюса поля или со стороны его наиболее гетерогенного полюса, в партии, расположенной ближе к более автономному краю или к менее автономному, а внутри этой партии — их более или менее автономное положение.

В действительности, чем более автономно поле, тем большее число его событий может быть объяснено логикой поля, и поле политики, хотя кажется подчиненным постоянному давлению внешних требований, постоянному контролю со стороны своей клиентелы (через электоральный механизм), является сегодня очень независимым от этих требований и все больше и больше предрасположено замыкаться на себе и на своих собственных интересах (например, интересах борьбы за власть между различными партиями и внутри каждой партии). Диффузный антипарламентаризм, более или менее ярко выраженная

⁴ *RPR*— Объединение в поддержку республики, основано в 1976 г. Жаком Шираком; является наследником Союза демократов в защиту республики (ЮДР) и продолжателем голлистской традиции (Примеч. перев.).

116

враждебность против политиков, коррупции и т. п. — это результат своего рода смутного ощущения такого замыкания представителей на своих собственных интересах. Некоторые социологи-«неомакиавелисты», такие, как Михельс, немецкий теоретик социал-демократии, или Моска, итальянский теоретик, выявили логику, способствующую такому разрыву и закрытости — которую они называли железным законом олигархии, особенно в отношении политического аппарата. Эта логика приводит к тому, что даже те партии, которые, как считается, выражают интересы наиболее обделенных социальных классов, навязывают в конце концов авторитарные формы представительства: небольшое меньшинство представителей монополизируют социальную энергию, делегированную им большинством. Другими словами, эта логика приводит к тому, что власть, полученная демократическим способом представителями некоторой партии, концентрируется в руках выборных лиц, которые постепенно отрываются от своей социальной базы и начинают действовать как разновидность олигархии, имеющей своим источником избирателей, лишенных возможности влияния. Железный закон политической олигархии эквивалентен «стремлению корпуса священников» присвоить себе, как говорит М. Вебер, «легитимную монополию на распоряжение средствами спасения». Это стремление к концентрации политических средств, эквивалентное монополизации права доступа к средствам спасения, можно увидеть на примере монополизации права на публичное выступление: сначала его делегируют парламентариям, которые его делегируют официальному представителю, и т. д. В результате мы получаем четыре или пять официальных представителей (что на руку средствам массовой информации), постоянно присутствующих на телевидении, которые присваивают себе своего рода монополию на доступ к средствам легитимного распоряжения способами видения мира (что и является определением политического действия).

Эта концентрация вписана в логику функционирования полей, но ее социальное основание, о чем как раз забыва-

117

ют неомакиавелисты, находится вне данного микрокосма. Чтобы поле политики, каким мы его знаем сегодня, могло функционировать с тем же уровнем независимости от делегирования и в то же время на основе этого делегирования, необходимо, чтобы доверители были согласны лишиться доступа к средствам политического производства. Подобная предрасположенность, что установлено научно, тем сильнее, чем ниже уровень культурного, экономического и прочих видов капитала. Показатели этого можно найти, например, в серии проведенных мной исследований относительно уровня неответов в опросах общественного мнения (в отличие от практики институтов общественного мнения, выдающих проценты, пересчитанные уже после исключения неответов, и таким образом скрывающих очень важный факт, что вероятность ответить на вопрос «да» или «нет» является вторичной, как говорят статистики, что ей предшествует первичная вероятность доступа к возможности ответить). Способность давать

ответы очень неравномерно распределены в соответствии с уровнем образования: чем выше уровень образования, тем больше способность дать ответ, тем больше мы чувствуем свое право и обязанность ответить, тем более мы компетентны, чтобы отвечать. Также можно наблюдать, что у мужчин вероятность ответов значительно выше, чем у женщин, и этот разрыв тем значительнее, чем более поставленные вопросы воспринимаются как открыто политические.

Получается, что железный закон олигархии работает тем надежнее, чем меньшими ресурсами располагают социальные агенты. Права граждан остаются чистой формальностью до тех пор, пока гражданам не имеют доступа к средствам автономного производства автономного мнения, и, в отличие от того, что утверждает своего рода утопический, а на деле консервативный демократизм, не все граждане равны по отношению к производству мнения; не все граждане имеют равный доступ к инструментам производства того, что называют мнением. Итак, чтобы политический мир мог функционировать в соответствии с пред-

118

ставлениями неомаккиавелистов, то есть как микрокосм, внутри которого профессионалы от политики ведут борьбу за свои собственные ставки и ради своей выгоды, в соответствии с интересами, связанными с их позицией в этой борьбе, необходимо, чтобы доверители были лишены монополии на средства производства мнения. Это подразумевает, что левые партии больше всех подвержены железному закону олигархии, поскольку социологически они являются представителями наиболее обделенных социальных групп. В силу исторических условий партии, выступающие за реформы или революцию, особенно предрасположены к железному закону олигархии: делегированные от имени революционных ценностей, в отличие от делегированных от имени консервативных ценностей, имеют больше шансов быть делегатами социально обделенных, которые полностью на них полагаются и предоставляют им огромную свободу, включая свободу говорить вещи, противоречащие тому, что они сказали бы сами, если бы были способны говорить от себя.

Одно из достоинств понятия поля состоит в том, что оно позволяет проводить рациональные, то есть контролируемые аналогии. В теологической традиции, говоря о вере покорных, о вере простых людей, говорили о «слепой вере», а на латыни это называли *fides implicita*, т. е. душа, не нашедшая выражения в слове и проявляющая себя посредством ритуальных практик, в поведении, которое современными священниками часто осуждается (ставить свечи и т. п.). Для церкви и монополии священников на доступ к средствам спасения эта *fides implicita* эквивалентна политическому отречению от себя, использованному во множестве исторических ситуаций, к примеру, коммунистическими партиями, когда руководители этих партий получали огромную свободу присвоения права голоса своих доверителей.

Итак, поле политики представляет собой некоторую специфическую игру, где формируются специфические ставки. В пределе оно может функционировать почти полностью автономно, примерно как поле поэзии или мате-

119

матики. Чтобы понять происходящее в современной поэзии — и именно она заставляет думать, что социологический анализ бессилён, — может быть, необязательно знать, что происходит в мире политики: внешнее прочтение здесь явно носит редукционистский характер. Или, к примеру, работа г-на Фора о музыке во Франции XIX века. Ставя в прямое соответствие музыку Форе и забастовки в Фурми, а также другие современные композитору социальные события, г-н Фор видит в этой музыке своего рода *эскапизм*, как говорят англосаксонцы, то есть средство избежать социальных трудностей, забыть забастовки, народные восстания и т. д. Такое прочтение, безусловно, абсурдно. Для очень развитого и автономного поля, например, литературного или художественного — установление прямой связи между внутренними событиями поля и внешними, такими, как война, эпидемия, экономический кризис и т. п., очевидно является неэффективным. Можно представить себе такое состояние поля политики, когда оно окажется в сходном положении, т. е. когда его публика будет полностью культурно, экономически и т. д. обделена, иными словами, абсолютно лишена средств производства политического мнения в рамках политического универсума, функционирующего совершенно автономно, подобно миру поэтов, так что для понимания событий этого универсума достаточно будет знать ставки, которые там зарождаются. Это легко понять, если представить себе конгресс социалистической партии в Ренне (вас это не смешит, и действительно, здесь нет ничего смешного). В данном случае хорошо видно, что для понимания течений, тенденций, фракций или мятежных группировок очень автономизированного политического пространства достаточно знать, каковы относительные позиции заинтересованных агентов в этом пространстве, и тогда не будет необходимости обращаться к забастовкам в Фурми, чтобы понять конфликты между поэтами-символистами и поэтами-реалистами. Различия возникают именно внутри поля, однако это не означает, что они являются исключительно межличностными. Это различия, имеющие социальное основание, но

120

оно находится не там, где его обычно ищут, то есть в общем социальном пространстве. Оно внутри самого политического универсума. Я взял в качестве примера конгресс в Ренне, но с таким же успехом можно взять отношение между Валадуром и Шираком.

Я привел примеры из подпространств целого поля, хотя следовало бы взять более глобальные примеры, на которых можно было бы увидеть, что значительная часть происходящего в поле политики (именно это схвачено популистской интуицией) основывается на взаимопонимании, возникающем в

связи с самим фактом принадлежности к политическому полю. Переведенная на антипарламентаристский и антидемократический язык, каким является язык фашиствующих партий, эта согласованность описывается как участие в некоторой испорченной игре. В действительности подобное соучастие является внутренней сущностью принадлежности к одной игре, и одно из общих свойств поля состоит в том, что внутренняя борьба поля за навязывание доминирующего видения поля всегда опирается на факт, что даже наиболее непримиримые соперники согласны относительно некоторого числа предпосылок, обуславливающих существование самого поля. Чтобы вести борьбу, необходимо согласие по поводу предмета разногласия. Между агентами поля существует некоторая фундаментальная согласованность, а интересы, связанные с самим фактом принадлежности к полю, производят эффект соучастия, скрытого, по крайней мере частично, от самих участников поля за конфликтами, основанием которых является именно это соучастие. Иными словами, причастность порождает конфликты, которые в результате скрывают само основание этих конфликтов.

Я дал описание политического поля, не уточнив, что у него общего с полем социальных наук и полем журналистики. Я сравниваю эти три универсума — необходимо было бы добавить еще юридическое поле, но это еще больше усложнило бы дело, — чтобы попробовать проанализировать отношения между ними. Их объединяет претензия на навязывание легитимного видения социального мира, все

121

они представляют собой место внутренней борьбы за навязывание господствующего принципа восприятия и деления. Любой социальный агент обладает некими принципами восприятия и деления. Мы всегда приходим в мир, и особенно в мир социальный, с очками на глазах. У нас «всегда уже» есть категории восприятия, принципы видения и деления, которые сами частично являются продуктом инкорпорации социальных структур. Мы применяем к миру категории, например, прилагательные мужское/женское, высокое/низкое, редкое/распространенное, выдающееся/ посредственное и т. д., которые часто функционируют парами. Возьмите словарь — это очень хорошее социологическое упражнение — и выберите какое-нибудь слово, прилагательное, к примеру (тяжелый или пресный), и найдите к нему антонимы, синонимы и т. д., и т. п. Вы откроете для себя огромный мир прилагательных (тяжелый/легкий, пресный/острый), целую вселенную слов, которыми мы пользуемся ежедневно в практической жизни, чтобы судить о картине, о школьном сочинении (блестящее/серьезное), о прическе, о красивой девушке, о чем угодно. Используемые нами прилагательные, функционирующие парами, частично независимые, частично пересекающиеся, являются категориями в смысле И. Канта, но категориями социально сформированными и социально усвоенными. Можно выстроить генеалогии этих категорий, которые будут различаться в зависимости от национальных традиций.

Homo academicus из вида социальных наук имеет в голове множество пар оппозиций (например, объяснение/ понимание), имплицитных схем классификации, которыми мы прекрасно владеем на практике, умеем пользоваться в нужной ситуации, но которые мы не можем объяснить явным образом. Множество суждений вкуса расположены где-то между прилагательным и восклицанием. Чаще всего их основой выступают практические схемы, позволяющие упорядочивать мир, но остающиеся имплицитными (мы находим здесь *fides implicita*) и крайне трудно объяснимыми (возьмите рассуждения о количестве и ка-

122

честве или о количественных и качественных методах), но которые в то же время являются очень глубокими и укорененными в мышлении и даже в теле. Американская исследовательница провела очень хороший анализ пары прилагательных *hard* и *soft*, показав, что *hard* является преимущественно мужским прилагательным, а *soft* — женским и что эта оппозиция соответствует распределению различных дисциплин и специальностей между полами. Эти оппозиции, с виду туманные и зыбкие, когда они находятся в голове всех членов общества, становятся настолько фундаментальными, что начинают определять реальность.

Эти практические схемы, имплицитные, скрытые, трудно определяемые, составляют основу *fides implicita*, доксы, как говорят философы, т. е. универсума скрытых допущений, принимаемых нами как членами некоторого общества. Однако существует еще специфическая докса как система допущений, связанных с принадлежностью к некоторому полю: принадлежа полю социологии, мы принимаем целую серию научных или полунучных оппозиций, часто представляющих собой отчасти упорядоченные, смешанные и эвфемизированные оппозиции более общего социального пространства (один пример из тысячи — оппозиция между индивидуализмом и холизмом, производящая сегодня фурор на лекциях по социологии, является частично видоизмененной формой оппозиции индивидуализм/ коллективизм или либерализм/тоталитаризм, и именно поэтому она производит наиболее надежное символическое воздействие).

Профессионалов объяснения и публичного выступления — социологов, историков, политиков, журналистов и т. п. — объединяют две вещи: с одной стороны, они работают над экспликацией принципов видения и деления практик, с другой стороны, они борются, каждый в своем пространстве, за навязывание этих принципов и за возможность признания их в качестве легитимных категорий конструирования социального мира. Монсеньор Люстиже в интервью, опубликованном сегодня утром в «*Libération*»,

123

говорит, что понадобится двадцать лет, чтобы французы алжирского происхождения стали бы

считаться французами-мусульманами. Это предвидение социолога. Я не знаю, на какие эмпирические данные оно опирается: может быть, на исповеди. Но такое предвидение чревато очень тяжелыми социальными последствиями. Это пример претензии на легитимное манипулирование категориями восприятия, пример символического насилия, основанного на неявном, тайном благословлении категорий восприятия, обладающих авторитетом и предназначенных стать легитимными категориями перцепции. Манипулирование такого же рода происходит, когда незаметно переходят от понятия «исламский» к понятию «исламист», а от «исламиста» к «террористу». На этой основе можно проводить политику школы, политику чадры и т. д. Это лишь один пример, можно найти и другие: каждую минуту официальные представители, агенты, наделенные правом публичного выступления, производят операции такого рода.

Профессионалы объяснения и навязывания категорий конструирования реальности прежде всего должны перевести схемы в эксплицитные категории. Понятие «категория» имеет очень интересную этимологию, идущую от греческого глагола *kategorien*, означающее «обвинять публично». Действия по категоризации, к которым мы прибегаем в жизни, часто являются оскорблениями («ты всего лишь...», «препод чертов!..»), а оскорбления, например, расистские, являются категоремами в смысле Аристотеля, т. е. действиями классификации и упорядочения, основанными на некотором принципе классификации, часто имплицитном, не требующим явной формулировки своих критериев, внутренней согласованности. Необходимо провести предварительную работу, объяснить схемы, перевести их в эксплицитные категории, в дискурс и, при необходимости, построить таблицы систематических категорий. Значительная часть идеологической работы состоит в трансформации имплицитных категорий социального класса, слоя, группы в таксономии, имеющие согласованный и систематизированный вид. Обратитесь к моей книге «Поли-

124

тическая онтология Мартина Хайдеггера», где я анализирую поле философии в эпоху Хайдеггера. Я пытаюсь показать, что в основе некоторых центральных философских тезисов работы Хайдеггера лежат таксономии здравого смысла, такие, как оппозиция между уникальным или редким и распространенным или вульгарным; между аутентичным, уникальным субъектом и *das Man*⁵, безличным, большинством, вульгарностью и т. д. Эти оппозиции обычного рода расизма: выдающиеся люди/простые люди, — трансформированные в неузнаваемые философские оппозиции, обречены оставаться незамеченными взгляду профессоров философии, во всем остальном совершенно демократичных, которые могут комментировать известный текст Хайдеггера о *das Man*, не понимая, что речь идет о совершенном выражении сублимированного расизма.

Итак, агенты, вовлеченные в три указанных универсума, выполняют работу по экспликации неявных практических принципов наименования, по их систематизации и приведению в порядок (или как в религиозном поле, в состоянии некоей систематичности). Далее, они ведут борьбу за навязывание этих принципов, а потому борьба за монополию легитимного символического насилия является борьбой за символическое господство. Я обращаюсь к этимологии слова *rex*, предлагаемой Э. Бенвенистом в очень хорошей книге «Словарь индоевропейских институтов»: *rex* принадлежит к группе *regere*, что означает управлять, направлять, и одна из основных функций короля — это *regere fines*, установление границ, как Ромул своей сохой. Одна из функций таксономий — определение кто входит в класс, а кто остается вне его, деление на своих и чужих. К примеру, одна из драм современной политической борьбы состоит в том, что с момента вторжения в поле политики нового участника — Национального фронта — принцип деления на национальное и иностранное оказался повсе-

³ *Das Man* (нем.) — неопределенно-личное местоимение. В «Бытии и времени» М. Хайдеггер выражает мир безликого неистинного существования (Примеч. перев.).

125

местно навязанным всем агентам поля, в ущерб принципу, который раньше казался доминирующим — оппозиции между богатыми и бедными («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»).

Теперь, после беглого перечисления общих ставок, я перехожу к анализу специфической логики каждого поля. Поле политики явным образом утверждает себя в качестве того, кто призван говорить, что есть социальный мир. Ставкой в дискуссии двух политиков, атакующих друг друга с помощью цифр, является представление своего видения политического мира как обоснованного: основанного на объективности, поскольку обладает реальными референтами и укоренено в социальной реальности, поскольку оно подтверждается теми, кто принимает его на свой счет и отстаивает. Другими словами, спекулятивная идея становится форс-идеей в силу способности поля политики к мобилизации людей, через присвоение ими предложенных принципов видения. Если я скажу: «Все бедные, выходите завтра на площадь Согласия!», — и все бедные сбегутся, то мое высказывание подтвердится и окажется, что я создал сильную группу, которая своим существованием подтверждает сформулированное мной утверждение. Конфликты по поводу численности манифестаций (три миллиона по подсчетам демонстрантов, 300 тысяч по подсчетам полиции) дают пример символической борьбы за навязывание определенного способа видения мира. Оно находит свое подтверждение в том, что все те, кто его разделяют — признают его действительность, узаконивают, подтверждают его силу уже самим фактом того, что принимают его и действуют соответственно. Навязывание определения мира — это уже сам по себе акт мобилизации, направленный на утверждение или изменение отношений силы. Моя идея становится форс-идеей благодаря силе, которую она проявляет, когда навязывается как принцип видения.

Истинной идее можно противопоставить только опровержение, тогда как форс-идею можно противопоставить другую форс-идею, способную мобилизовать встречную силу и встречную манифестацию. Политика есть борьба за навязывание

126

звания легитимного принципа видения и деления, доминирующего и признанного как заслуживающий этого, т. е. исполненного символическим насилием.

Итак, какие свойства следуют из того, что политический универсум является полем? Во-первых, это означает, что основанием предлагаемых для плебисцита и внешнего одобрения точек зрения по большей мере является само поле, конкуренция между агентами, индивидуальными и коллективными, вовлеченными в поле. Из этого следует, например, — и это всегда удивляет, — что наиболее сильная политическая борьба происходит между наиболее близкими в политическом пространстве партиями, сектами, направлениями, течениями, движениями. Поскольку в поле политики речь идет о накоплении символической власти навязывания верований, признанных принципов видения, поскольку для навязывания этих принципов веры необходимо заслужить и получить доверие, накопить капитал доверия, авторитета, специфического авторитета, частично идущего от производимого им самим результата, и, наконец, поскольку символический капитал, которым обладает агент в поле политики, является в некоторой мере капиталом различающим и дифференцирующим, то нет ничего более опасного для держателя символического капитала, чем его *alter ego* — того, кто предлагает программу, способную лишить обладателя капитала самого его существования, то есть различия.

Существовать в поле, в поле литературы, в художественном поле — значит различаться. Можно сказать, что интеллект, как любой феномен, существует через различие с другими интеллектуалами. Перестать различаться — это проблема центра в поле политики — значит перестать существовать, и нет ничего более опасного, чем сходство, растворяющее вас в тождестве. Тогда становится видно, что находясь в оппозиции, два полюса получают взаимную выгоду. В пределе их единственным содержанием может быть одно только отношение оппозиции. (Можно даже наблюдать, что бывают такие состояния литературного поля, когда остается лишь оппозиция между ста-

127

рыми/молодыми, опытными/новичками — оппозиция практически пустая.)

Я упомянул, что три указанных поля имеют одну и ту же ставку: навязывание легитимного видения социального мира. Хотят они этого или нет, знают они об этом или нет, но социологи тоже вмешиваются в эту игру. Например, если я вмешиваюсь в борьбу регионалистов за определение границ — борьбу вида *rex*, по Бенвенисту: существует Окситания или нет? Когда, вместо того чтобы рассматривать Окситанию как объект, я занимаю позицию в борьбе за ее существование или несуществование, считая при этом, что даю научное решение, то на деле, хочу я того или нет, я участвую в разрешении политического спора. Частично гетерономия социологов происходит от искушения быть действительным арбитром в политической борьбе («я вам скажу, что существует не три класса, как говорит Маркс, а четыре»; «я вам скажу, что Окситания не является настоящим регионом, поскольку, чтобы быть регионом, необходимо четыре критерия, а она имеет лишь три»; «я вам скажу, что в пригородах живут не исламисты, а ассимилированные североафриканцы»⁶...). То есть выступать в роли, которой ждут от них журналисты. Социолог, отвечающий в интервью на вопрос о существовании или несуществовании Окситании, получит патент на научность, если он скажет журналисту, то есть читателю газеты, то, что тот от него ждет («это настоящий социолог, потому что он говорит именно то, что я считаю верным»). И социологи не могут устоять перед соблазном этой роли по ратификации.

Поле социальных наук не предназначено для того, чтобы вмешиваться в борьбу за навязывание доминирующего видения социального мира. И все же оно это делает настолько, насколько его результаты становятся непосредственно инструментами борьбы. С другой стороны, поле

⁶ В тексте используется выражение *beur assimilé*, на верлане (современном жаргоне) означающее человека, родившегося во Франции от родителей, иммигрировавших из Северной Африки (*Примеч. перев.*).

128

социальных наук, как и любое другое поле, структурировано в соответствии с уровнем автономии вовлеченных в него институтов или агентов, а потому эпистемологический разрыв, о котором часто говорят вслед за Г. Башляром, в основе своей является разрывом с социальным заказом, с социальными ожиданиями, окружающими некоторый набор проблем. Например, подписание контракта для исследователя в социальных науках — очень серьезная и деликатная операция, это эпистемологическая процедура, которая редко воспринимается таким образом. Так, заказ государства в области социологии — отметим, что очень значительная часть денег, получаемых социологами, идет от государства — такой заказ, как и заказ мецената художнику в эпоху Кватроченто, заключает программу в некоторые рамки. Художники должны были бороться в течение нескольких веков, чтобы освободиться от заказа и навязать свою автономию, право использовать цвета по своему усмотрению, право выбирать хотя бы манеру письма, если им указывают краски, право выбирать сюжет, изображать или нет заказчика, представлять его на коленях или стоя, крупным планом или нет. К сожалению, социологи, историки и т. д. не все и не всегда достигают такого уровня сознания, которого добились художники с эпохи Кватроченто. Они еще не научились так заключать контракты, чтобы защищать свое знание предмета, свою собственную компетенцию — то, что выступает условием их автономии. Социологи должны научиться отстаивать

свою свободу конструировать объект так, как они его понимают, и самим определять программу. Инструменты, к которым я обращаюсь, например, понятие поля, служат инструментами не только эпистемологического, но и социального разрыва.

Почему я считаю важным говорить о поле журналистики? Потому что, как мне кажется (и здесь можно увидеть помимо научной гражданскую функцию этого подхода), в последние годы поле журналистики, именно как поле (это не «власть журналистов»), оказывает все большее давление на другие поля. Если говорить о символическом про-

129

изводстве, то на поле социальных наук (в том числе и на философию) и на поле политики. Сюда можно было бы добавить поле естественных наук, поскольку желая достичь признания, которое становится все более и более необходимым для получения кредитов, контрактов и т. д., ученые тоже должны вступать в конкуренцию за признание, которое может быть даровано лишь средствами массовой информации. Как большинство полей: театра, литературы и т. д., — поле журналистики имеет, как мы видим, очень слабую автономию. Оно структурировано на основе оппозиции между двумя полюсами: наиболее чистые, наиболее независимые от государственной власти, политической и экономической власти, и наиболее зависимые от этих видов власти, наиболее коммерческие. Предлагаемая мной гипотеза (очень хорошо доказанная) состоит в том, что поле журналистики, которое становится все более и более гетерономным, т. е. все более и более подчиненным политическим и экономическим требованиям (в аспекте экономики в основном через *измерение аудитории*), — что это поле все больше и больше навязывает свои требования всем остальным и особенно полям культурного производства, полю социальных наук, философии и т. п., а также полю политики.

Почему важно говорить о поле журналистики, а не о журналистах? Потому что, во-первых, до тех пор, пока говорят о журналистах — продолжают рассуждать в логике личной ответственности, — происходит поиск виновников. Во-вторых, происходит постоянное чередование позитивного представления о журналистике как противовесе власти, критическом инструменте («без журналистов нет демократии» и т. п.), которое, вопреки всей очевидности, продолжают распространять журналисты, с негативным представлением о журналистике как ретрансляторе инструментов насилия и т. п. Ставя проблему в терминах ответственности и возлагая ее на журналистов, из находящихся на виду агентов делают козлов отпущения, в то время как анализ в терминах поля означает переход от непосредственно воспринимаемых агентов (являющихся, со-

130

гласно метафоре Платона, марионетками, у которых необходимо найти нити) к рассмотрению структуры поля журналистики и механизмов, действующих в нем.

Я утверждал, что поле журналистики, как мне кажется, все больше и больше теряет свою автономию, и понятно почему: через *подсчет аудитории* экономическое принуждение все сильнее давит на производство, поскольку рекламодатели соизмеряют свои кредиты — финансирование, без которого не может жить телевидение, — в соответствии с объемом аудитории, подсчитанной по определенным правилам. Другими словами, через *измерение публики*, оказывающее особенное давление на наиболее гетерономный сектор журналистики, т. е. на субполе телевидения в целом и на наиболее гетерономные его сектора, влияние экономики все время увеличивается. И в доказательство тому, что журналистика является полем, — модель наиболее гетерономной области поля, области телевидения, постепенно навязывается всему полю, включая наиболее «чистые» его области. Для этого есть довольно простые показатели: в газетах, включая *«Monde»*, все больше и больше места отводится телевидению. Телевизионные журналисты имеют все больше и больше веса в мире журналистики, вплоть до руководства печатью и т. д. Однако доминирование коммерческого полюса не безраздельно, здесь тоже можно наблюдать перекрестную структуру, сродни наблюдаемой в поле власти (с оппозицией художник/буржуа) или в поле литературы или искусства (чистое искусство/коммерческое искусство). Культурный капитал остается на стороне наиболее «чистых» журналистов печатных СМИ, и именно они (*«Libération»*, *«Le Canard»* и т. д.) начинают критические дебаты, которые затем подхватываются телевидением. Гетерономия, связанная с диктатом рекламодателей посредством механизма *измерения аудитории*, усугубляется сложившейся ситуацией нестабильности, связанной с существованием безработицы среди интеллектуальных профессий. В силу перепроизводства дипломированных специалистов вокруг поля культурного производства формируется культурная

131

резервная армия труда, эквивалентная в прошлом промышленной резервной армии труда. Давление культурной резервной армии труда на пространство культурного производства способствует нестабильности этих профессий, которая, в свою очередь, благоприятствует осуществлению цензуры посредством политического или экономического контроля.

Модель средств массовой информации очень интересна, поскольку также применима к миру университета. Я думаю, что в университете Страсбурга, например, положение около 60% преподавателей неустойчиво⁷: это преподаватели на контрактах, чьи позиции разительно отличаются от тех, что существовали в высшем образовании тридцать лет назад.

Вообще, все слова, которые мы используем, когда говорим о системе образования, за тридцать лет почти полностью изменили свой смысл: преподаватель — это слово больше не означает того, что означало тридцать лет назад; это верно и для ассистента, и для студента... Однако мы продолжаем говорить теми же словами. Это классический феномен, который очень важен в социологии, связанный с

Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

тем, что я называю *гистерезис габитуса*. Наша система диспозиций обладает инерцией: диспозиции изменяются медленнее, чем социальные условия их производства. Таким образом, чтобы рассуждать о мире, мы используем категории, являющиеся продуктом прошлого состояния мира: это синдром Дон Кихота. Многочисленные дискуссии о системе образования проходят довольно эмоционально, поскольку они сталкивают людей, имеющих категории, сформированные в разное время, которые под одним и тем же словом «преподаватель», «ассистент» подразумевают совершенно разные вещи.

Сегодня значительную часть преподавательского корпуса, в широком смысле, составляют внештатные преподаватели или преподаватели лицеев и колледжей, работающие дополнительно на факультетах вузов, чтобы избежать

⁷ Французское слово *précaire* имеет два смысла: 1) непрочный, ненадежный, шаткий, неустойчивый; 2) временный (Примеч. перев.).

132

жалкого существования. То же самое происходит в средствах массовой информации: все большая часть специфических культурных производителей находится в немного шатком положении, работающие по временным договорам и т. д. Само собой разумеется, нестабильность содержит определенную форму принуждения и цензуры. Автономия преподавателей, поддержавших Золя в деле Дрейфуса, отчасти связана с тем, что они были штатными преподавателями: на удивление, в этом случае привилегия оказалась условием свободы. Следовательно, разрушение стабильной занятости оборачивается потерей свободы, а в таком положении легче осуществляется цензура и экономическое принуждение. То же самое можно сказать относительно государства.

Итак, поле журналистики все более и более разнородно и все более зависимо от своего наиболее гетерономного полюса. Например, *«Monde»* — не стоит делать из него пристанище чистой журналистики, это далеко не так, все относительно — находится под давлением *TF1*, коммерческого полюса... Быть агентом поля — значит оказывать на него воздействие, причем тем большее, чем больше специфический вес агента в поле. Согласно физике Эйнштейна, чем больше энергия тела, тем больше оно деформирует пространство вокруг себя. Сильный агент может деформировать все пространство, сделать так, что оно будет организовываться вокруг него. Сегодня мы наблюдаем процесс, согласно которому силы коммерческой гетерономии, представляемые наиболее коммерческим телевидением, постепенно навязываются разным полям (полю журналистики, издательскому полю) таким образом, что в них все больше и больше проникает то, что можно было бы назвать менталитетом *измерения аудитории*. Всего лишь тридцать лет назад светский успех книги был своего рода приговором: так же как в религиях спасения большой успех торговли находился под подозрением с точки зрения внутренних ценностей. Сегодня Бобин считается писателем. Даже в *CNRS* учитывают признание СМИ и коммерческий успех произведения. Другими словами, ценно-

133

сти торговли, в борьбе с которыми формировались все типы специфической автономии — их микропространства организованы как оппозиция коммерческому, это всех объединяет, в том числе и юридическое поле, — становятся если не доминирующими, то, по крайней мере, угрожающими всем полям.

Чтобы понять, что происходит в поле журналистики, необходимо определить уровень автономии поля, а внутри поля — уровень автономии газеты, для которой пишет журналист. Для этого есть показатели: например, для газеты это то, какая часть финансирования идет от государства, от рекламодателей и т. д. Для журналиста уровень автономии будет зависеть от его позиции в поле журналистики, например, от его авторитета. Следовательно, можно выделить показатели автономии, которые предположительно позволяют предвидеть поведение агентов на практике, их способность сопротивляться государственному или экономическому давлению. Свобода — это не то, что падает с неба; она имеет свои уровни, которые зависят от позиции, занимаемой агентом в социальных играх.

Такая журналистика, где все больше и больше набирают вес коммерческие ценности, усиливает свое влияние в других пространствах. Это означает, что в каждом поле — научном, юридическом, философском и т. д. — журналистика стремится усилить его наиболее гетерономную часть. Короче говоря, в философском поле она усиливает позиции новых или медиатизированных философов. Придавая большое значение тому, что высоко ценится на внешних рынках, она воздействует на отношения внутри самого поля.

Как я указал вначале, поле есть отношение сил и пространство борьбы за трансформацию этой совокупности сил. Другими словами, в поле идет конкуренция за легитимное присвоение того, что является ставкой борьбы в этом поле. И внутри самого поля журналистики идет, естественно, постоянная конкуренция за присвоение публики, а также за присвоение того, что должно привлекать публику, т. е. за приоритет на информацию, на *scoop*, на

134

экслюзив, а также на отличительные раритеты, известные имена и т. д. Один из парадоксов, который мне хотелось бы по крайней мере назвать, поскольку нет возможности его проанализировать, состоит в том, что конкуренция, всегда представляемая как условие свободы, оказывает обратное влияние на поля культурного производства, испытывающие коммерческое давление: она имеет своими следствиями унификацию, цензуру и даже консерватизм. Очень простой пример: борьба между тремя французскими еженедельниками — *«Nouvel Observateur»*, *«Express»* и *«Point»* — приводит к тому, что они становятся неразличимыми. В основном почему? Потому что конкурентная борьба, противопоставляющая их,

приводящая к навязчивым поискам различия, первенства и т. п., приводит их не к дифференциации, а к унификации. Они воруют друг у друга передовицы, авторов редакционных статей, сюжеты (достаточно, чтобы один из журналов опубликовал статью на две страницы о Делёзе — другой сделает на четыре). Иногда это может служить добрым целям, как в данном случае, но часто это способствует худшему и худшим. Этот тип безудержной конкуренции распространяется от поля журналистики на другие поля. Возьмем пример поля литературных премий, представляющее собой небольшое подпространство инстанций литературного признания: один и тот же автор получил две премии, потому что премия Медичи, ранее относительно независимая, которая присуждалась после Гонкуровской премии, передвинула свою дату на более ранний срок, чтобы опередить Гонкуров, которые, обидевшись, дали премию тому же автору. Другой конфликт, типичный для поля журналистики: один за другим *«Nouvel observateur»* и *«Express»* передвинули на более ранний срок день выхода журнала. Важным моментом для понимания поля является то, что прямое отношение производитель—клиент опосредовано отношением между производителями. Чтобы понять такие продукты, как *«Express»* или *«Nouvel observateur»*, нет большого смысла изучать их целевые группы (если вы посмотрите статистику, то они почти неразличимы, по крайней

135

мере на уровне тех категорий анализа, которые используются в доступной статистике). Суть происходящего в этих журналах заключена в отношении между самим *«Express»* и *«Nouvel observateur»*, т. е. это своего рода бильярдные удары. В конце концов, читатели *«Express»* соотносятся с читателями *«Nouvel observateur»* так же, как журналисты *«Nouvel observateur»* с журналистами *«Express»*. Но это совсем не потому, что производители того и другого журнала настроились каждый на свою публику, а потому, что существует гомология между пространством специфического производства и глобальным социальным пространством.

Мы говорили о гражданственности, и я этим очень доволен. В том, что я сказал, в том, что я описал, — к сожалению, мне не удалось проговорить это более убедительно, но это очень сложно — главным является именно процесс, где никто не выступает в роли субъекта — само собой разумеется, я не снимаю ответственности с Жана Данне-ля, к сожалению, эта ответственность есть, и она велика! Я не снимаю ее также с Кристин Окрент (вот пример гетерономии, когда Кристин Окрент, человек с телевидения, становится директором *«Express»*). Все эти люди несут ответственность, но они погружены в структурные процессы, осуществляющие на них давление, которое абсолютно предопределяет их выбор. Через эти процессы проявляется своего рода глобальная опасность для автономии всех полей культурного производства, т. е. для всех универсумов, где производятся предметы, которым мы приписываем наибольшую ценность: наука, право и т. п., включая поле политики, которое, сколь бы гетерономно и независимо от внешних требований ни было, выполняет алхимическую функцию. В качестве доказательства приведу проведенный мной небольшой анализ, который я представлю в двух словах. Речь идет о так называемом деле «маленькой Карин». История начинается в Монпелье в июне месяце. В газете Монпелье появляется краткая заметка, затем отец заявляет протест в местной прессе, потом вмешивается крестный отец, затем они создают ассоциацию, затем

136

проводят небольшую манифестацию в сто человек — все это подхватывается журналистами и т. д. и т. п. Заканчивается это восстановлением пожизненного заключения. (Детальное описание этого процесса можно найти в номере *«Actes de la recherche en sciences sociales»*⁸, посвященном господству журналистики.) Посредством своей работы по объяснению и конструированию категорий («это ужасно, преступления против детей!» и т. д.) журналисты создают своего рода движение мнения, в логике прямой демократии, но в наиболее ужасном смысле этого слова, что может закончиться смертной казнью; когда вмешиваются специализированные инстанции, ассоциации судей и адвокатов, чтобы вновь утвердить специфическую логику юридического поля, то уже слишком поздно. И политик-демагог, также подчиненный логике *подсчета аудитории*, говорит: «Да, необходимо пожизненное заключение, чтобы...». А небольшие очаги сопротивления в поддержку автономии сметаются популистским низовым движением, имеющим все внешние признаки демократии, — *объем аудитории*.

Демагогия, воплощаемая в механизме *подсчета аудитории*, подрывает завоевания автономии. Это означает, что автономия обладает некоторой двусмысленностью, связанной с социальными условиями ее возможности. Как показывает пример конгресса в Ренне, автономия может привести к «эгоистическому» замыканию поля на специфических интересах тех, кто в него ангажирован. Но это замыкание, как показывает случай маленькой Карин, может быть условием свободы по отношению к непосредственному заказу и демагогии. Малларме, вопреки тому, что обычно о нем думают (в молодости он писал ужасные вещи о толпе, народе и т. п.), всю свою жизнь задавал себе вопрос, как сохранить то, что возможно лишь при автономии и в условиях привилегированного эзотеризма, в то же время стараясь представить это широкой публике. Меж-

⁸ L'emprise du journalisme // Acte de la recherche en sciences sociales. № 101-102. 1994.

137

ду условиями производства, своеобычностью, привилегией и условиями распространения существует сложное отношение. И есть люди, я имею в виду социологов, которые попадают в эту западню. В книге «Похвала широкой публике», которую я должен обязательно упомянуть, потому что для меня она олицетворяет капитуляцию социолога перед требованиями «объема аудитории», Волтон ставит проблему

следующим образом: «Что необходимо выбрать: *Arte*, то есть эзотерическую культуру мандаринов, или *TF1*?». И с широким либеральным жестом интеллектуала, отрекающегося от своих привилегий, он говорит: «Выберем *TF1*, да здравствует широкая публика!» И ему тут же аплодируют все журналисты *TF1*, считающие: вот великий социолог. Что является ставкой в данном случае? Это не оппозиция элитарность/демократичность. А автономия/гетерономия. Очевидно, чтобы заниматься математикой, необходим время — по Платону *skholè*, что также означает «школа», — т. е. необходимо время, свободное время. А журналистика — это спешка, это постоянное течение времени. Вы не можете заниматься математикой на площадке *TF1*, вы не можете там заниматься и социологией, вы ничего не можете там делать. Вам говорят, со мной это происходило сотни раз: «Не хотите ли Вы прийти на *Antenne2* в восемь часов, у вас есть три минуты, чтобы поговорить о кризисе...» Автономия предполагает право входа: «негеометр, да не войдет». Это означает, что для занятий современной продвинутой математикой необходимо накопление специфического капитала математической культуры, без чего невозможно увидеть даже сами проблемы. Чтобы войти сегодня в поле социологии — это игнорирует большинство социологов и уж тем более несоциологов — тоже необходим большой капитал. Обладание этим капиталом, позволяющим преодолеть порог вхождения, выступает условием возможности автономии по отношению к бессмысленному социальному заказу. Поскольку мы читали Макса Вебера и множество других авторов, то сопротивляемся социальному заказу типа «вы за *TF1* или *Arte*?» и в состоянии сказать: «Вопрос неправильно

138

сформулирован, я на него не буду отвечать». Защищать право входа — не значит защищать элитарность. Это означает защищать социальные условия производства вещей, которые могут быть получены только при определенных условиях. Право входа может стать препятствием, защитой привилегий, но не всегда. Существует не только проблема входа, но и проблема выхода: необходимо войти в это поле, в этот микрокосм, но из него можно и выйти. Что сделал Золя? Известное дело Дрейфуса — это история о том, как некто, находясь в автономном литературном поле, которое наконец-то достигло автономии (для этого понадобилось несколько веков), вышел, чтобы сказать: от имени ценностей чистоты, свободы, истины и т. д., ценностей литературного поля, я вхожу в поле политики, полностью оставаясь писателем (он не стал политиком), и «я обвиняю»...

На место альтернативы *à la* Волтон — *TF1* или *Arte*? — необходимо поставить вопрос об автономии и вопрос о праве входа и обязанности выхода. И тогда можно сформулировать в совершенно новом виде проблему, на которой замыкается все политическое мышление об интеллектуальном мире: как можно защищать условия, необходимые для производства некоторого типа специфического, специализированного продукта, и не отказываться при этом от демократии?

Перевод с французского Ю. В. Марковой

СОЦИОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА

Пьер Бурдьё. ОТ «КОРОЛЕВСКОГО ДОМА» К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИНТЕРЕСУ: МОДЕЛЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ БЮРОКРАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ*

Главный замысел данного исследования — попытаться раскрыть специфические характеристики государственного интереса, которые скрываются за очевидностью, обеспеченной согласием между разумом, сформированным государством, государственным разумом и структурами государства¹. Нужно, следовательно, не столько задаваться вопросами о факторах возникновения государства, сколько задуматься о логике исторического процесса становления такой исторической реальности, как государство: сначала в его династической форме, а потом в бюрократиче-

* *Bourdieu P. De la maison du roi à la raison d'Etat // Actes de la recherches en sciences sociales. № 118. 1997. P. 55-68.*

© *Bourdieu P., 1997*

¹ Данный текст представляет исправленные записи лекций, прочитанных в Коллеж де Франс. В его основе — предварительные наброски, служившие, главным образом, исследовательским инструментом. Он вписывается в линию, продолжающую анализ процесса концентрации различных видов капитала, приведшего к формированию бюрократического поля, способного контролировать другие поля. См., в частности: *Бурдьё П. Дух государства // Поэтика и политика. S/Λ'98. Альманах Российско-французского центра социологии и философии. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1999. С. 125-166.*

142

ской. Нужно не столько описывать (т. е. составлять некий генеалогический рассказ) процесс автономизации бюрократического поля, подчиняющегося собственной бюрократической логике, сколько выстраивать *модель* этого процесса, а точнее — модель перехода от династического государства к бюрократическому, от государства, сводящегося к королевскому дому, к государству, сформированному как поле сил и поле борьбы, направленных на завоевание монополии легитимной манипуляции общественным богатством.

Р. Дж. Боней², исследуя современное национальное государство, заметил, что мы рискуем упустить Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

из виду предшествующее ему династическое: «На протяжении длительного времени до 1660 года (а некоторые считают, и позже) большинство европейских монархий не были национальными государствами в нашем понимании, за исключением — скорее случайным — Франции»³. Не проводя четких различий между династическим и национальным государствами, мы не сможем уловить специфики современного государства. Последняя как никогда хорошо проявилась во время длительного переходного периода, приведшего к формированию современного государства, и была результатом особой работы по нововведению, разрыву и переопределению.

Но может, следовало бы быть более радикальным и вообще не называть династическое государство государством, как это сделал В. Стибер⁴. Он подчеркивает ограниченную власть германского императора как монарха, назначенного в результате выбора, требующего папской санкции: немецкая история XV века отмечена политикой загово-

² Bonney R. J. The European Dynastic States. 1494-1660. Oxford: Oxford University Press, 1991.

³ Bonney R. J. Guerre, fiscalité et activité d'Etat en France (1500-1660): Quelques remarques préliminaires sur les possibilités de recherche// Genèse de l'Etat moderne. Prélèvement et redistribution / Genet Ph., Le Mené M. (éds.). P.: Éd. du CNRS, 1987. P. 193-201, 194.

⁴ Stieber W. Studies in the History of Christian Thought. XIII. Leiden: Brill, 1978. P. 126 sq.

143

ров князей, она характеризуется стратегиями наследования, направленными на процветание семьи и княжеского владения [*estate*]. Здесь нет ни одной черты современного государства. Только в XVII веке во Франции и Англии проявляются основные отличительные черты начинающего формироваться современного государства. Однако в 1330—1660 годах для европейской политики все еще характерны персональный взгляд — «*proprietary*» — князей на свое правление, давление феодальной знати, а также претензия церкви на определение норм политической жизни.

Нужно задаться вопросом не о факторах появления государства, но о логике исторического процесса, согласно которой — внутри и посредством некоего рода *кристаллизации* — сложилась как система такая исторически беспрецедентная реальность, которой является династическое и, что еще более необычно, бюрократическое государство.

Особенность династического государства

Изначальное накопление капитала завершилось в соответствии с типичной логикой *дома* — совершенно оригинальной экономической и социальной структуры — становлением *системы стратегий воспроизводства*, благодаря которым дом обеспечивает свое непрерывное продолжение. Действуя как «глава дома», король распоряжается его собственностью (в частности, знатностью как символическим капиталом, накопленным домашней группой согласно совокупности стратегий, главнейшей из которых является брак), чтобы обустроить государство, как администрацию и как территорию, которое затем мало-помалу начинает отходить от логики «дома».

Остановимся на некоторых методических предпосылках. *Двойственность династического государства*, с самого своего начала демонстрирующая определенные черты «современности» (например, деятельность легистов, которые благодаря действующей форме школьного воспро-

144

изводства и своей технической компетенции обладают некоей автономией по отношению к династическим механизмам), дает повод к трактовке, стремящейся покончить с двойственностью исторической действительности. Тяга к «этнологизму» может опираться на архаические черты: так коронацию, например, можно свести к примитивному ритуалу освящения, если забыть о том, что ей предшествуют приветственные возгласы, овации или исцеление золотушных, что обеспечивает передачу наследуемой по крови харизмы и божественного назначения. Напротив, «этноцентризм» (в паре с анахронизмом) можно увязать лишь с признаками современности, с существованием абстрактных принципов и законов, выработанных канониками. Однако поверхностное понимание этнологии препятствует использованию ее достижений в области «домашних обществ» для изучения верхушки государства.

Можно предположить, что самые фундаментальные черты династического государства могут в некотором роде быть выведены из модели дома. Для короля и его семьи государство отождествляется с «королевским домом», понимаемым как наследство, включающее собственно королевское семейство, т. е. членов семьи, и этим наследством нужно «по-хозяйски» распорядиться. Объединяя совокупность родов и владений, дом возвышается над индивидами, олицетворяющими его, начиная прямо с главы дома, который должен уметь поступаться своими интересами или личными чувствами ради продления материального, а главное — символического, наследия (чести дома или родового имени).

Как считает Э. У. Льюис⁵, *способ наследования* определяет королевство. Королевская власть — это *честь*, передаваемая по агнатической наследственной родовой линии (право крови) по праву первородства; государство или королевство сводится к королевской семье. Сообразно династической модели, устанавливаемой в королевской се-

⁵ Lewis A. W. Le sang royal: La famille capétienne et l'Etat. France, X^e-XIV^e siècle/Préface G. Duby. P.: Gallimard, 1981.

145

мье и распространяемой на все дворянство, главная часть и наследуемые личные земли передаются старшему сыну, *наследнику*, чей брак рассматривается как политическое дело самой большой важности. Семья защищается от угрозы раздела, выделяя младшим землю в удел (такая компенсация призвана обеспечить согласие между братьями, причем королевские завещания рекомендуют каждому принять свою долю без возражений), а также организует их браки с наследницами или посвящает их церкви.

К французскому или английскому королевству, вплоть до достаточного позднего времени, применимо высказывание Марка Блока о средневековой сеньории, основанной на «слиянии финансовой группы с группой, осуществляющей верховную власть»⁶. Именно отцовская власть устанавливает модель господства: господствующий оказывает защиту и поддержку. Как в древней Кабилии, где политические отношения неавтономны и зависят от родственных связей, где они строятся по модели этих связей, то же наблюдается и в экономических отношениях. Власть покоится на личных и аффективных связях, определяемых социально как верность⁷, любовь, доверие — отношениях, поддерживаемых постоянно, в том числе и посредством «щедрых жестов».

Возвышение государства над временно воплощающим его королем есть превосходство короны, т. е. превосходство «дома» и династического государства, которое, вместе со своей бюрократической системой, остается в его подчинении. Так, Филипп Красивый является главой рода: он окружен близкими родственниками, «семья» разделена на разные «палаты», специальные службы, сопровождающие короля во время его поездок. Принцип легитимации генеалогический, обеспеченный кровнородственными связями. Именно так можно понимать мифологию двух тел короля, о которой так много говорят историки вслед за Канторовичем, и которая символически обозначает этот дуализм

⁶ Bloch M. *Seigneurie française et manoir anglais*. P. : Armand Colin, 1960.

⁷ Duby G. *Le Moyen Âge*. P.: Hachette, 1989. P. 110.

146

превосходства институции над личностью, временно ее воплощающей в земной жизни. (Такой дуализм можно наблюдать и у беарнских крестьян, когда мужская половина дома, определяемого как совокупность предметов и членов семьи, часто называется именем, за которым следует имя дома, а потому, к примеру, зять, проживающий в доме родителей жены, фактически принимает ее фамилию.) Король — это «глава дома», социально уполномоченный проводить династическую политику, внутри которой матримониальные стратегии занимают решающее положение; он служит величию и процветанию своего «дома».

Многие *матримониальные стратегии* направлены на расширение территорий при помощи династических союзов, базирующихся на одной лишь личности принца. В качестве примера можно было бы взять династию Габсбургов, которые в XVI веке значительно увеличили свою империю благодаря удачным политическим бракам: Максимилиан Первый получил Франш-Конте и Нидерланды через брак с Марией Бургундской, дочерью Карла Смелого; его сын Филипп Красивый женился на Безумной Жанне, королеве Кастильской, от этого брака родился Карл Пятый. Точно так же не вызывает сомнений, что многие конфликты и, в первую очередь, так называемые войны за наследство представляют собой способ осуществления *стратегий наследования* другими средствами. «Хорошо известна война за наследство в Кастилии (1474-1479): если бы не победа Изабеллы, то вместо династической унии Кастилии и Арагона мог бы возникнуть союз Кастилии и Португалии. Война Карла Пятого с герцогством Гельдерландским вовлекла это герцогство в Бургундский союз 1543 года: если бы победил лютеранский герцог Вильгельм, то возникло бы сильное антигабсбургское государство, собранное вокруг Клева, Юлиха и Берга и простирающееся вплоть до Зюйдерзее. Однако раздел Клева и Юлиха в 1614 году в итоге войны за наследство положил конец этой слабой возможности. Союз корон на Балтике между Данией, Швецией и Норвегией распался в 1523 году, но при каждой по-

147

следующей войне между Данией и Швецией вопрос о союзе вставал снова; лишь в 1560 году династическая борьба Ольденбургского дома с домом Ваза разрешилась путем вхождения Швеции в ее «естественные границы». Ягеллоны устанавливают в 1386-1572 годах династический союз Польши и Литвы, преобразовавшийся после 1569 года в конституционный. Вместе с тем династический союз Швеции с Польшей был целью Сигизмунда Третьего; польские короли стремились к нему до 1660 года. Они лелеяли надежды и в отношении России: в 1610 году сын Сигизмунда Третьего Владислав был зван на царство после боярского переворота»⁸.

Одно из достоинств модели дома в том, что она позволяет отойти от телеологического воззрения, основанного на ретроспективной иллюзии, представляющей становление Франции как «проект», последовательно реализованный ее королями. Так, Шеруэль в своей «Истории монархического правления во Франции» явным образом указывает на «волю» Капетингов построить монархическое французское государство; неудивительно, что некоторые историки осуждают введение системы уделов, ответственной за «раздробление» королевских владений.

Династическая логика полностью учитывает политические стратегии династических государств и позволяет увидеть в них особую типологию стратегий воспроизводства. Но нужно еще задаться вопросом о средствах, а точнее, о имеющихся у королевской семьи особых преимуществах, которые позволяют ей одерживать победу над соперниками.

Как мне кажется, один только Норберт Элиас открыто ставит этот вопрос и предлагает в ответ на него свой «закон монополии» — решение, которое я не буду сейчас подробно обсуждать, но замечу, что оно

мне кажется вербальным и тавтологическим: «Когда внутри социальной единицы определенной протяженности существует множество более мелких единиц, формирующих в силу их

⁸ Bonney R. J. Op. cit. P. 195.

148

взаимозависимости эту крупную единицу, то обладая более или менее равной социальной силой и не будучи ограничены установленной монополией, они могут вступить в свободную борьбу за захват социальной власти и прежде всего за средства существования и средства производства, причем велика вероятность, что одни из этой борьбы выйдут победителями, а другие побежденными, и что удача окажется в руках немногих, в то время как другие будут уничтожены или попадут под власть этих немногих»⁹.

Наделенный «властью полулитургической природы», которая ставит его «вне всех остальных князей, его соперников»¹⁰, сочетая суверенитет (римское право) с властью сюзерена, что позволяет ему монархически пользоваться *феодальной логикой*, король занимает положение, отличающееся от других и придающее отличия, что само по себе обеспечивает *начальное накопление символического капитала*. Он — феодальный глава, обладающий характерной властной особенностью, которая дает ему резонные шансы на *признание его претензии* называться *королем*. В самом деле, по излюбленной экономистами логике «спекулятивного пузыря» он с полным основанием может считать себя королем, поскольку другие верят (хотя бы отчасти), что он им является; каждый должен считаться с фактом, что другие считают с тем, что он — король. Таким образом, достаточно минимального отличия, чтобы получить максимальное расхождение, поскольку оно отделяет его от всех остальных. Кроме того, король оказывается в центральной позиции и на этом основании располагает информацией обо всех других, которые — за исключением случаев *коалиции* — сообщаются между собой только через него, а потому он может контролировать их альянсы. Король оказывается, таким образом, в положении над схваткой, он предрасположен к исполнению функции арбитра, он — инстанция, к которой зывают.

⁹ Elias N. Über den Prozess der Zivilisation. (1^{re} éd. 1939). Trad. fr. du tome 1: La Dynamique de l'Occident. P., 1969. P. 31, 47.

¹⁰ Duby G. Préface in A. W. Lewis. Op. cit. P. 9.

149

Примером, иллюстрирующим данную модель, может служить анализ Музафара Алама, показывающий, каким образом вследствие заката Могольской империи, вызванного упадком императорской власти, а также усилением власти местной знати и автономии провинций, местные главы продолжали соотноситься через «некую видимость имперского центра», продолжая придавать ему легитимирующую функцию. *«Again, in the conditions of unfettered political and military adventurism which accompanied and followed the decline of imperial power, none of the adventurers was strong enough to be able to win the allegiance of the others and to replace the imperial power. All of them struggled separately to make their fortunes and threatened each other's position and achievements. Only some of them, however, could establish their dominance over the others. When they sought institutional validation of their spoils, they needed a center to legitimize their acquisitions»*¹¹.

Характерные противоречия династического государства

Начальное накопление капитала совершается в пользу одного лица: зарождающееся бюрократическое государство (а также бюрократическая и связанная с ним образовательная формы правления и воспроизводства) остается в личной собственности «дома», который продолжает подчиняться патримонильной форме правления и воспроиз-

¹¹ «Кроме того, в условиях разгула политического и военного авантюризма, сопровождавшего императорскую власть и приведшего к ее упадку, ни один из авантюристов не был достаточно силен, чтобы заставить подчиняться других и свергнуть императорскую власть. Все они боролись отдельно, чтобы нажить личное состояние, и угрожали позициям и достижениям друг друга. Только некоторые из них, несмотря ни на что, смогли навязать свое господство другим. Когда они добились институционального признания своих завоеваний, им понадобился центр, чтобы узаконить эти приобретения» (*Alam M. The Crisis of Empire in Mughal North India, Awadh and the Penjab. 1708-1748. Oxford; Delhi: Oxford University Press, 1986. P. 17*).

150

водства. Король отказывается от личных властных привилегий в пользу единоличной власти; он увековечивает в своей династии способ семейного воспроизводства, противоречащий тому способу, который он устанавливает (или который устанавливается) для бюрократии (где важны заслуги и компетенция). Он концентрирует в своих руках различные формы власти, в частности, экономическую и символическую, и перераспределяет их в «персонализированном» виде («щедроты»), способствующем возникновению «личной» привязанности. Отсюда всякого рода противоречия, которые играют определяющую роль в преобразовании династического государства, хотя именно их чаще всего забывают включить в анализ факторов «рационализации». Например, такая форма конкуренции между государствами, как межнациональные войны, приводит к концентрации и рационализации власти, к процессу самоподдержки, поскольку необходимо обладать властью, чтобы вступать в войну, призванную концентрировать власть; или, другой пример, конкуренция между центральной властью и местными властями.

С одной стороны, до последнего времени можно было наблюдать постоянство старых структур патримонильного типа. Например, описываемая Роланом Мунье живучесть моделей учитель/преданный ученик или покрови-тель/«креатура» внутри самого наибюрократического сектора¹². Желая показать, что Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

для понимания реального функционирования государственных институтов недостаточно анализировать одну лишь их историю, Р. Боней указывает:

«Система патронажа и клиентелы представляла основную силу, действующую за фасадом официальной административной системы, описать которую значительно проще, поскольку отношения патронажа в силу самой их природы ускользают от историка. Вместе с тем значение министра, госсекретаря, управляющего финансами или королевского советника одинаково зависит от титула и

¹² *Mousnier R. Les Institutions de la France sous la monarchie absolue. T. 1. P.: PUF, 1974. P. 89-93.*

151

от влиятельности его самого или его покровителя. Эта влиятельность в значительной мере держится на личностных качествах самого персонажа, но еще больше — на личности покровителя»¹³.

Другим объясняющим фактором служит существование кланов, основанных на семье (часто ошибочно называемых «партиями»), которые — как это ни парадоксально — участвуют, хотя и не прямо, в процессе бюрократизации: «Крупные кланы знати, уважающие законы или оспаривающие их, являются структурными составляющими монархии», а «"фаворит" использует свою абсолютную власть против недовольных или подозреваемых в недовольстве членов королевской семьи»¹⁴.

Амбивалентность государственной системы, где смешиваются домашние дела и политика, интересы королевского дома и государства, парадоксальным образом становится, через демонстрируемые ею противоречия, одним из главных принципов утверждения бюрократии. Становление государства совершается отчасти под прикрытием недоразумений, порожденных тем фактом, что можно с чистой совестью выражать неоднозначные структуры династического государства в определенном языке, а именно в языке права, который сообщает им совершенно иное основание и тем самым готовит их преодоление.

Несомненно, династический принцип, выраженный языком римского права при помощи этноцентрического толкования юридических текстов, начинает в XIV-XV веках постепенно преобразовываться в новый, собственно «государственный», принцип. Династическая организация, игравшая главную роль уже при Капетингах (например, коронация наследника в детском возрасте), достигает расцвета со становлением *королевской семьи*, состоящей из мужчин и женщин, в чьих жилах течет королевская кровь («принцы крови»). Типично династическая метафора ко-

¹³ *Ibid. P. 199.*

¹⁴ *Constant J.-M. Genèse de l'État moderne: Prélèvement et redistribution / Genet Ph., Le Mené M. (éds). Op. cit. P. 224, 223.*

152

ролевской крови формулируется в соответствии с логикой римского права, которая для выражения родства пользуется словом «кровь» (*jura sanguinis*). Карл V перестраивает некрополь Сен-Дени: все персоны королевской крови (включая жен и детей, мальчиков и девочек, даже умерших в раннем возрасте) были погребены вокруг Людовика Святого.

Юридический принцип опирается на типично династическое понимание короны как принципа суверенности, которая ставится выше персоны короля. Начиная с XIV века это абстрактное слово обозначает королевские владения («владения короны», «доходы короны») и «династическую преемственность — цепь королей, в которой отдельная персона является лишь одним из звеньев»¹⁵. Корона подразумевает неотчуждаемость земель и прав феодалов от королевских владений, потом от самого королевства; она указывает на *dignitas* и *magestas* отправления функции короля (полностью отделяющуюся от личности короля). Таким образом, постепенно, через идею короны и новое толкование идеи дома, превосходящего своих членов, проводится понимание автономной инстанции, независимой от личности короля. Юристы несомненно склонны создавать творческую неразбериху между династическим представлением дома, который продолжает их занимать, и юридическим представлением государства как *corpus mysticum* по типу церкви (Канторович).

Вес структур родства и опасность дворцовых войн оказывает парадоксальным образом давление на продолжение династии и на власть государя, которая повсеместно — от архаических империй до современных государств — способствует развитию форм власти, независимых от родства, как в своем функционировании, так и в воспроизводстве. Предприятие «государство» есть место оппозиции, подобной той, что Берль и Минс выделяли в связи с предприятием, а именно оппозиция наследных «собственни-

¹⁵ *Guénée G. L'Occident aux XIV^e et XV^e siècles. Les États. P.: PUF, 1971.*

153

ков» власти (*owners*) «функционерам» (*managers*), т. е. «кадрам», нанятым за их компетенцию и не имеющим наследственных титулов. Следует, однако, поостеречься реифицировать данную оппозицию, как это было в случае с предприятием. Требования *внутридинастической борьбы* (в частности, между *братьями*) лежат в основании первых проектов *разделения труда по господству*. Именно наследники должны были опираться на управляющих для продления своего рода; именно они достаточно часто должны были прибегать к новым ресурсам, которые им доставляла бюрократическая централизация, чтобы преодолеть угрозы со стороны их династических соперников. Например, как в случае короля, использующего ресурсы казны для подкупа главы конкурирующего рода или, более тонко, для контроля за конкуренцией между своими приближенными путем раздачи — в соответствии с занимаемым в иерархии местом — символических прибылей, обеспеченных куриальной организацией.

Таким образом, мы находим почти повсеместно тройное разделение власти: *король*; его *братья* (в Социологическом Пьеро Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

широком смысле), т. е. династические соперники, чья власть покоится на династическом принципе организации дома; *министры короля*, *homines novi*, чаще всего назначенные за их компетенцию. Сильно упрощая, можно сказать, что король нуждается в министрах, чтобы ограничивать и контролировать власть своих братьев, и наоборот, — использует братьев для контроля над властью министров и ее ограничения.

Великие земледельческие империи, состоящие главным образом из мелких производителей, живущих замкнутыми на себе общинами и находящимися под господством меньшинства, обеспечивающего порядок и управление насилием (воины), а также управление официальной мудростью, хранящейся в письменном виде (писцы), совершают четко обозначенный разрыв семейных связей с помощью учреждения крупных бюрократий париев, исключенных из политического воспроизводства: евнухов, священников, обреченных на безбрачие, чужеземцев, не имеющих

154

родственников в стране (как в преторианских гвардиях дворцов и финансовых служб империй) и лишенных прав, или, в крайних случаях, рабов, которые являлись собственностью государства и чья собственность и пост могли быть в любой момент отобраны государством¹⁶. В древнем Египте различие между царской семьей и высшей администрацией проводилось таким образом, что власть делегировалась скорее новым людям, чем членам царской семьи. Также и в античной Ассирии (Гарелии) *wadu* были одновременно рабами и «функционерами». В империи Ахеменидов, состоящей из Мидии и Персии, высшими управленцами были часто греки. В Монгольской империи высшие управленческие функции исполнялись почти исключительно иностранцами.

Самые занимательные примеры дает нам Оттоманская империя. Чтение «Баязида» позволяет представить, каким образом братья султана и его визирь (бюрократ, наделенный властью контролировать среди прочих и самих братьев) создавали постоянную угрозу султану. Радикальным решением данной проблемы стало принятие закона о братоубийстве, который предписывал умерщвлять братьев наследника сразу по его восшествии на престол¹⁷. Во многих империях Древнего Востока именно иностранцы, в особенности перешедшие в ислам христиане, получали доступ к высшим сановным должностям". Оттоманская империя создала себе космополитическую администрацию¹⁹, которую называли «сбором», состоящим, однако, из людей преданных, причем оттоманский «*kul*» означал одновременно «раб» и «слуга государства».

Таким образом, мы можем сформулировать основной закон такого первичного разделения труда по господству между наследниками — династическими соперниками, наделенными потенцией к воспроизводству, но доведенными до политической импотенции, и облатами — обладающи-

¹⁶ Hopkins K. *Conquerors and Slaves*. Cambridge, 1938. Ch. IV. (о занятиях евнухов).

¹⁷ Mantran R. (dir.) *L'Histoire de l'empire ottoman*. P.: Fayard, 1989. P. 27, 165-166.

¹⁸ Ibid. P. 119; 171-175.

¹⁹ Ibid. P. 161; 163-173.

155

ми политической силой, но лишенными возможности воспроизводиться. Чтобы ограничить власть наследных представителей династии, прибегают к найму на важные посты людей, не имеющих отношения к династии, *homines novi*, облатов, обязанных всем государству, которому они служат, и находящихся — по меньшей мере, теоретически — под постоянной угрозой потерять полученную из его рук власть. Для предупреждения опасности монополизации, исходящей от всякого обладателя власти, основанной на специализированной, более или менее редкой, компетенции, система набора на должность строится таким образом, чтобы исключить всякую возможность воспроизводства (в предельном случае это евнухи или священники-целибаты) и возможность передачи власти по династическому типу либо использования статуса функционера для учреждения власти, организованной по принципу самостоятельной легитимности, независимо от той, что дана государством, т. е. легитимности на определенных условиях и на определенное время. (Можно предположить, что папское государство начало рано, уже в XII—XIII веках, эволюционировать в сторону бюрократического государства именно благодаря уходу от династической модели семейной преемственности, которая иногда продлевалась по линии дядя—племянник, и благодаря тому, что оно не имело территории, но опиралось на налоги и право.)

Существует огромное множество самых разнообразных примеров проявления этого основного закона в разных цивилизациях: меры, направленные на предупреждение появления системы контрвласти, построенной по династической модели, т. е. независимой в своем воспроизводстве и наследуемой (именно этот момент послужил развилкой между феодализмом и империей). Так, в Оттоманской империи сановникам определяется *timar* — доход с земель, но сами земли в собственность не даются. Часто встречается положение, когда власть атрибутируется строго *пожизненно* (как целибат у священнослужителей) и с расчетом на облатов (парвеню, неукорененных) или даже

156

на париев. Облат — полная антитеза брату короля. Получая все от государства (или, в другое время, от партии), облат дает все государству, которому он не может ничего противопоставить за неимением ни собственных интересов, ни сил. Пария — предельный случай облата, поскольку он может в любой момент быть отброшен государством в небытие, из которого его это государство извлекло щедрым жестом (как, например, во времена Третьей республики студенты, получившие стипендию от государства и облагодетельствованные системой образования).

Во Франции Филиппа Августа, так же как и в земледельческих империях, бюрократия набиралась среди нижних слоев *homini novi*. И, как мы уже могли заметить, французские короли постоянно Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

опирались на «фаворитов», которые — уже само слово на это указывает — выбирались случайным образом, чтобы противодействовать власти «грандов». Велась непрерывающаяся борьба между близкими короля (генеалогически) и приближенными фаворитами, которые пытались заменить первых в благорасположении государя.

«Екатерина Медичи ненавидит Эпернона и пытается всеми средствами подорвать его репутацию. Мария Медичи пытается сделать то же самое с Ришелье во время проведения "дня дураков". Гастон Орлеанский организовывал бесконечные заговоры против министра, которого он обвинял в тирании, поскольку он являлся преградой между королем и его семьей. Здесь двойной расчет: "фаворит", ставший "премьер-министром", должен быть богатым и влиятельным; его рассматривают как того, кто привлекает к себе клиентелу, которая иначе могла бы пойти пополнять ряды оппозиции. Баснословное богатство Эпернона, Мазарини и Ришелье давало им средства для проведения своей политики. Генрих Третий с помощью Эпернона и Жуайеза мог контролировать государственный аппарат, армию и некоторые провинции. Благодаря этим двум своим друзьям, он чувствовал себя почти королем Франции»²⁰.

²⁰ Constant J.-M. Op. cit. P. 223.

157

Роль париев можно понять только при условии учета двойственности технической компетенции — *technè* и специализации, составляющих основу власти виртуально автономной и потенциально опасной (Бернар Гене заметил, что вплоть до 1388 года функционеры гордились своей преданностью больше, чем компетентностью²¹) и предмет глубоко амбивалентного отношения во многих архаических обществах. Так, известно, что в земледельческих обществах ремесленник (*demiourgos*), особенно кузнец, а потом золотых дел мастер и оружейник были предметом представлений и толкований весьма двойственного характера, внушая одновременно страх и презрение, были «заклеймены». Владение специальностью — будь то металлургия или часто ассоциирующаяся с ней магия, финансы или при другом порядке воинские способности (наемники, янычары, элитные части армии, кондотьеры) — может наделить опасной властью. То же и в отношении писца: известно, что в Османской империи писцы (*katib*) пытались узурпировать власть, а семейства шейхов-уль-ислам стремились монополизировать религиозную власть. Писцы в Ассирии, обладая монополией на клинопись, сосредоточивали в своих руках большую власть. Их удаляли от двора, а когда хотели с ними советоваться, то приглашали небольшими группами по два-три человека, не давая возможности объединиться. Подобные беспокойные специальности часто выпадали на долю этнических групп, которые легко могли быть идентифицированы в культурном плане, т. е. стигматизированных, а потому не допускающихся к политике, власти над средствами насилия и почести. Эти специальности были оставлены на париев, которые позволяли группе и представителям ее официальных ценностей добиваться этих ценностей, официально отказываясь от них. Власть и даваемые ею привилегии, таким образом, оказываются замкнуты в силу логики их происхождения внутри стигматизированных групп, которые не имеют возможности воспользоваться ими в полной мере, а главное — получать от них политические дивиденды.

Держатели династической власти заинтересованы в том, чтобы опираться на группы, которые — как в случае

²¹ Guenée B. Op. cit. P. 230.

158

с меньшинствами, специализирующимися на профессиях, связанных с финансами, например, евреями, известными своими профессиональными умениями и способностями оказывать вполне конкретные услуги и доставлять определенные товары²², — должны быть или стать бессильными (в военном или политическом отношении), чтобы получить разрешение использовать средства, опасные в других, «плохих», руках. В такой перспективе — перспективе разделения властей и дворцовых войн — становится понятным переход от феодальной к наемной армии. Армия нанятых за вознаграждение является по отношению к войску «феодалов» или к «партии» тем же, чем чиновник или «фаворит» для братьев короля или членов королевского дома.

Принцип основного противоречия династического государства (между братьями и министрами короля) состоит в *конфликте двух способов воспроизводства*. Действительно, по мере становления династического государства и дифференциации поля власти (вначале король, епископы, монахи, шевалье, затем юристы — проводники римского права, за ними парламент, потом торговцы, банкиры, а затем и ученые²³), а также с началом разделения труда по господству, — упрочился *смешанный*, двойственный и даже *противоречивый характер* способа воспроизводства, действующего внутри поля власти. Династическое государство продлеvalo жизнь способу воспроизводства, основанному на наследовании, на идеологии крови и рождения и противоречащему способу воспроизводства, установленного им для государственной бюрократии и связанного с развитием образования, причем последнее само связано с рождением профессионального корпуса чиновников. Династическое государство стремилось сочетать два взаимоисключающих способа воспроизводства. Бюрократический, основанный на системе образования и, следовательно, на компетенции и заслугах, способ воспроизводства стремился подорвать династический, генеалогиче-

²² Gellner E. Nations et nationalisme. P.: Payot, 1989. P. 150.

²³ Duby G. Le Moyen Âge. Op. cit. P. 326.

159

ский в самих его устоях, в самом принципе его легитимации: кровь, рождение.

Переход от династического государства к бюрократическому неотделим от движения, которым новое дворянство, государственная знать (дворянство мантии) изгоняло старую знать, дворян по крови. Мимоходом заметим, что правящие круги были первыми, кого коснулся процесс, распространившийся много лет спустя на все общество: смена семейного способа воспроизводства (игнорирующая разрыв между общественным и частным) бюрократическим, включающим образовательную составляющую и

основанным на вмешательстве школы в процессы воспроизводства.

Династическая олигархия и новый способ воспроизводства

Главное состоит в том, что средневековая сеньория, династическое государство, согласно Марку Блоку, — это «территория, пользование которой организовано таким образом, что часть продукции отходит к единственной персоне», «одновременно главе и хозяину земли»²⁴. Династическое государство, несмотря на все, что оно может содержать бюрократического и безличного, остается ориентировано на королевскую персону. Государство концентрирует различные виды капитала, разные формы власти, а также материальные и символические ресурсы (деньги, почести, звания, милости и незаконные льготы) в руках короля, и тот может — посредством избирательного перераспределения — устанавливать и поддерживать отношения зависимости (клиента) или, сверх того, отношения личной признательности и таким образом упрочивать свою власть.

Так, например, собранные налоговой службой государства деньги постоянно перераспределялись между впол-

²⁴ Bloch M. Op. cit. P. 17.

160

не определенными категориями подданных (в частности, в виде денежного содержания военным или жалования сановникам, состоящим на должности штатским лицам, управляющим или судебным чиновникам). Происхождение государства неотделимо от генезиса группы людей, действующих с ним заодно, заинтересованных в его функционировании. (Здесь было бы уместным рассмотреть аналогию с церковью: власть церкви в действительности не измеряется, как считалось, числом празднующих Пасху, но числом тех, чей экономический и социальный фундамент социального существования и, в частности, доходы прямо или опосредованно связаны с церковью и кто в силу этого «заинтересован» в ее существовании.)

Государство — это прибыльное предприятие, прежде всего для самого короля, но также и для тех, кто получает от его щедрот. Борьба за формирование государства становится, таким образом, неотделимой от борьбы за присвоение прибылей, ассоциированных с государством (предельно широко такую борьбу иллюстрирует *welfare state*). Борьба за влияние вокруг власти, как показал Дени Крузе²⁵, ставит целью занятие центральных позиций, способных принести финансовые выгоды, в которых нуждаются дворяне для поддержки своего образа жизни (этим объясняется присоединение герцога Неверского к Генриху Второму или молодого Гиза к Генриху Четвертому, которое «стоило» 1200000 ливров для покрытия долгов его отца). Короче, династическое государство устанавливает *частное присвоение несколькими лицами общественных ресурсов*. Как личная связь феодального типа оказывается подчиненной контракту и дает место вознаграждениям не столько в виде земель, сколько в виде денег или власти, так же и «партии» борются между собой, особенно в рядах Королевского совета, за получение контроля над движением налогов.

²⁵ Crouzet D. La crise de l'aristocratie en France au XVI^e siècle // Histoire. Economie. Société. 1982. № 1.

161

Амбивалентность династического государства продлевается (в других формах она продолжает существовать и после его исчезновения), поскольку есть особые интересы и прибыли, связанные с присвоением публичного, всеобщего и с тем, что для подобной апроприации предоставляются постоянно обновляющиеся возможности. (Например, помимо структурных факторов существования коррупции, продажа должностей, после XIV века, и наследование должностей, по эдикту Поле 1604 года, учредившему передачу должностей в частную собственность, — участвуют в становлении «нового феодализма»²⁶.) Королевская власть должна была учредить комиссаров, чтобы восстановить свой контроль над администрацией²⁷.

Идеальным, с точки зрения короля (и центральной власти в целом), было бы концентрировать и перераспределять *всю совокупность* ресурсов, таким образом полностью владея процессом производства символического капитала. Действительно, вследствие разделения труда по доминированию всегда возникают потери: слуги государства постоянно стремятся послужить *непосредственно* самим себе (вместо того, чтобы дожидаться перераспределения), практикуя изъятия и расхищение материальных и символических ресурсов. Отсюда, настоящая *структурная коррупция*, как показывает Пьер-Этьен Виль, является в основном делом управляющих среднего уровня. Кроме «упорядоченных неупорядоченных», т. е. вымогательств для оплаты личных и профессиональных расходов, где сложно определить, идет ли речь о «институционализированной коррупции» или о «неофициальном финансировании расходов», существует масса привилегий, которые подчиненные должностные лица могут извлечь из своего стратегического положения в системе циркуляции информации сверху вниз и снизу вверх. Так, они могут продать

²⁶ Tapié V. La France de Louis XIII et Richelieu. P.: Flammarion, 1980 P. 64.

²⁷ Olivier-Martin F. Histoire du droit français, dès origines à la révolution. P.: Éd. de CNRS, 1996. P. 344.

162

имеющуюся в их распоряжении жизненно важную информацию высшим чиновникам или не захотеть ее сообщить; передать ее исключительно против удовлетворения своего ходатайства, а могут отказаться передать приказ²⁸. В общем виде, обладатели делегированной власти могут извлекать разного рода Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

прибыли из своего промежуточного положения. В соответствии с логикой прав и привилегий²⁹ прохождение любого акта или административного дела может быть заблокировано, затянуто по времени или, напротив, облегчено и ускорено (против определенной денежной суммы). Порой подчиненный имеет преимущество перед более высокими инстанциями (особенно перед контрольными инстанциями): он ближе к «земле», и, когда он «прочно» сидит на своем посту, начинает составлять часть местного общества. (Жан-Жак Лаффон предложил формальные модели «контроля» (*supervision*), рассматриваемого им в свете теории договора как игра с тремя персонажами: предприниматель, мастер (*Supervisor*), рабочие³⁰. Несмотря на то, что модель хорошо представляет стратегическое положение *Supervisor*, который может угрожать рабочим тем, что «информирует» хозяина, «скажет кто виноват в снижении результатов» или скроет от него правду, — эта модель остается нереалистической. Она игнорирует, в частности, как диспозиционные эффекты, так и принуждения бюрократического поля, налагающего определенную цензуру на эгоистические наклонности.)

Иными словами, коррупцию можно описать как утечку в процессе накопления и концентрации государственного капитала, как действия прямого изъятия и перераспределения, дающие возможность скопить экономический

²⁸ Will P.-E. *Bureaucratie officielle et bureaucratie réelle. Sur quelques dilemmes de l'administration impériale à l'époque des Qing // Etudes chinoises. Vol. VIII. № 1. 1989. P. 69-141.*

²⁹ Bourdieu P. *Droit et passe-droit: Le champ des pouvoirs territoriaux et la mise en œuvre des règlements // Actes de la recherche en sciences sociales. № 81-82. 1990. P. 86-96.*

³⁰ Laffont J.-J. *Hidden Gaming in Hierarchies: Facts and Models // The Economic Record. 1989. P. 295-306.*

163

и символический капитал на должностях чиновников, не занимающих самого высокого положения (проконсулы и феодальные сеньоры, выступающие «королями» на своем уровне), которые поэтому препятствовали или тормозили переход от феодализма к империи, стимулируя регресс от империи к феодализму.

Логика процесса бюрократизации

Итак, первоначальное утверждение различия общественного и частного было сформировано в сфере власти. Оно привело к становлению собственно политического порядка публичной власти, обладающего собственной логикой (государственный интерес), самостоятельными ценностями, своим языком, специфическим и отличающимся как от «домашнего» (королевского), так и от частного. Это различие в дальнейшем распространилось на всю социальную жизнь, но начаться оно, некоторым образом, должно было с короля, в голове короля и его окружения, где все заставляет путать — по какому-то институциональному нарциссизму — ресурсы и интересы институции с ресурсами и интересами личности. Формула «Государство — это я» выражает прежде всего неразличение общественного и частного порядков — принцип, которым определяется династическое государство и в борьбе с которым должно формироваться государство бюрократическое, предполагающее отделение позиции от занимающей ее персоны, функции от функционера, общественного интереса от частного и особенного, и наделяющее чиновника доблестью бескорыстия. Королевский двор — пространство одновременно публичное и приватное. Его можно описать как конфискацию социального и символического капитала в пользу одной персоны, как монополизацию публичного пространства. Наследование является в некотором роде перманентным государственным переворотом, по которому личность присваивает себе общественную вещь. Это — обращение на пользу одной персоне собственности и прибылей, связан-

164

ных с функцией (оно может принимать различные формы: наиболее наглядным образом в династический период; более скрыто, но все же может существовать и в последующие периоды, например, когда президент республики узурпирует монархические атрибуты или, уже в ином ключе, когда профессор — о котором писал М. Вебер — воображает себя «маленьким пророком на государственном содержании»). Личная власть — которая может не иметь ничего общего с абсолютной — есть частное присвоение общественной власти, частное отправление этой власти.

Процесс разрыва с династическим государством принимает вид разложения на *imperium* (публичная власть) и *dominlum* (личная власть); на публичное пространство, форум, агору, место сплочения собравшегося вместе народа, и дворец (для древних греков, например, отсутствие агоры было главным показателем варварства).

Концентрация политических средств сопровождалась политической экспроприацией личной власти: «Становление современного государства повсюду начиналось с желания правителя экспроприировать личные властные привилегии, которыми — с его стороны — располагала административная власть, т. е. привилегии всех тех, кто является собственниками средств управления, средств ведения войны, финансовых средств и всех других видов благ, допускающих политическое использование»³¹.

В более общем виде, «дефеодализация» подразумевает разрыв между «естественными» связями (родством) и процессами «естественного», т. е. непосредственными недомашней инстанцией, воспроизводства королевской власти, бюрократии, института образования и т. д. Государство является по сути *antiphysis*: оно устанавливает (дворянин, наследник, судья...), оно называет, оно неразрывно связано с институцией, конституцией, номосом — *nômo (ex instituto)* — по противоположности с *phusei*.

Оно формируется и через учреждение специфической законности, которая — с точки зрения этноса — требует разрыва со вся-

³¹ Weber M. *Le savant et le politique*. P.: Plon, 1959. P. 120-121.

165

кого рода приверженностью, ведущей происхождение от касты, семьи и т. п. Все это ставит государство в положение, несовместимое со специфической логикой семьи, которая — сколь бы ни была произвольной — является самой «натуральной» (кровь и прочее) и натурализуемой из всех социальных институтов.

Процесс «дефеодализации» государства сопровождается развитием специфического способа воспроизводства, придающим большое значение школьному образованию. (В Китае чиновник должен был получить специальное образование и быть полностью чуждым частным интересам.) Университеты в Европе появляются в XII веке, но развиваться начинают в XIV под натиском правителей. Университеты стали играть существенную роль в формировании служителей государства: и светских, и религиозных. Вообще говоря, генезис государства нераздельно связан с настоящим культурным преобразованием. На Западе, начиная с XII века, нищенствующие монашеские ордена, распространившиеся в городах, открывают светским лицам широкий доступ к литературе, прежде предназначенной исключительно для высокообразованных священников. Таким образом начался процесс обучения, значительно ускорившийся с основанием городских школ и изобретением типографий в XV—XVI веках.

С развитием образования связана смена системы *наследования* должности системой *назначений*, осуществляемых представителями государственной власти, и, как следствие, — клерикализация дворянства (особенно ошутимая в Японии). Англия, — как отмечал Марк Блок, — стала унифицированным государством прежде всех континентальных королевств, поскольку *государственная служба* там не отождествлялась полностью с родовыми землями. Очень рано там появляются *directly appointed royal officials* — ненаследуемые должности *sheriffs*. Престол противится феодальной раздробленности, внедряя в управление промежуточное звено — служащих, выбираемых среди местных, но назначаемых и снимаемых самой Коронай (Кориган и Сейер датируют переход от «*house-*

166

hold» к бюрократическим формам правления примерно 1530 годом). Параллельно происходит «демилитаризация» дворянства: «*Most of the landowning class was, during the Tudor epoch, turning away from its traditional training in arms to an education at the universities or the Inn of Court*»³². В армии, которая становится прерогативой государства, также происходит переход «*from private magnates commanding his own servants to lord lieutenant, acting under royal commission*»³³.

Как феодалы преобразуются в служащих на содержании короля, так и *Curia regis* превращается в настоящую администрацию. В XI и XIII веках от *Curia regis* отделяются Парижский парламент и Счетная палата, затем, в XV веке, — Большой совет; процесс завершается в середине XVII века с формированием правительственных Советов (заседающих в присутствии короля и канцлера) и Советов управления и правосудия³⁴. (Но процесс номинальной дифференциации: Узкий совет; Совет по делам; Тайный совет, называемый после 1643 года Верхним советом; Почтовый совет, созданный около 1650 года; Финансовый совет; Торговый совет, действующий с 1730 года — скрывает за собой глубокую взаимосвязь вещей.)

Феодальное правление персонально (оно обеспечивается группой людей, окружающих суверена: баронами, епископами и простолюдинами, на которых может полагаться король). С середины XII века английские монархи начинают привлекать к правлению священников, но развитие *Common Law* в Англии и римского права на континенте изменяют ситуацию в пользу светских лиц. Появля-

³² «Большинство землевладельцев в эпоху Тюдоров отвернулись от традиционной службы в армии, предпочитая получить образование в университетах или войти в юридическую корпорацию» (*Williams P. The Tudor Regime*. Clarendon, 1979. P. 241).

³³ «От частных вельмож, командующих своими подданными, к лорду-лейтенанту, действующему по назначению короля» (*Corrigan Ph., Sayer D. The Great Arch: English State Formation as Cultural Revolution*. Oxford: Basil Blakwell, 1985. P. 63).

³⁴ *Goubert P. Ancien Régime*. P.: Armand Colin, 1973. T. 2. P. 47.

167

ется новая группа, состоящая из тех, кто получил свое положение благодаря профессиональной компетенции, а следовательно, государству и его культуре — чиновники.

Становится, таким образом, понятна главенствующая роль служащих, чье восхождение сопровождает становление государства и о которых можно сказать, что они создают государство, их создающее, или что они творят себя, создавая государство. С момента своего возникновения они неразрывно связаны с государством в силу способа своего воспроизводства. Жорж Дюби указывал, что с XI века «высшая и средняя бюрократия почти целиком вышла из колледжа»³⁵. Постепенно они основывают собственные специфические институты, наиболее типичным из которых является Парламент, хранитель закона (в частности, гражданского права, которое со второй половины XII века начинает автономизироваться относительно канонического права). Обладая такими специфическими, отвечающими потребностям управления ресурсами, как письмо и право, чиновники очень рано обеспечивают себе монополию на наиболее типично государственные ресурсы. Их вмешательство несомненно способствует рационализации власти. Прежде всего, — как пишет Ж. Дюби, — они вносят строгость в отправление

власти, оформляя судебные решения и ведя реестр³⁶; затем они вводят в действие типичный для канонического права способ мышления и схоластическую логику, на которой это право покоится (например, «различие», «постановка под вопрос», борьба аргументов «за» и «против»; или практика *inquisitio* — рациональное расследование, заменившее испытание доказательством и завершающееся письменным заключением). Наконец, они строят идею государства по модели церкви в трактатах о власти, ссылаясь при этом на Священное писание, Книгу царств, святого Августина, но еще и на Аристотеля. Королевство понимается ими как магистратура, а тот, кто получает его в наследство, — избран-

³⁵ *Duby G. Le Moyen Âge. Op. cit. P. 326.*

³⁶ *Ibid. P. 211.*

168

ник божий, но должен при этом показать себя хорошим хранителем *res publica*; он должен считаться с природой и быть разумным. Продолжая следовать мысли Жоржа Дюби³⁷, можно рассмотреть вклад чиновников в формирование рационального бюрократического габитуса. Так, они возводят в доблесть *осторожность*: нужно владеть собой и эмоциональными порывами, действовать здраво, как подсказывает разум и чувство меры; а также *учтивость* — инструмент социальной регуляции. (В отличие от Элиаса, видящего в государстве основу «цивилизации», Дюби справедливо считает, что клерикальное изобретение — учтивость внесла свой вклад в изобретение государства, способствующего распространению куртуазности. То же и в отношении *sapientia* — общей склонности к мудрости, касающейся всех сторон жизни.)

Государство есть *fictio juris* — выдумка юристов, участвовавших в производстве государства, создавая теорию государства, перформативный дискурс об общем деле. Созданная ими политическая философия является не дескриптивной, а продуктивной и предсказательной относительно своего объекта. Исследователи, изучающие труды юристов, от Гуичардини (одним из первых введшим в научный оборот термин «государственный интерес») или Джовани Ботеро до Луазо или Бодена, просто как теории государства, отказываются замечать собственно *созидательный* вклад юридической мысли в зарождение государственных институтов³⁸. Юрист — хозяин общего социального ресурса слов и понятий — предлагает средства осмысления реальностей ранее непомысленных (например, понятие *corporatio*), раскрывает целый арсенал организационных приемов, моделей действия (часто заимствованных из церковных традиций, но подвергнутых секуляризации), капитал решений и прецедентов. (Сара Хенли³⁹

³⁷ *Duby G. Le Moyen Âge. Op. cit. P. 222.*

³⁸ *Skinner Q. The Foundations of Modern Political Thought. L.; N. Y.: Cambridge University Press, 1978.*

³⁹ *Hanley S. Le «lit de justice» des Rois de France. P.: Auber, 1991.*

169

показала, как между юридической теорией и королевской или парламентской практикой происходят постоянные взаимобмены.) Следовательно, нельзя довольствоваться тем, чтобы брать из анализируемой реальности концепты (например, суверенитет, государственный переворот и т. п.), которые предполагается использовать для объяснения той самой реальности, чьей составной частью они являются и в создании которой принимали участие. Для правильного понимания политических текстов, являющихся не простыми теоретическими описаниями, но практическими предписаниями, имеющими целью породить новый тип социальной практики путем придания ей смысла и причины существования, — нужно заново поместить произведения и авторов в контекст предприятия по конструированию государства, реконструировать их диалектическую связь. Нужно найти место авторов в нарождающемся юридическом поле, а также в более широком пространстве, поскольку их позиция относительно других юристов и центральной власти может лежать в основании их теоретической конструкции.

Чтение книги Уильяма Фара Черча⁴⁰ позволяет предположить, что взгляды «законников» различались в зависимости от дистанции, отделяющей их от центральной власти. Так, «абсолютистский» дискурс был в большей степени делом юристов, непосредственно участвующих в центральной власти, которые устанавливали четкое деление между королем и подданными и устраняли все отсылки к промежуточным инстанциям власти, таким, как, например, Генеральные штаты; в то же время парламентарии занимали более неопределенную двойственную позицию.

Все заставляет предполагать, что тексты, с чьей помощью юристы пытались навязать свое видение государства и, в частности, идею «общественной пользы» (которую сами

⁴⁰ *Church W. Farr. Constitutional Thought in Sixteenth Century France: A Study in the Evolution of Ideas. Cambridge: Harvard University Press, 1989.*

170

они и изобрели), являются в то же время стратегиями, посредством которых юристы стремятся заставить признать свое присутствие, утверждая присутствие «государственной службы», часть которой они составляют. (Взять хотя бы положение третьего сословия в Генеральных штатах 1614-1615 годов или политику Парижского парламента, особенно в период Фронды, в отношении изменения иерархии сословий и признания судейского сословия, «дворян пера и чернил», как первого сословия, поместив при этом в первый ранг не военную, но гражданскую службу государству. Можно вспомнить о борьбе короля и парламента внутри формирующегося поля власти — инстанции, которая по мысли одних была призвана легитимировать королевскую власть, а по мнению других — ограничить ее, откуда и

выражение «ложе правосудия»*) Короче, нет сомнений в том, что принимавшие самое явное участие в продвижении разума и универсальности, имели наиболее явно выраженную заинтересованность в универсальном, — так что можно сказать, что у них был частный интерес к общественному интересу⁴¹.

Недостаточно просто описать логику такого процесса неоспоримого преобразования, завершившегося возникновением не имеющей исторических прецедентов социальной реальности, которой является современная бюрократия, т. е. относительно автономного административного поля, независимого от политики (отрицание) и экономики (бескорыстие) и подчиняющегося специфической логике «публичного». Нужно перестать довольствоваться неким интуитивным полупониманием, которое дает знакомство с конечным состоянием, и попробовать заново схватить глубинный смысл ряда чрезвычайно малых, но

* *Lit de justice* (фр., ист.) — место под балдахином, где располагался король во время проведения торжественных заседаний парламента (Примеч. перев.).

⁴¹ О долгой истории восхождения чиновников и постепенной монополизации государственного капитала государственной знатью см.: *Bourdieu P. La Noblesse d'État: grandes écoles et esprit de corps*. P.: Minuit, 1989. P. 531-559.

171

решающих изобретений: кабинет, подпись, печать, постановление о назначении, удостоверение, аттестация, реестр и регистрация, циркуляр и т. п., — всего того, что привело к установлению собственно бюрократической логики, власти безличной, взаимозаменяемой и с виду совершенно «рациональной», а на деле наделенной самыми загадочными свойствами магической эффективности.

Круг отрицания и генезис административного поля

Постепенное разделение династической (братья короля) и бюрократической властей происходило посредством дифференциации власти и, более конкретно, через удлинение цепи делегирования властных полномочий и ответственности. Если воспользоваться формулой, то можно сказать, что государство (безличное) стало разменной монетой абсолютизма, а король растворился в безличной сети долгого ряда доверителей и лиц, наделенных полномочиями, отвечающих перед вышестоящим лицом, от которого они получают свои полномочия и власть, но за которого они — в определенной мере — тоже несут ответственность; а приказы, исходящие от него, они ратифицируют и контролируют в процессе их выполнения.

Чтобы понять то необычное, что может содержать переход от власти персонализированной к власти бюрократической, нужно снова вернуться к типичному моменту в долгом переходном периоде от династического принципа к юридическому, когда происходило постепенное расхождение между «домом» и бюрократией (называемой в английской традиции «кабинетом»), т. е. между *«great offices»*, наследуемыми и политически незначимыми, и кабинетом, ненаследуемым, но наделенными властью над печатью (*seals*). (Это чрезвычайно сложное движение, с продвижением вперед и отступлениями, ритм которого для агентов зависит от интереса к их позиции и от бесчисленных препятствий, вызванных мыслительными привычками и бессознательными предрасположенностями. Так, по сло-

172

вам Жака Ле Гоффа, бюрократия сначала мыслилась по семейной модели; случалось, что министры короля, приверженные династическим взглядам, пытались добиться передачи своих должностей по наследству.)

Ф. У. Мейтланд рассматривает эволюцию практики использования королевской печати⁴². Со времен норманнов королевские повеления оформлялись актами, хартиями, грамотами, закрытыми и запечатанными королевской печатью, гарантирующей их подлинность. Большая государственная печать (*great seal*) доверялась канцлеру (*chancellor*) — главе всего секретариата. В конце средних веков и на протяжении всего правления Тюдоров канцлером был первый министр короля. Со временем стали появляться и другие печати. Поскольку канцлер пользовался печатью очень часто и в самых различных случаях, то стали использовать малую государственную печать (*privy seal*) в делах, касающихся непосредственно короля. С малой государственной печатью король отдавал указания канцлеру относительно использования большой. С этого момента последняя печать доверялась хранителю «службы» — *keeper of the privy seal*. По прошествии некоторого времени еще более личный секретарь появляется между королем и его старшими государственными служащими: *king's clerk* или *king's secretary*, который хранил королевскую печать (*king's signet*). Во времена Тюдоров два королевских секретаря стали назначаться *государственными секретарями*. С этого момента подписание документов превратилось в шаблонную процедуру: документ, подписанный рукой короля — *royal sign manual*, скреплялся подписью государственного секретаря (хранителя *king's signet*) и, в качестве указания выпустить данный документ за малой государственной печатью, отправлялся *keeper of the privy seal*, чтобы затем поступить к канцлеру, снова в форме директивы, выпустить документ с большой государственной печатью королевства. Подобная процедура была

⁴² *Maitland F. W. Constitutional History of England*. Cambridge: Cambridge University Press, 1948. P. 202-203.

173

призвана повысить ответственность министров за действия короля: ни один акт не имел юридического значения, если он не был скреплен большой или, по крайней мере, малой государственной Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

печатью, которая подтверждала, что такой-то министр «сим обязуется исполнить королевскую волю». Этим объясняется то внимание, которое министры уделяли соблюдению формальной процедуры: они боялись обращения к ним с запросом относительно какого-либо королевского акта и того, что они будут неспособны доказать его подлинность. Канцлер боялся ставить большую печать, если на документе не стояла малая печать в качестве гарантии; хранитель малой печати обращал внимание на то, чтобы собственноручная подпись короля была заверена секретарем. Король находил определенные преимущества в такой процедуре. Он перекладывал на министров заботу о королевских интересах и о состоянии своих дел; они следили, чтобы короля не ввели в заблуждение или не злоупотребили его доверием. Он действовал с гарантией, но под контролем своих министров, чья *ответственность* была зафиксирована королевскими актами, гарантами которых выступали сами министры. (В правление Елизаветы Первой устный приказ стал недостаточным основанием, чтобы получить сумму на расходы, и королевское поручение должно было иметь большую или малую печать, которые были не просто символами соблюдения церемонии, как скипетр или корона, но настоящими инструментами правления.)

Через анализ удлинения цепочки «власть—ответственность» можно проследить, каким образом в недрах самих иерархических отношений зарождался действительный общественный порядок, основанный на определенной взаимности. Исполнитель в одно и то же время был под контролем и под защитой руководителя, в частности, от злоупотребления и своеволия властей. Все происходило так, как если бы по мере возрастания властных полномочий руководителя росла бы его зависимость по отношению ко всей сети исполнителей. В каком-то отношении свобода и ответственность каждого сокращалась вплоть до полного

174

исчезновения «на просторах поля». Однако в других моментах она возрастала по мере того, как агент был вынужден брать на себя ответственное решение под прикрытием и под контролем всех других действующих в поле агентов. Действительно, по мере дифференциации поля власти каждое звено цепочки является само по себе точкой (вершиной) в поле. (Можно наблюдать рост дифференциации поля власти одновременно со становлением бюрократического поля — государства — как метаполя, которое определяет правила, управляющие разными полями, и на этом основании является целью борьбы между доминирующими в различных полях.)

Удлинение цепочек делегирования и развитие сложной структуры власти не влечет за собой автоматического отмирания механизмов, обеспечивающих частное присвоение экономического и символического капитала (и все виды структурной коррупции). И напротив, можно было бы сказать, что возможности для расхищения (путем непосредственного изъятия) увеличиваются, централизованное наследование может сосуществовать с локальным (базирующемся на семейных интересах функционеров или на корпоративной солидарности). Отделение функции от персоны происходит медленно, как если бы бюрократическое поле постоянно разрывалось между династическим (персональным) принципом и юридическим (или безличным).

«То, что мы называем "общественной функцией", так долго было срощено со своим носителем, что невозможно проследить историю того или иного совета или поста, не описывая при этом индивидов, руководящих данным советом или занимавших данный пост. Именно личность придавала ранне второстепенной должности исключительную значимость или, наоборот, переводила на второй план прежде важную — в силу личности ее исполнявшей — функцию <...> Человек творил функцию в масштабах, какие сегодня немислимы»⁴³.

⁴³ Richet D. La France moderne: L'esprit des institutions. P.: Flammarion, 1973. P. 79-80.

175

Ничего нет более сомнительного и более неправдоподобного, чем создание в теории — в работах интересующихся вопросом юристов, выступающих одновременно судьями и ответчиками, и на практике — благодаря неощутимому прогрессу разделения труда по господству — общего дела, общественного блага и, особенно, структурных условий (связанных с появлением бюрократического поля) разделения общественных и личных интересов или, говоря яснее, принесения в жертву эгоистических интересов, отказа от личного использования общественной власти. Парадокс состоит в том, что непростой генезис общественного порядка неотделим от появления и накопления *общественного капитала* и возникновения бюрократического поля как поля борьбы за контроль над этим капиталом и соответствующей властью, а значит — борьбы за власть перераспределять общественные ресурсы и связанные с ними прибыли. Как показал Дени Рише, государственная знать, утвердившаяся во Франции в конце XVI — начале XVII века, чье правление не прерывалось революцией (скорее наоборот), основывала свое господство на том, что Эммануил Ле Руа Ладюри назвал «фискальным капитализмом», а также на монополизации высших постов, приносящих высокие прибыли⁴⁴. Бюрократическое поле постепенно одержало победу над логикой наследования династического государства, которое подчиняло интересам суверена материальные и символические прибыли с капитала, сконцентрированного государством. Это поле стало местом борьбы за власть над государственным капиталом, над материальными (жалование, материальные выгоды) и символическими (почести, звания и т. д.) прибылями, доставляемым им. В эту борьбу реально могло включаться только меньшинство правообладателей, обозначенных посредством квазинаследственного обладания образовательным капиталом. Следует детально проанализировать

⁴⁴ Richet D. Elite et noblesse: la formation des grands serviteurs de l'État — fin XVI — début XVII siècle // Acta Polonae Historica. 1977. Vol. 36. P. 47-63.

Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

176

зирать такой двусторонний процесс, который породил государство и который является нераздельно универсализацией и монополизацией всеобщего.

Перевод с французского Н. А. Шматко

КРИТИКА

Лоик Ж. Д. Вакан. ДЮРКГЕЙМ И БУРДЬЕ: ОБЩЕЕ ОСНОВАНИЕ И ТРЕЩИНЫ В НЕМ*

Поскольку у нас нет возможности провести систематическое сравнение социологии Бурдьё с мыслью Дюркгейма, что потребовало бы целой историко-аналитической монографии, реконструирующей двойную — социальную и интеллектуальную — цепь многочисленных зависимостей, которая связывает их друг с другом и с их окружением, нам хотелось бы, в качестве пробного исследования, выявить четыре опоры, поддерживающие их общее основание: непримиримую приверженность рационализму, отказ от чистой теории и упорную защиту единства социальной науки, отношение к историческому измерению и к исторической дисциплине и, наконец, обращение к этнологии как к предпочтительному средству «косвенного экспериментирования».

Конечно, мы прекрасно сознаем, что подобное начинание легко может принять школьный характер и обернуться двумя в равной степени редуцирующими сторонами: первая состоит в том, чтобы механически *вывести* Бурдьё из Дюркгейма, низведя его тем самым до уровня перевоплощения, а вторая — в том, чтобы *спроецировать* идеи первого на творчество второго с целью показать их интел-

* *Wacquant L. J. D. Durkheim et Bourdieu: le socle commun et ses fissures // Critique. 1995. № 579/580. P. 646-660.*

© *Wacquant L.J.D., 1995*

180

лектуальное достоинство. Однако наш замысел состоит в том, чтобы выявить некоторые отличительные черты французской школы социологии, которая продолжает развиваться и обогащаться за счет порой неожиданных метаморфоз.

Отнюдь не стремясь свести социологию Бурдьё к вариации на дюркгеймовскую тему¹, мы предполагаем, что Бурдьё, твердо опираясь на эти принципы, каждому из них сообщает особый поворот, который позволяет поддерживать научное здание оригинальной архитектуры, одновременно очень похожей и сильно отличающейся от архитектуры родного дюркгеймовского дома. Иными словами, Пьер Бурдьё является его наследником, который, в отличие, например, от Марселя Мосса, сумел, словно интеллектуальный дзюдоист, воспользоваться накопленным Дюркгеймом научным капиталом, чтобы перекинуть себя дальше своего величественного предшественника.

Passio sciendi, или Рационалистическая вера в действии

Прежде всего, Бурдьё разделяет с Дюркгеймом рационалистическую философию познания как методическое применение разума и эмпирического наблюдения к социальному миру — применение, требующее, с одной стороны, постоянного недоверия по отношению к обыденной мысли и иллюзиям, которые она непрерывно порождает, а с другой — непрерывных усилий (де/ре)конструкции, единственно способной извлечь из тесного переплетения реального «внутренние причины и скрытые безличные силы, кото-

¹ П. Бурдьё предостерегал против этого «классификаторского функционирования академической мысли» (*Bourdieu P. Choses dites. P.: Minuit, 1987. P. 38*), которое пользуется теоретическими ярлыками как орудием интеллектуального терроризма (когда «X— дюркгеймианец» означает «X — вульгарный дюркгеймианец» или даже «X уже весь содержится в Дюркгейме»). То же самое можно сказать об отношениях П. Бурдьё с К. Марксом, М. Вебером, Э. Гуссерлем, М. Мерло-Понти или Л. Витгенштейном.

181

рые движут индивидами и коллективами»². Можно сказать даже, что наши авторы питают одну *научную страсть* — неудержимую любовь к науке и веру в ее ценность и социальное предназначение, которую они выражают с тем большей силой, чем больше их подвергают критике.

Мы помним, что явная цель Дюркгейма, начиная с его первых работ, состояла в «распространении на человеческое поведение научного рационализма», который доказал себя в исследовании мира природы. «То, что называли нашим позитивизмом, — заявляет он в обстоятельном ответе своим критикам, предваряющем второе издание «Метода социологии», — есть лишь следствие этого рационализма»³. Точно так же Бурдьё с уверенностью заявляет о единстве научного метода и принадлежности социологии к большой семье наук:

«Как и всякая наука, социология принимает принцип детерминизма, понятый как одна из форм принципа достаточного основания. Наука, которая должна *прояснить основания* того, что есть, постулирует тем самым, что все имеет свои основания. Социолог добавляет — *социальные*: все имеет собственно социальные основания»⁴.

Бурдьё в отношении труда социолога сам обладает тем «абсолютным убеждением», которое он приписывает Флоберу в отношении писательского труда. В отличие от многих своих современников, полностью перешедших в «постмодернистский» лагерь ниспровержения (и даже осмеяния) разума, —

связанная с этим международная мода недавно оживила характерную французскую черту, состоящую в экспорте фирменных концептов, — Бурдьё остается верен «делу науки, которое более чем когда-либо является делом *Aufklärung*, демистификации»⁵.

² Durkheim É. *Sociology* // Emile Durkheim: *Essays on Sociology and Philosophy*/Ed. by K. H. Woff. N.Y.: Harper&Row, 1964. P. 373.

³ Durkheim É. *Les Règles de la méthode sociologique*. P.: PUF, 1981. P. IX.

⁴ Bourdieu P. *Questions de sociologie*. P.: Minuit, 1980. P. 44.

⁵ Bourdieu P. *Leçon sur la leçon*. P.: Minuit, 1982. P. 32. Об этом см. также: Bourdieu P. *Raisons pratiques*. P.: Seuil, 1994 (особенно главы Об интерпретации дюркгеймианства как «социологизированного кантианства» см.: Lacapra D. *Emile Durkheim: Sociologist and Philosopher*. Ithaca: Cornell University Press, 1972. О кантианском прочтении Бурдьё см.: Harrison P. R. *Bourdieu and the possibility of a postmodern sociology* // *Thesis Eleven*. Vol. 35. 1993. P. 36-50.

182

Помимо национальной любви к «ясным идеям», идущей от Декарта, Дюркгейм и Бурдьё унаследовали рационалистическую веру от своих учителей философии и ту неокантианскую атмосферу, которая окутывала их интеллектуальную молодость. Именно благодаря общению с Эмилем Бутру, который открывал для него Конта, с Шарлем Ренувье, которого он считает «самым великим рационалистом нашего времени», и со своим влюбленным в эпистемологию бордоским коллегой Октавом Амеленом (которого он шутливо называл «строгим любовником здравого смысла») Дюркгейм направил свои размышления по кантовскому пути. Рационализм же Бурдьё коренится в неустанном освоении той «философии понятия» (связанной с именами Жоржа Кангильема и Гастона Башляра, чьим учеником он был), которая дает пристанище и спасение от «философии субъекта», господствовавшей во французском интеллектуальном поле во время его ученичества, но он коренится также и в немецкой философской традиции «символических форм», представленной Эрнстом Кассирером (Бурдьё организовал в издательстве «Minuit» перевод основных произведений Кассирера и одним из первых отметил его близость к теории Дюркгейма)⁶. Причина, по которой оба они с разрывом в век испытали глубокое влияние кантианства, в том, что — как отмечал Дюркгейм после возвращения из исследовательской поездки за Рейн, «из всех философий, которые рождены Германией, [именно] оно, будучи умело истолковано, до сих пор наиболее совместимо с требованиями науки»⁷.

третью и седьмую), и вступительную статью «*La cause de la science*», которой П. Бурдьё открывает номер журнала «*Actes de la recherche en sciences sociales*», посвященный социальной истории социальных наук (*Actes de la recherche en sciences sociales*. 1995. № 106-107. P. 3-10).

⁶ См.: Bourdieu P. *Sur le pouvoir symbolique* // *Annales ESC*. Vol. 32. № 3. 1977. P. 405-406; Bourdieu P. *Choses dites*. P.: Minuit, 1984. P. 13-15, 53-54; Bourdieu P., Passeron J.-C. *Sociology and philosophy in France since 1945: death and resurrection of a philosophy without subject* // *Social Research*. Vol. 34. № 1. 1968. P. 162-212.

⁷ Durkheim É. *L'enseignement de la philosophie dans les universités allemandes*//*Revue internationale de l'enseignement*. 1887. № 13. P. 330.

183

Непримиримый «эмпирический рационализм», вдохновляющий социологию Дюркгейма и Бурдьё, разворачивается и утверждается в *научной практике* в большей степени, нежели в эпистемологических заявлениях — даже если оба они в молодости и создавали манифесты методологического характера. Утверждаются и доказываются эти постулаты именно в «актах исследования в социальных науках» («*Actes de la recherche en sciences sociales*»), если воспользоваться отнюдь не нейтральным названием журнала, основанного Бурдьё в 1975 г. Таковы понятия «непрозрачности» социального мира и приоритет, отдаваемый проблематизации обыденного отношения к социальному миру: «строгая наука предполагает решительный разрыв с очевидностями» и не должна бояться «загрязнить здравый смысл»⁸.

Однако если Дюркгейм ограничивается уничтожением *praenotiones vulgares*, которые являются препятствием для социологии, Бурдьё стремится включить их в более широкую концепцию объективности, которая отводит практическим категориям и практической компетенции агентов роль решающего посредника между «системой объективных регулярностей» и пространством «наблюдаемого поведения». «Методологический объективизм — неизбежный, но остающийся абстрактным, требует своего преодоления»⁹, в противном случае социология может напороться на рифы реализма структуры или увязнуть в механистических объяснениях, не способных понять практическую

⁸ Первая цитата принадлежит Бурдьё (*Bourdieu P. Leçon sur la leçon*. P.: Minuit, 1982. P. 29), вторая — Дюркгейму (*Durkheim É. Le Suicide: Étude de sociologie*. P.: PUF, 1930. P. 349).

⁹ Bourdieu P. et al. *Un art moyen*. P.: Minuit, 1965. P. 22. См. также: Bourdieu P. *The Three Forms of Theoretical Knowledge* // *Social Science Information*. 1973. № 12. P. 53-80; Bourdieu P. *Le Sens pratique*. P.: Minuit, 1980. Livre 1.

184

логику, управляющую поведением. И как раз против неокантианской традиции и ее видения мыслящего трансцендентального субъекта Бурдьё вводит понятие габитуса, призванное вернуть социализированному телу его функцию активного конструктора реального.

Безличная, неделимая и не-уместная наука

Как для Бурдьё, так и для Дюркгейма социальная наука — вещь в высшей степени серьезная, даже суровая, поскольку она значительно «нагружена» историей. Ее практика включает в себя строгую научную этику, которая определяется тройным отказом.

Прежде всего, это *отказ от земных соблазнов*, к которым Бурдьё добавляет, причем более основательно, чем Дюркгейм, осуждение легкости интеллектуального и политического профетизма. Согласно теоретику аномии, социология должна безусловно «отказаться от светского успеха» и «принять эзотерический характер, подобающей всякой науке». Бурдьё идет дальше: специфическая трудность, заключающаяся для науки об обществе в ее стремлении установить свой авторитет, проистекает из того, что она по существу является эзотерической дисциплиной, но производит впечатление экзотерической, связанной с «обыденным»¹⁰. Это делает социологию полей культурного производства и распространения его продуктов не просто одной из глав в ряду других, но необходимым орудием социологической эпистемологии и морали. Кроме того, Бурдьё утверждает, что анализ исторического процесса, посредством которого научный универсум освободился, хотя и не полностью, от груза истории, позволяет укрепить социальные основы рационалистической позиции, которую предполагает и одновременно производит вступление в этот универсум".

¹⁰ Durkheim É. Les Règles de la méthode sociologique... P. 144 ; Bourdieu P. Leçon sur la leçon... P. 25.

¹¹ Bourdieu P. The peculiar history of scientific reason // Sociological Forum. Vol. 5. № 2. 1991. P. 3-26.

185

Несмотря на то, что социология должна избегать всякой сделки с миром, она не должна от него отстраняться. Бурдьё полностью принимает формулу Дюркгейма, согласно которой социология «не стоила бы и часа труда, если бы она имела только спекулятивное значение» и оставалась «знанием эксперта, предназначенным для экспертов»¹². Чтобы быть социально уместной, связанной с социополитической реальностью своего времени, социальная наука должна быть *не-уместной* в двойном смысле: неуважения и дистанции в отношении способов мыслить и в отношении власти. Она должна практиковать эту «безжалостную критику всего, что существует», которую приветствовал молодой Маркс в знаменитой статье *«Rheinische Zeitung»* — и прежде всего критику самой себя, своих иллюзий и границ. Преодолевая дюркгеймовские рамки, Бурдьё защищает идею о том, что научная автономия и политическая ангажированность могут поддерживать и усиливать друг друга, стоит только интеллектуалам начать устанавливать *коллективные* формы организации и вмешательства, способные поставить авторитет научного разума на службу «корпоративизму универсального», наследниками которого и ответственными за который — хотя они того или нет — они являются¹³.

Этот *отказ от замкнутости в научном микрокосмосе* становится возможным благодаря перекрестной проверке, основанием и местом которой является научное сообщество. Для Дюркгейма наука, «будучи объективной, является по сути безличной», что подразумевает; что она «может развиваться только благодаря коллективному труду»¹⁴. Бурдьё развивает эту идею, утверждая, что настоя-

¹² Первая часть цитаты принадлежит Дюркгейму (Durkheim É. La Division du travail social. P.: PUF, 1990. P. XXXIX), вторая — Бурдьё (Bourdieu P. Questions de sociologie. P.: Minuit, 1980. P. 7).

¹³ Bourdieu P. The corporatism of the universal: the role of intellectuals in the modern world // Telos. Vol. 81. 1989. P. 99-110; Bourdieu P. Für eine Realpolitik der Vernunft // Das Bildungswesen der Zukunft / S. Müller-Rolli (dir.). Stuttgart: Ernst Klett, 1987. S. 229-234.

¹⁴ Durkheim É. Préface de [«Année sociologique» (1896-1897) // Journal sociologique. P.: PUF, 1969. P. 36.

186

щий субъект научного замысла — если он вообще существует — это не индивид-социолог, но научное поле *in toto*, т. е. совокупность отношений соперничества-сотрудничества, которые завязывают участники борьбы в этом «отдельном мире», где зарождаются те странные исторические создания, коими являются исторические истины.

В этой коллективной практике, включающей множество объектов, эпох и аналитических техник, выражается также *отказ от дисциплинарного дробления и отказ от теоретизма* и концептуальной мумификации, которой способствует «вынужденное разделение» научного труда. Дюркгейм и Бурдьё обнаруживают сходное презрение к схоластической позе, которая приводит тех, кто ее принимает — или тех, кого принимает она, — к тому культу «концепта ради концепта», что периодически повинувшись движению балансира входит в моду с той и с другой стороны Атлантики, которое едва ли нарушается ускорением международной циркуляции идей.

«Пренебрежение», которое испытывал Дюркгейм «к этой многословной и формальной диалектике», устремляющей социолога к чистому небу идей, не всегда осознается. Ее безоговорочное осуждение, данное им в одной рецензии, стоит процитировать *in extenso*:

«Вот еще одна книга, полная общих философских рассуждений о природе общества, — рассуждений, в которых трудно почувствовать знакомую и привычную практику социальной реальности. Нигде автор не оставляет впечатления непосредственного знакомства с фактами, о которых он говорит. <...> Каков бы ни был диалектический и литературный талант авторов, невозможно скрыть возмущение, которое вызывает метод, до такой степени задевающий все наши научные привычки, но продолжающий, тем не

мене, широко использоваться. Сегодня мы уже не считаем, что можно размышлять о природе жизни, не освоив предварительно биологические методы; по какому же праву философу позволено размышлять об обществе без тщательного знакомства с социальными фактами?»¹⁵.

¹⁵ Durkheim É. *Année sociologique (1905-1906)* // *Journal sociologique*. P.: PUF, 1969. P. 565.

187

Пьер Бурдьё вполне согласился бы с такой постановкой вопроса, ведь он сам осуждал и продолжает осуждать эту «теорию теоретика», отрезанную от всякой исследовательской деятельности и необоснованно закреплённую в академической специальности, так часто служащей прикрытием научного бессилия. Теория в понимании Бурдьё есть *праксис*, а не *логос*; она воплощается и осуществляется посредством контролируемого применения эпистемологических принципов конструирования объекта. Поэтому она вырастает «не столько из чисто теоретического столкновения с другими теориями, сколько из столкновения с новыми эмпирическими объектами»¹⁶.

Ключевые понятия, составляющие ядро социологии Бурдьё — *габитус*, капитал, поле, социальное пространство, символическое насилие, — являются *программами организованного вопрошания реального*, служащими для ориентации в поле исследований, которые должны быть тем более подробными и тщательными, чем более мы надеемся обобщить их результаты в ходе сравнения. По мнению автора «Различения», совершенная теория больше похожа на хамелеона, чем на павлина: не пытаясь привлечь к себе внимание, она растворяется в своем эмпирическом окружении; она заимствует цвета, тона и формы конкретного объекта, определенного в отношении места и времени, за который, как кажется, она просто ухватилась, тогда как в действительности она его *создала*.

История как социологический дистиллятор

Дюркгейма и Бурдьё часто читают как авторов аисторических, если не антиисторических. «Функционализм» первого, призванный теоретизировать «гоббсовскую проблему» социального порядка (согласно канонической экзегезе Талкотта Парсонса), по своей природе не способен учи-

¹⁶ Bourdieu P. *Les Règles de l'art*. P.: Seuil, 1992. P. 251 ; Bourdieu P. *The genesis of the concepts of «habitus» and «field»* // *Sociocriticism*. Vol. 2. №2. 1985. P. 11-12.

188

тывать социальные изменения и нашествие событий. «Теория воспроизводства», обычно приписываемая второму, есть не что иное, как адская машина, устраняющая историю, а понятие габитуса — концептуальная смиренная рубашка, стремящаяся заключить индивида в вечном повторении настоящего, застывшего в безысходном и безраздельном господстве. Короче говоря, Бурдьё и Дюркгейм оставляют нас постыдно незащитными перед лицом историчности. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, сколь далеко все это как от интенции, так и от содержания их мысли¹⁷.

Эмиль Дюркгейм — социолог в высшей степени исторический, поскольку все его исследования были включены в *современный* проект, состоящий в том, чтобы посредством научного анализа способствовать разрешению кризиса, определенного как «моральный», который на его глазах потрясал европейские общества до самого основания. Занимавший его теоретический вопрос состоял не в том, чтобы выработать концепцию социального порядка *in abstracto*, а в том, чтобы обнаружить меняющиеся условия и механизмы солидарности в эпоху индустриальной современности и способствовать тем самым появлению морали, соответствующей новым социальным отношениям. Социология Дюркгейма исторична также и потому, что она стремится изучать институты в их становлении, и, следовательно, ее гармоничное развитие требует активного и сознательного сотрудничества с историографией.

¹⁷ Превосходное обсуждение отношения Дюркгейма к истории и историографии можно найти в статье: Bellah R. N. *Durkheim and History* // *American Sociological Review*. Vol. 24. № 4. 1958. P. 447-461. Вот неполный перечень работ, отражающий взгляды Бурдьё на историю, изменение и время: Bourdieu P., Wacquant L. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago: The University of Chicago Press, 1992. P. 79-81, 89-94, 101, 132-140; Bourdieu P. *Le Sens pratique...* Chap. 6; Bourdieu P. *Choses dites...* P. 56-61 ; Bourdieu P. *Raisons pratiques...* P. 76-80, 169-174; Bourdieu P., Chartier R., Darnton R. *Dialogue à propos de l'histoire culturelle* // *Actes de la recherche en sciences sociales*. № 59. 1985. P. 86-93; Bourdieu P. *Sur les rapports entre la sociologie et l'histoire en Allemagne et en France* // *Actes de la recherche en sciences sociales*. № 106—107. 1995. P. 108-122.

189

Для Дюркгейма история может и должна играть «на уровне социальной реальности роль, подобную той, какую играет микроскоп на уровне реальности физической»¹⁸. В сетях истории оказываются частные проявления социальных законов и типов, которые обнаруживает социология. И только «генетический метод», посредством которого сравниваются различные воплощения определенного института, позволяет «проследить его целостное развитие, проходящее через все социальные виды», отделить *действующие причины*, которые его вызвали (диахронный анализ), от социальных *функций*, которые он выполняет (синхронный анализ), и следовательно, установить его нормальный (или патологический) характер. «Насколько я знаю, не существует социологии, которая заслуживала бы этого имени и не обладала бы историческим характером», — утверждает Дюркгейм в ходе своего спора с Шарлем Сеньёбосом. И он «убежден», что социологии и истории «суждено сблизиться и что настанет день, когда исторический дух и дух социологический будут различаться лишь оттенками»¹⁹.

Если социология Дюркгейма, здраво интерпретированная, должна считаться исторической благодаря

своему складу и своему методу, то социология Бурдьё заслуживает определения «историцистской»²⁰. Не будет преувеличением считать, что для последнего социальное это не что иное, как история — сделанная, делающаяся или которая будет сделана. До такой степени, что можно описать его проект, который некоторые в порядке самозащиты могли бы назвать философским — хотя в конце концов так ли уж ва-

¹⁸ Durkheim É. *Sociologie et sciences sociales* // *La Science sociale et l'action*. P.: PUF, 1970. P. 154.

¹⁹ Durkheim É. Préface de Г «Année sociologique» (1896-1897) // *Journal sociologique...* P. 139; Durkheim É. *Les Règles de la méthode sociologique...* P. 137-138; Durkheim É. *Débat sur l'explication en histoire et en sociologie* (1908)//Durkheim É. *Textes*. P.: Minuit, 1968. Vol. I.P. 199; Durkheim É. *Sociologie et sciences sociales* // *La Science sociale et l'action...* P. 157.

²⁰ См.: Abrams Ph. *Historical Sociology*. Ithaca: Cornell University Press, 1982.

190

жен ярлык — как *историзацию трансцендентального проекта философии* (в этом смысле Бурдьё был бы антиХайдеггером, который, как известно, стремился онтологизировать историю)²¹.

Здесь Бурдьё также опирается на положения Дюркгейма, чтобы преодолеть их, в особенности перенося историческое измерение в область социальной онтологии и эпистемологии. Прежде всего он отвергает различие, на котором главный редактор «Социологического ежегодника» намеревался основать возможность «настоящей исторической науки» — различие между «историческими событиями» и «постоянными социальными функциями», и искусственные антиномии, которые лежат в его основе, — между Номотетическим и идиографическим, конъюнктурой и большой длительностью, уникальным и универсальным. Он призывает работать над действительно единой наукой о человеке, в которой «история была бы исторической социологией прошлого, а социология — социальной историей настоящего»²², исходя из постулата о том, что социальное действие, социальная структура и знание равным образом являются плодом исторического труда.

Чтобы полностью выполнить свою задачу, такая наука должна осуществить *тройную историзацию*. Во-первых, историзацию *агента* с помощью демонтажа социально конституированной системы инкорпорированных схем суждения и действия (габитус), которая управляет его поведением, представлениями и направляет его стратегии. Во-вторых, историзацию различных *социальных миров* (полей), в которых социализированные индивиды инвестируют свои желания и энергию и предаются этой бесконечной погоне за признанием, каковой является социальное существование. Поскольку, согласно Бурдьё, практи-

²¹ Bourdieu P. *L'Ontologie politique de Martin Heidegger*. P.: Minuit, 1988. См. также: Bourdieu P. *Les sciences sociales et la philosophie* // *Actes de la recherche en sciences sociales*. № 47-48. 1983. P. 45-52.

²² Durkheim É. *Débat sur l'explication en histoire et en sociologie...* P. 212-213; Bourdieu P. *Sur les rapports entre la sociologie et l'histoire en Allemagne et en France...* P. 111.

191

ка не проистекает из одних только субъективных намерений агента, как не является и прямым результатом объективных ограничений структуры. Она возникает при их слиянии, «более или менее "удачной" встрече позиций и диспозиций»; она рождается из неясного отношения «онтологической близости», которое завязывается между «двумя способами существования социального» — габитусом и полем — «историей, объективированной в вещах» и «историей, воплощенной в телах»²³.

После того как прояснены скрытые отношения между историей инкорпорированной и историей овеществленной, остается произвести историзацию *познающего субъекта и инструментов познания*, с помощью которых он конструирует свой объект, а также универсума, в котором производится и циркулирует знание (в этом Бурдьё гораздо ближе к М. Фуко, чем к К. Леви-Стросу). Подведем итог:

«Если мы убеждены, что бытие — это история, у которой нет ничего "по ту сторону", и что мы должны поэтому от истории биологической (теория эволюции) и социологической (анализ коллективного и индивидуального социогенеза форм мышления) требовать истин разума насквозь исторического, хотя к истории и несводимого, нужно признать также, что именно с помощью историзации (а не с помощью радикальной деисторизации в духе теоретического эскапизма) можно попытаться более полно извлечь разум из историчности»²⁴.

Такая социология, одновременно и *нераздельно структурная и генетическая*, может претендовать на объяснение (а не только на описание) непредвиденного кризиса, появления «гения», начала преобразований, способных привести к великим социальным и символическим революциям, благодаря которым история резко меняет свой ход. Таким образом, «только историзируя до конца, мож-

²³ Bourdieu P. *Men and Machines* // *Advances in Social Theory and Methodology*/ Ed. by K. Knorr-Cetina and A. Cicourel. L.: Routledge and Kegan Paul, 1981. P. 313; Bourdieu P. *La Noblesse d'État*. P.: Minuit, 1989. P. 59; Bourdieu P. *Leçon sur la leçon...* P. 38.

²⁴ Bourdieu P. *Les Règles de l'art...* P. 427-428.

192

но полностью понять, как [Флобер] вырывается из строгой историчности менее героических судеб», поскольку оригинальность его замысла обнаруживается, только если «ее вновь поместить в исторически конституированное пространство, внутри которого она конструируется»²⁵.

Эта историзирующая социология может также претендовать на выявление и, следовательно, на лучшее преодоление исторического детерминизма, которому, как всякая историческая практика, она с необходимостью подвержена. Там, где Дюркгейм требовал от истории, чтобы она *пумала* социологию, Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

Бурдьё ожидает от нее, чтобы она *освободила* социологию от исторического бессознательного — как научного, так и социального — предыдущих поколений, которое всем своим весом давит на мышление исследователя. То, что установлено историей, может быть восстановлено только ею, поэтому только историческая социология предоставляет социологу, историческому агенту и научному производителю, «инструменты подлинного осознания или, скорее, подлинного *самообладания*». Свободная мысль, — утверждает Бурдьё, — возможна лишь такой ценой: ее можно «достичь только с помощью исторического анамнеза, способного раскрыть то, что в этой мысли является забытым продуктом исторического труда»²⁶.

«Косвенный эксперимент» этнологии

В другой, также высоко оцениваемой Дюркгеймом и Бурдьё методологической процедуре главная роль отводится этнологии: поиск *experimentum crucis*, феномен-теста или ключа к головоломке, которые позволили бы либо переформулировать (и тем самым разрешить) в исторических и эмпирических терминах центральные вопросы философии, либо на примере, который считается наименее бла-

²⁵ Bourdieu P. Les Règles de l'art... P. 145.

²⁶ Bourdieu P. Le mort saisit le vif: Les relations entre l'histoire incorporée et l'histoire réifiée // Actes de la recherche en sciences sociales. № 32-33. 1980. P. 14 ; Bourdieu P. Les Règles de l'art... P. 429.

193

гоприятным, осуществить *доказательство a fortiori* — так, чтобы преодолеть приверженность даже самого строптивого читателя к модели или к способу передового рассуждения.

Так, после того как в своей диссертации Дюркгейм подступил к скале морали, считавшейся неприступной для позитивного исследования, он выбрал объектом «социологического исследования» самоубийство. Эта сокровенная, недоступная для взгляда «извне» тропа по краю внутренней пропасти, по которой индивид приходит к тому, что лишает себя высшей ценности — жизни, «по-видимому, относилась только к психологии». Доказать то, что такой «индивидуальный акт, который затрагивает только самого индивида» и выражает в конкретных, измеримых терминах две вечных загадки философии — смерть и волю, является результатом «общих» социальных сил, значит доказать также, что не существует поведения, которое не было бы «продолжением социального состояния» и что социологическое объяснение может без ущерба оставить в стороне «индивида в качестве индивида, его мотивы и представления»²⁷.

Дюркгеймовским «Самоубийством» стала для Бурдьё эстетическая диспозиция, «любовь к искусству», которая переживается как «свободная от условий и обусловленностей» и определяет буржуазную культуру, то, что в более широком смысле можно назвать вкусом — другим, расхожим именем габитуса²⁸. Есть ли что-либо более личное, более невыразимое и неопределенное, чем способность различения, которая, по выражению Канта, претендует на «универсальную значимость», являясь в то же время частной реакцией на объекты мира, т. е. чувственным наслаждением, и которая, кажется, по самой своей природе исключает любое «решение с помощью доказательств»? «Различение» рисует широкое этнологическое полотно стилей

²⁷ Durkheim É. Le Suicide... P. 8, 33, 148.

²⁸ Bourdieu P. La Distinction. P.: Minuit, 1979; Bourdieu P., Darbel A., Schnapper D. L'Amour de l'art. P.: Minuit, 1966.

194

жизни и культурных предпочтений социальных классов с целью установить структурную гомологию, которая связывает, посредством пространства диспозиций, пространство позиций и пространство взглядов в таких разнообразных областях, как питание и музыка, косметика и политика, интерьер и супружеская любовь. Оказывается, что вкус не является уникальной подписью свободной личности, но преимущественной формой подчинения социальной судьбе. Ибо если такие на первый взгляд незначительные вещи, как манера пить кофе и вытирать рот за едой, чтение ежедневной газеты и предпочитаемый вид спорта функционируют как маркеры, внешние знаки богатства (внутреннего), капиталов (культурных), то какая практика может избежать этой борьбы классификаций, являющейся обратной стороной классовой борьбы?

Как и Дюркгейм, Бурдьё любит подкреплять свои теоретические схемы бинарными сравнениями между обществами, называемыми «традиционными» или «докапиталистическими», и «сильно дифференцированными» социальными формациями (в высшей степени дюркгеймовское обозначение), когда *обращение к этнологии служит техникой социологического квазиэксперимента*²⁹. Известно, что Дюркгейм избрал австралийскую тотемическую систему в качестве эмпирической основы для поиска коллективных оснований религиозных верований и вообще социального происхождения категорий человеческого мышления, поскольку он видел в ней «самую примитивную и самую простую из всех религий» и поэтому лучше всего подходящую для того, чтобы «открыть нам существенную

²⁹ Бурдьё задумывал свои сравнительные исследования матримониальных практик кабилских и беарнских крестьян как «некий эпистемологический эксперимент» (Bourdieu P. Choses dites... P. 75.). См. например: Bourdieu P. La société traditionnelle: attitude à l'égard du temps et conduite économique // Sociologie du travail. Vol. 5. № 1. 1963. P. 24-44; Bourdieu P. Les relations entre les sexes dans la société paysanne // Les Temps modernes. Vol. 195. 1962. P. 307-331. Об использовании Дюркгеймом этнологии см.: Karady V. French ethnology and the Durkheimian breakthrough // Journal of the anthropological society of

Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

Oxford. Vol. 12. №3. 1981. P. 166-176.

195

и неизменную сторону человечества». По его мнению, «сама их грубость» делала эти религии, называемые низшими, «удобным экспериментом, в котором факты и их отношения воспринимаются легче всего»³⁰.

Кабильское общество, которое он изучал как этносоциолог в самом разгаре войны за алжирское национальное освобождение, и в меньшей степени (или менее видимой из-за скромности — скорее всего, и профессиональной, и личной) беарнские деревни его детства являются для Бурдьё тем же, чем для Дюркгейма были тотемические кланы внутренней Австралии — «материалом стратегического исследования» (как говорил Роберт Мертон), способным, подобно фильтру, выявить «в очищенном состоянии» те механизмы, которые было бы слишком трудно или мучительно искать в более близком социальном окружении. Для Бурдьё изучение практик и символических отношений в слабо дифференцированных обществах является средством *радикализации социоаналитической интенции*, то есть открытия социального бессознательного, кроющегося в складках тела, когнитивных категориях и на первый взгляд совершенно безобидных институтах.

Эта радикализирующая функция этнологии нигде не проявляется так ярко, как в анализе, которому Бурдьё подверг «Мужское господство» в одном своем основополагающем тексте, содержащем между строк сущность его теории символического насилия, а также парадигматическую иллюстрацию характерного для него использования сравнительного метода³¹. Мифические и ритуальные практики кабиллов являются достаточно дистантными, чтобы их дешифровка делала возможной строгую объективацию, и достаточно близкими, чтобы облегчить эту «участвующую объективацию», которая единственно способна привести

³⁰ Durkheim É. Les Formes élémentaires de la vie religieuse. P.: PUF, 1960. P. 2, 11.

³¹ Bourdieu P. La Domination masculine // Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 84. 1990. P. 2-31. См. также прекрасную статью: Bourdieu P. Reproduction interdite: La dimension symbolique de la domination économique // Études rurales. Vol. 113-114. 1989. P. 15-36.

196

к возвращению вытесненного, которое, в силу полового деления, нам всем присуще. Доказательством тому служат не придуманные гомологии между наиболее чистыми категориями чистейшей философской и психоаналитической мысли (категориями И. Канта, Ж.-П. Сартра и Ж. Лакана) и парами оппозиций, организующими ритуальные действия, поэзию и устную традицию бербероязычных жителей гор. «Этнология вызывает удивление перед тем, что проходит совершенно незаметно, то есть перед самым глубоким и глубоко бессознательным в нашем повседневном опыте»³². В этом смысле она является не добавкой, а необходимым ингредиентом социологического метода. Этнологический поворот Бурдьё является, собственно говоря, не поворотом, а *обходным путем*, способным открыть нам доступ к социальному немислимому, которое составляет невидимую основу наших способов делать и быть.

Перевод с французского Александра Тавровского

³² Bourdieu P. Division du travail, rapports sociaux de sexe et de pouvoir // Cahiers du GEDISST. Vol. 11. 1994. P. 94. Подобный эффект может производить методологическая «этнологизация» привычного универсума, ср. «Предисловие к английскому изданию» книги Бурдьё «Homo academicus» (Bourdieu P. Homo academicus. Cambridge: Polity Press 1988).

Луи Пэнто. ТЕОРИЯ В ДЕЙСТВИИ*

Можно ли говорить о вкладе работ Пьера Бурдьё в теорию и философский анализ, не вступая в противоречие с основополагающими принципами этих работ, которые направлены против разделения смысла теории и его конкретных использований в познавательной деятельности?¹ Действительно, когда в философии говорят языком «тезисов», то создается опасность непонимания предпосылок, порой весьма неочевидных, той установки, которая породила и обосновала эти «тезисы»: контекст, одинаково важный как с точки зрения генезиса теории, так и с точки зрения ее референтных рамок, стремятся представить как нечто второстепенное или необязательное по отношению к главному — содержанию дискурса. Но каким бы формализованным оно ни было, содержание не становится ни прозрачным, ни однозначным, как об этом наперебой свидетельствуют ошибки и сбои в понимании. Следует напомнить, насколько теоретический дискурс и, *a fortiori*, философский подвержен опасности возникновения специфических иллюзий, как только его отрывают от условий эффективного функционирования в узко определенных ситуациях и он

* Pinto L. La Théorie en pratique // Critique. № 579-580. 1995. P. 573-594.

© Pinto L., 1995

¹ По этому поводу см., в частности, вторую часть работы: Bourdieu P. avec Wacquant L. Réponses: Pour une anthropologie réflexive. P.: Seuil, 1992. P. 187-231.

198

начинает работать вхолостую, или, как говорил Витгенштейн, «выпадать из дверных петель». Интеллектуальная дискуссия, несомненно, сильно выигрывала бы в ясности, если она была бы с самого начала способна схватывать «тезисы» в их связи с интеллектуальным габитусом, обеспечивающим им единство и связность, и соотносить этот габитус с актуальным пространством проблематики и проектов, через которые он определяется (в непосредственной реакции, переформулировке и т. д.).

Среди текстов Пьера Бурдьё можно найти по крайней мере один (но не единственный) — начало «Практического смысла» (введение и предисловие к первой книге²), который позволяет установить теоретическую интенцию в ее практическом состоянии, т. е. теорию как практику. Текст поучителен в двух смыслах. С одной стороны, поскольку он явным образом обрисовывает две большие интеллектуальные традиции, против которых, но также и в связи с которыми формируется теория Бурдьё; кроме того, он позволяет прояснить отношения, связывающие ее с полем философии³. С другой стороны, поскольку за буквальным прочтением этого текста обнаруживается особый интерес — продемонстрировать схемы, которые могут быть обобщены и перенесены на другие предметы в исследованиях, рассматривающих теоретические альтернативы, накладывающие ограничения на исследовательскую практику. В «Практическом смысле», где, как и во многих других текстах (в особенности сфокусированных на противопоставлении традиции, отдающей предпочтение познанию, коммуникации, смыслу, и традиции, сосредоточенной на

² Бурдьё П. Практический смысл / Пер. с фр. под ред. Н. А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001.

³ Среди прочих текстов, хотя бы отчасти автобиографических, можно выделить: Бурдьё П. Начала / Пер. с фр. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1994 (в особенности статью «Fieldwork in philosophy»); предисловие к английскому изданию в: Bourdieu P. Homo Academicus. Cambridge: Polity Press, 1988; Bourdieu P. Aspirant philosophe. Un point de vue sur le champ universitaire dans les années cinquante // Les enjeux philosophiques des années cinquante. P.: Centre Georges Pompidou, 1991. P. 15-24.

199 властных отношениях между группами⁴), речь идет об оппозиции между объективизмом и субъективизмом, отказ от альтернативы привязан к близкой Лейбницу установке на осознание (значительно более, чем на примирение) противоположностей. Эта установка состоит в том, чтобы обнаружить элементы рациональности, скрытые от отдельной точки зрения, и показать, что конфликт между противоположными взглядами вытекает не из чистой логики, но из социальной предзаданности перспективы, пускай в качестве таковой и не воспринимаемой.

Отказ от теоретических альтернатив

Для философов, принадлежащих к послевоенному поколению, прошедшему посвящение экзистенциализмом, пространство возможностей было структурировано оппозицией между полюсом экзистенциализма, воплощенного в Сартре и, еще более, в Мерло-Понти, и тем, против чего он был учрежден — полюсом рационалистической и научной культуры, представленной Башлярмом, Кангильемом и Коире, а впоследствии Брауншвигом. Различие траекторий философов, начинавших в шестидесятые годы, можно понять, если принять в расчет особенности структуры капитала, находившегося в их распоряжении, и, в частности, относительный вес в нем научной культуры: «обратившиеся» в науку философы принципиально выделялись степенью эффективного разрыва, к которому их привело принятие научной культуры. Наиболее близкие к ней противостояли носителям культуры, определяемой гуманитарными дисциплинами, в значительной мере ориентированным на радикальный подрыв истории философии. Однако лишиться положения философов немало рисковали и те, чье обращение в науку, казалось, зашло слишком далеко в направлении «позитивизма». В сравнении с уважитель-

⁴ Ср.: Bourdieu P. Genèse et structure du champ religieux // Revue française de sociologie. Vol. 12. № 3. 1971. P. 295-334; Bourdieu P. Sur le pouvoir symbolique // Annales. 1977. №3. P. 405-411.

200 ными бунтами, осуществленными представителями одного поколения и разделяющими некоторые качества, в частности, отношение к научным званиям, предприятие Пьера Бурдьё выглядело посягательством на философское достоинство: оно не только противопоставляло себя «среде» в то время, когда авторы, претендующие на господство в философии, предлагали для чтения другие тексты или попросту другой взгляд на канонические тексты, но, кроме того, оно *sine die* подвергло пересмотру философский дискурс снятия, через который может восприниматься продукция, считающаяся теоретической. Начиная с введения к «Среднему искусству» («*Un art moyen*»), можно обнаружить первые наработки идей, которые легли в основу «Наброска теории практики» и «Практического смысла»:

«Настало время, когда науки о человеке отказывают философии в воображаемой альтернативе между субъективизмом, упорно отыскивающим место возникновения творческого действия, несводимого к структурным детерминациям, и объективистским панструктурализмом, стремящимся непосредственно породить структуры с помощью некоего теоретического партеногенеза... Нужно, не впадая снова в наивность субъективизма или "персонализма", помнить об объективных условиях, которые действительно существуют и реализуются только в рамках и посредством такого продукта интериоризации объективных условий, как система диспозиций»⁵.

Одним из главных приобретений структуралистской методологии (или «соотносительного способа мышления») является не что иное, как десубстантивация взгляда на социальный мир. Раскрытие структурных инвариантов (мужское/женское, небесное/земное, солнце/луна, лето/ зима, сухое/влажное и т. д.) в разнящихся по своей логике мирах природы, дома, тела было значительным шагом вперед по сравнению со спонтанным интуитивизмом учеников, профанов или ученых. И панлогизм, и интеллектуа-

⁵ Bourdieu P. Introduction // Bourdieu P., Boltanski L., Castel R., Chamboredon J.-C. Un art moyen: Essai sur les usages sociaux de la photographie. P.: Minuit, 1965. P. 22.

Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

201

лизм, в котором позже обвиняли структурализм, имели, по крайней мере, то преимущество, что предполагали чрезвычайно внимательное отношение к символическому конструированию, к категориям мышления, схваченным в своего рода диком состоянии, в их исходной познавательной истинности, предшествующей операциям по их научному упорядочению.

Реакция на структуралистский стиль, присутствующая в «теории практики», могла отчасти опираться на противостоящую традицию — феноменологию и экзистенциализм. Со всеми ограничениями, характеризующими философа, привыкшего обращаться к родовому опыту человечества, Мерло-Понти был одним из тех, кто дальше других пошел в раскрытии специфики практического опыта. Ведя борьбу одновременно на двух фронтах — против вещного натурализма и интеллектуалистского спиритуализма⁶, — он предлагал способ описания, основополагающие элементы которого были не самодостаточными субстанциями, но динамическими системами. Используя такие тотализующие понятия, как «гештальт», «отношение к миру», он сумел показать, что многие вопросы и апории философской традиции вызваны научным подходом, направленным на деконструкцию, переделку того, что спонтанному сознанию предстает в виде неделимого единства. Находящееся за рамками объективного и субъективного восприятие, подобно жесту и выражению, делает мир существующим, но не как тотальность существующих вещей, развертывающихся перед своего рода божественным разумением, а как горизонт всего того, что нужно в действии: «Футбольное поле для движущегося по нему игрока ни в коей мере не является "объектом"... Поле не дано ему, но представлено как имманентное условие его практических интенций; игрок образует с ним единое тело»⁷. Сказать, что сознание до того, как стать *Cogito*, является «Я могу»⁸ — зна-

⁶ Merleau-Ponty M. *La Structure du comportement*. P.: PUF, 1990. P. 100.

⁷ Ibid. P. 182-183.

⁸ Merleau-Ponty M. *La Phénoménologie de la perception*. P.: Gallimard, 1945. P. 160. В отношении этого момента у Мерло-Понти, центрального в анализе габитуса, см.: Wacquant L. *Présentation // Bourdieu P., Wacquant L. Réponses...* P. 27.

202

чит указать на предшествование практического опыта, сфокусированного на ядре *Ego*, но только исходя из возможностей, которые определяют этот опыт. Обращаясь к тому, что Мерло-Понти называет «общим отношением к миру», он обосновывает «идею, что для каждого индивида существует общая структура поведения, выраженная в некоторых константах поведения, порога чувствительности и движения, возбудимости, температуры, дыхания, пульса, кровяного давления»⁹. Можно полагать, что утверждения в подобном стиле и, более обще, ряд отсылок, способов анализа и понятий (схема, построенная на оппозиции интеллектуальное осознание/моторное или практическое осознание и т. д.) могли стать стимулом для молодых философов, желавших отказать философии в ее претензиях на высшее господство, но не впасть при этом в разного рода эмпирицистские отказы от теории.

Самоограничение научного знания

Действительная понятийная генеалогия, переступающая привычные границы «интерналистского» ученого комментария и «экстерналистского» подхода социальной истории, — это то, что в идеале следовало бы осуществить, чтобы понять, какой тип интеллектуальных диспозиций, порожденных определенным отношением к социальному миру, предполагает отказ от интеллектуалистских тезисов (или, скорее, заложенной в них установки). Не имея возможности развернуть здесь эту слишком амбициозную программу, удовольствуемся тем, что коснемся двух основополагающих для теории практики точек — критики антропологического разума и рефлексивной, или «коперниканской», концепции социологии — рассмотрев их в двух регистрах, в которых реализуется интеллектуальная практика: во-первых, «теоретического» знания, во-вто-

⁹ Merleau-Ponty M. *La Phénoménologie de la perception...* P. 160-161.

203

рых, воздействия на интеллектуальный мир и действия в нем¹⁰.

Теория практики, в известной мере, включает и упорядочение опыта (которое она предпочитает обозначать как «теоретическое»). Вскрыть практику — это прежде всего утратить обеспечиваемую теорией уверенность или веру во всемогущество когнитивного капитала, который определяет ученого. Какую веру? Образовательная институция, продуктом которой является ученый, обеспечивает не только легитимные знания — она гарантирует легитимность тем, кто, обладая способностью их усвоить, предлагает легитимные представления о мире. Она гарантирует — по меньшей мере в идеале — презумпцию действительности, основывающуюся на соответствии вещам «как они есть». Авторитет, признаваемый за индивидами, наделенными соответствующими качествами, исключает как нечто немислимое саму возможность постановки под вопрос их деятельности, относя ее к особенностям их частной точки зрения. Собственно говоря, они предстают как индивиды «без точки зрения», поскольку, по определению, нет другой такой позиции, из которой она могла бы быть определена¹¹.

Философ, ставший этнологом в конце пятидесятых, мог с полным успехом оставаться при иллюзии ученого универсализма, тем более прочной, чем больше «академиче-

¹⁰ Не закрывая глаза на сложности, которые влечет за собой реализация этого намерения, и на

опасность ретроспективных иллюзий, я взял на себя смелость цитировать наряду с более ранними работами более поздние тексты. При этом мною предприняты следующие меры предосторожности: я использую их, когда они предоставляют неоспоримые факты в отношении прошлого, когда они предоставляют более ясную формулировку ранее высказанной идеи, и более широко, когда они явным образом свидетельствуют о постоянстве социологических интересов и установки.

¹¹ Книга об университетском поле, т. е. посвященная проводимой под определенным углом зрения объективации тех, кто обычно объективирует сам, «*Homo academicus*» в систематической форме реализует интеллектуальную установку, которая уже задолго до того присутствовала в работах Пьера Бурдьё.

204

ских отличий» ему удалось получить. Работа о кабийском обществе позволяла ему небезосновательно надеяться на научное признание, в особенности со стороны признанных авторитетов в антропологии. С этой точки зрения, исследование, предпринятое в отношении «дома» на предмет соответствий между строением пространства, пространством дома и телом, можно рассматривать как показательное: оно воспользовалось рядом структуралистских находок и предлагало целостную программу анализа¹². Однако хождения от этнологии к социологии и чередования исследований кабийских крестьян, рассматриваемых в рамках традиционной деревенской жизни, и жертв кризиса «крестьянского способа производства и воспроизводства», которыми, каждый на свой манер, были низшие слои алжирских рабочих и беарнские крестьяне, — все эти переходы могли вызывать впечатление, что теоретический капитал структурализма не может использоваться «в чистом виде» и требует «пересмотра». Одним из способов сохранения этого капитала при перенесении его за границы исходной области было низвержение структур с высот *intellectus archetypus*, где они пребывали, на «туземное» население в несовершенной и приблизительной форме — в форме практического смысла. За «правилом» последовала «стратегия»¹³: агент подстраивается под ситуации благодаря ресурсам навыка, позволяющего экономить на непрерывной работе по рефлексии и расчету. Хотя эта концепция продолжала иметь дело с оппозиционными или эквивалентными терминами и с противоречиями, порожд-

¹² Текст «Кабийский дом, или перевернутый мир» первый раз был опубликован в 1969 году, в рамках конференции, посвященной Клоду Леви-Стросу, затем был воспроизведен как «исследование по кабийской этнологии» в «Наброске теории практики» и, наконец, появился в качестве приложения к «Практическому смыслу», предпосланный кратким замечанием, указывающим на «границы структуралистского способа мышления».

¹³ Критика понятия правила ориентирована в трех направлениях: неадекватность понятия наблюдаемой и описываемой реальности, внутренняя противоречивость и последствия для глобальных задач социальной науки.

205

денными их столкновением (верх/низ, правое/левое, священное/профанное, мужское/женское...), эти термины, тем не менее, лишались статуса сакральных. Под видом простых схем структуры функционируют в гибком, ограниченном и обусловленном режиме, их место — не чистое мышление и не формальная игра «сочетаний», в которой общество, по выражению Леви-Строса, оказывается лишь их эмпирическим выражением, но тело как окончательное условие возможности автоматизмов и их слаженной реализации. Связанные со свойствами агентов, а следовательно, с их интересами, эти структуры выполняют социальные функции. Наконец, не абсолютизируемые по образцу трансцендентных, ментальные структуры должны согласоваться с объективными структурами или, если угодно, с основополагающими оппозициями социальных образований, насколько последние обеспечиваются принуждениями, не основанными исключительно на «человеческом разумении».

Бурдьё, предложивший столько образцовых описаний жизненного опыта, не переставал настаивать на смысле социологии как переприсвоения субъектом смысла этого опыта, изначально (социально) отмеченного отчуждением. «Субъект», вовсе несводимый к той радикальной трансценденции, о которой говорят иные философы, вовлечен, погружен в мир, от которого невозможно дистанцироваться и который навязывает горизонт практически возможного (того, что можно принять, выполнить, различить, отменить...). Он возникает и посредством «предвзятости». Вот почему опыт социального мира наделен такими основополагающими модальностями — и модальность здесь нужно понимать в двойном смысле, как способ существования и как логическую модальность — которые придают ему ряд оттенков: уверенность (как благоприятное воздействие на возможность), напряжение (как желание достичь не наверняка возможного), отказ (смирение со своей участью) и смятение (как помехи в получении предвиденного). Истина опыта, которую рассчитывает постичь социолог, предстает видимой прежде всего изнутри, проверен-

206

ная расколдованием и разочарованием¹⁴ — практическим эквивалентом феноменологической редукции. Задним числом утверждается то, что составляло суть игры; сама же неотложность игры, определяющая ее возможности и реализуемая приказным или принудительным образом, маскирует необходимые для участия в ней согласие, верование, вовлеченность. Игра — это метафора, заимствованная, без сомнения, из традиции моралистов и философов, однако в социологии она становится специальным термином, выражающим «для себя» то соединение ожиданий и возможностей, структур и диспозиций, которое научный анализ стремится сконструировать «в себе», в форме теории. Осмысление игры предполагает освобождение от игры, выход за ее границы не только в случае, когда речь идет о детских играх, вызывающих улыбку у интеллектуалов, но и о собственных играх Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

интеллектуалов. Однако для того, кто ищет способ осмыслить все игры, остается еще и та игра, в которую он включен и играет сам, — особенная игра, поскольку верование, которое она предполагает, реализуется в науке обо всех верованиях.

Конечно, «субъект» социолога, находящийся в социальном мире, не озабочен теми несколько неопределенными задачами, о которых говорят философы субъективности: надеяться, любить, ненавидеть, бороться... Ему предназначены возможности, вытекающие из распределительных, в значительной мере «объективных», механизмов (доходы, дипломы и т. д.). И поскольку все индивиды данного социального образования (класс, пол...) в конкретный момент могут быть помещены в пространство свойств, тесно связанное с пространством объективных возможностей, отношение к социальному миру неизбежно характеризуется основополагающими модальностями, которые лишь отражают дистанцию между обладанием множеством атрибутов, гарантирующих доступ к социально значимым возможностям, и полным лишением тех же самых атрибу-

¹⁴ Бурдьё предпочитает термин «разочарование» (*désillusion*) «расколдованию» (*désenchantement*), несомненно, слишком нагруженному веберовскими оттенками.

207

тов. Уверенность свойственна доминирующим, чье превосходство состоит в совпадении сущего и должного, в преимуществе быть с самого начала каким должно и каким другие не могут стать, поскольку само усилие скорее опровергает, чем обеспечивает претензию на совершенство¹⁵. А это основание социальной реальности, принуждающее каждого ощущать границы своих возможностей, есть не что иное, как габитус — интериоризация внешних детерминаций. Интериоризация, поскольку они становятся чем-то ментальным и глубинным, отмечающим отношение к себе; интериоризация в том смысле, что принимают или превращают в свое собственное то, чему «предназначены». Сближая через понятие габитуса возможное и вероятное, субъективную надежду и объективную вероятность, научный подход, предложенный Бурдьё, осуществляет переворот в отношении феноменологическо-экзистенциалистской культуры. В зависимости от точки зрения можно явным образом способствовать либо ее сохранению, либо преодолению. Преодолению в пользу новых объектов и такой объяснительной рамки, которую философия была неспособна обеспечить и даже помыслить. Сохранению теоретической установки, направленной на соединение постижимости жизненного опыта с раскрытием глобального единства субъекта — не интенциональности, но матрицы диспозиций, основой которой служит траектория индивида. Такая социальная концепция, одновременно целостная и не объективистская, стала возможной благодаря объединяющему основанию — габитусу, который выражает не нудную одинаковость, но требование поверх границ между областями практики, в отделенных, на первый взгляд, универсумах (частное/публичное, семья, профессия, культура, экономическое благосостояние...) увидеть сходство между различными практиками одного агента и понять относительный вес, который имеет каждая из них, или, иными словами, вклад каждой практики (культурной, экономической, домашней...) в производство и вос-

¹⁵ Bourdieu P. *La Distinction: Critique sociale du jugement*. P.: Minuit, 1979. P. 286.

208

производство социальной идентичности агента. Отчуждение субъекта от него самого во многом является следствием фрагментации опыта социального мира, воспроизводящейся как в позитивистской науке, так и в феноменологии. «Переворот», совершаемый социологией Пьера Бурдьё, можно усматривать в отказе от иллюзии субъекта, не отвергающей вместе с тем идею тотализации, служащую ее основой. Наоборот, Бурдьё придал ей особую силу: идентичность не есть сущность, но закон изменений тотализации. Определяя идентичность через инвариантность, он пришел к анализу воспроизводства (равно индивидуального и коллективного), который предполагал изучение системы стратегий воспроизводства, скрытой за видимостью разрозненных событий, равно как изучение граничной формы воспроизводства, каковой является «конверсия» (понимаемая как изменение свойств агента для сохранения относительной позиции в социальном пространстве). Такое развитие абстракции (отвергаемое большинством противников Бурдьё) давало парадоксальный выигрыш в понимании общего смысла опыта агентов, поскольку устраняло произвольные границы, вводимые ученым дискурсом, чаще всего лишь удваивающим оппозиции обыденного здравого смысла.

Предпосылки и предпочтения

Сугубо интеллектуальная необходимость преодоления структурализма никогда не могла бы вдохновить теоретическую стратегию его замены, если бы она, как это охотно признает сам Бурдьё¹⁶, помимо всего прочего, не попадала бы в резонанс с побуждениями, связанными с особенной формой опыта интеллектуального мира, которой свойственен «отказ, достаточно инстинктивный, от этической позы, предполагаемой структуралистской антропологией, от

¹⁶ См., в частности: Бурдьё П. *Fieldwork in philosophy* // Бурдьё П. *Начала* / Пер. с фр. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1994. С. 37-38; а также: Bourdieu P. *Réponses...* P. 176-177.

209

высокомерного и отстраненного отношения, которое устанавливается между ученым и его объектом, т. е. простыми профанами»¹⁷. Научная дистанция по отношению к социальному миру, которую структуралистская этнография довела до предела, кажется тем более приемлемой, чем больше

социальная дистанция между ученым и изучаемым им коренным жителем. В противоположность этому близость порождает неконтролируемое напряжение между идентичностями, которые могут существовать только раздельно, как идентичности ученого и коренного жителя, каковым также является ученый. «Двойному я»¹⁸ угрожает раскол. Поскольку, если хранить верность равным в своем универсуме, то нужно отречься от принадлежащих к другому универсуму. Так, чтобы соблюсти правила научной чести, ученому нужно при любых условиях хранить верность научному языку правил и, парадоксальным образом, забыть о своих наивных знаниях, т. е. о всем том, что содержит «менее абстрактное представление о том, что значит быть крестьянином, проживающим в горах»¹⁹. Прежде всего, следует признаться в том типично интеллектуальном виде высокомерия, которое приписывает коренному жителю статус объекта — объекта мышления, не способного к множеству вещей: изобретать новые формы поведения, обыгрывать правила, интерпретируя или даже критикуя их, и осознавать, хотя бы отчасти, то, что он делает. Высокомерия, которое ведет к наивности, поскольку-

¹⁷ Бурдьё П. *Fieldwork in philosophy...* С. 37.

¹⁸ См.: Бурдьё П. *Практический смысл...* Предисловие.

¹⁹ Там же. См. также: Бурдьё П. *Fieldwork in philosophy...* С. 37; Bourdieu P. *Réponses...* P. 138 et sq. В немецком издании «Начал» Пьер Бурдьё уточнил роль, которую мог сыграть его алжирский опыт, полученный, напомним, во время войны за независимость. Спонтанно расположенный разделять принципы, объединяющие французских интеллектуалов-прогрессистов (Ж.-П. Сартр...) и полный намерения обеспечить им подтверждение, он одновременно оказался погружен в «материал», заставивший его оценить зазор между интеллектуальными представлениями, касающимися протагонистов (алжирский революционер, колонизатор-расист и т. д.), и его собственными «впечатлениями», более близкими к жизненному опыту участников конфликта, их категориям и их страстям.

210

ку, приписывая ученому монополию на легитимную интерпретацию, оно запрещает видеть, насколько точка зрения ученого, уверенного в том, что ему удалось превзойти туземца, может быть предвосхищена последним и интегрирована в его точку зрения. Возможность же [эффективно] говорить о социальном мире предполагает двойное смирение: наряду с его традиционным видом, состоящим в убеждении, что научное сознание предполагает сложную и кропотливую работу по объективации, нужно дать место тому более специфическому виду, который заставляет признать ограниченность самого теоретического сознания, как и двойственность способа существования в качестве теоретического и практического отношения к социальному миру. Теорию практики можно воспринимать как теоретизированное выражение попытки преодолеть противоречие «двойного я», существующее между теорией и практикой, между благородным и оторванным от жизни универсумом школы и универсумом, профанным по своему происхождению. Речь идет об изобретении теоретической и выразительной формы с помощью теории, избавленной от воздействий теоретического господства, а также об изобретении дискурса о практике или, лучше, о практике, сохраненной в форме теории, — единственном способе придать инструментам, поставляемым школой, непривычное и неприемлемое в «схоластической» традиции использование. Говоря кратко, ставить на то, что наука — это возможное, чей авторитет состоит не в избегании действительного. Нужно увести науку от господствующих способов ее использования: «То, что я сделал в социологии и в этнологии, — скажет позже Бурдьё, — я сделал скорее вопреки моему образованию, чем благодаря ему»²⁰. Таким образом, отказ выбирать между противоположностями субъективизма и объективизма, феноменологии и структурализма, финализма и механицизма и прочими крайностями не является сугубо интеллектуальным упражнением. Это отказ того, кто испытывает почти «экзистенциальную» боль, от

²⁰ Bourdieu P. *Réponses...* P. 176.

211

необходимости полностью включиться в одну из бесчисленных социальных и интеллектуальных игр на два места, разнонаправленных и симметричных, занять одно из предоставляемых социально мест и разделить иллюзию всех соучаствующих противников, которые поддерживают игру благодаря своим различиям и своей идентичности в своих различиях.

Будучи перенесено в поле чистой теории, сопротивление интеллектуализму приняло одновременно социально легитимную и интеллектуально плодотворную форму: против нейтрального, незаинтересованного ученого разума, но с оружием науки в руках, социология была призвана защитить «коренные» права на здравый смысл, действие, интерес, тело, удовольствие и т. д. В некотором смысле это легитимные ресурсы философской культуры, но лишь представленной «в практическом состоянии», которые могли бы использоваться для противостояния последствиям ученого выхолащивания опыта.

Коперниканская социология: объективация научного субъекта

Теория практики для социолога — это прежде всего теория его собственной практики познающего субъекта. Признание за туземцами их инаковости рискует оставаться недостаточным, пока отсутствует комплементарное ему движение — обращение к себе, которое высвечивает несколько связанных друг с другом аспектов. В первую очередь речь идет об ограничении, которое накладывает на научную точку зрения тот факт, что [в реальности] туземцы не определяются через их роль объекта мышления. В силу единичности своего социально маловероятного опыта социолог должен отказаться от своих доводов

образованного и просвещенного наблюдателя, если желает постичь доводы, основание и, тем самым, необходимость²¹ других,

²¹ Философская традиция, противопоставляющая разум и природу, свободу и необходимость и т. д., стремится постичь практическую логику, поскольку та воплощает в себе не бестелесный разум, поставленный перед абстрактными возможностями, но столкновение двух каузальных рядов: ряда объективных вероятностей и обусловленностей (посетить музей, стать медиком...) и ряда субъективных диспозиций, которые, будучи произведены теми же условиями, что и первые, способствуют подстройке к «предназначению», имея больше шансов для реализации. Возможные сбои в этой подстройке, несомненно, также доступны научному анализу.

212

или, попросту, получить доступ к тому практическому пониманию, которое свойственно их действиям и речам. Как показал Витгенштейн, так называемая мифология туземца вполне может быть лишь артефактом ученого разума, за которым скрываются мифы, в действительности вписанные в язык и видение наблюдателя²². Практика других не есть ни выражение «невежества», как утверждает интеллектуалистская традиция, воплощенная в фигуре Фрэзера, ни более-менее прозрачная игра трансцендентных правил, как утверждает структуралистский интеллектуализм. Это лишь регламентированная и обусловленная импровизация, имеющая свои объективные и субъективные границы и свои инварианты (предвосхищение, вызов, компромисс, отказ...). Ученое понимание приходит к пониманию другого не вопреки объективному знанию «причин», но его посредством, поскольку такое знание, которое принимает в расчет логику туземного мышления, является единственным реальным средством, позволяющим отказаться от иллюзорных соблазнов пускай даже благосклонной снисходительности и экзотизма. Условие, позволяющее обнаружить другого, — объективировать объективацию, а значит, объективировать себя и тем самым избавиться от страстей, в том числе и интеллектуальных, которыми познающий субъект обязан своей специфической позиции. Чтобы охарактеризовать эту парадоксальную установку, заключенную в понимающей объективации, Пьер Бурдьё (как освободившийся от цензуры, действующей в отношении «свободного интеллектуала») недавно применил по отношению

²² См.: *Wittgenstein L. Remarques sur «Le Rameau d'or» de Frazer...; а также: Bouveresse J. L'animal cérémoniel: Wittgenstein et l'anthropologie // Actes de la recherche en sciences sociales. № 16. 1977.*

213

к себе термины «интеллектуальная склонность» и даже «духовное упражнение»²³, восходящие к совсем иным интеллектуальным горизонтам социологии, нежели позитивистский. Когда отброшены ложные деления объективизма, другой может восприниматься как другое «Я». Как «Я», поскольку выражает в некотором смысле родовые черты и общий опыт: честь, великодушие, стыд, растерянность... — и вместе с тем как «другое», поскольку обоснование разумом и/или необходимостью другого существует чаще всего в чуждом универсуме, присвоение которого возможно только через мышление. Вплоть до акта окончательного превращения работы в текст социолог должен рефлексировать обязательство, накладываемые на него статусом объективированного другого «Я».

Далее, рефлексивная социология предполагает возможность объективации научной точки зрения посредством такого принципиального инструмента, каким является наука о символических производствах. Заниматься «социологией культуры» — значит не просто обнаружить свой интерес к специфической категории благ; это значит, в первую очередь, понять условия возможности (неразрывно трансцендентальные и исторические) научного представления и, более широко, знания о социальном мире. В своих первых работах Пьер Бурдьё не повел лобовой атаки на благородные — с точки зрения философской традиции — предметы, но, начав с эмпирического и скромного исследования студентов и культуры, посвятил себя разработке основ социологии такого рода субъекта науки. Описать студентов значило под видом разговора о «всего лишь учениках» установить условия и модальности школьного и культурного успеха самих «мэтров», своих коллег и тем самым предложить, хотя бы в виде наброска, инструмент социоанализа. Разрыв с ученым этноцентризмом, намеченный в его работах об Алжире, посвященных «неграмотным» третьего мира, получил вполне логичное развитие в

²³ См. раздел «*Comprendre*» в: *La Misère du monde / Sous la dir. de P. Bourdieu. P.: Seuil, 1993. P. 909 et sq.*

214

его последующих работах о носителях литературной и книжной культуры и, наконец, в «*Homo academicus*»²⁴.

Между этими разнообразными работами есть родство, основание которого есть не что иное, как вопрос о наследстве: его формировании и передаче. О каком бы месте социального мира ни шла речь, наследник является не простым адресатом дохода или привилегий, но агентом, наделенным показательной или критической ценностью, осуществляющим оптимальную подстройку двух порядков: внешнего, т. е. распределения шансов на обладание, и внутреннего, т. е. веры в предназначение, для которого избран или уготован. Наследник — это тот, кто «предрасположен» получать то, на что он может претендовать, что сделано для него. Действительно, в качестве таковых блага формируются лишь в отношениях присвоения, которые предполагают существование потенциальных обладателей, признанных и признающих себя достойными эти блага присвоить. Что касается социологии культуры, если она также обнаруживает своих наследников, то лишь потому, что распространяет на особую область анализ структурных инвариантов опыта социального мира с его предельными формами: теплыми

Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

отношениями со своими и безразличием к невзгодам чужака и исключенного. Наследник в той мере противопоставлен исключенному, в какой новоприбывший — уже добившемуся успеха. Своим невозможным избранникам, наследникам низкого происхождения, школа предлагает собственных отцов — новое родство и судьбу человека, отписавшего свое имущество монастырю и живущего в нем. Реально избежать этого можно, лишь благодаря обращенной вспять, т. е. невозможной, науке, которая была бы наукой об этой символической, мягкой и легитимной, узурпации.

Пьер Бурдьё не переставал исследовать пространство возможного на предмет наследства, начиная с тех, кто в

²⁴ Эта книга отмечает «кульминационную точку, по крайней мере, в биографическом смысле, в своего рода "эпистемологическом эксперименте", который был начат мною, причем совершенно сознательно, в начале шестидесятых годов» (*Bourdieu P. Réponses... P. 47*).

215

колониальном мире лишен всякого наследства, заканчивая полноправными наследниками — крупными управленцами или представителями вида *homo academicus*, включая промежуточные варианты: наследников без будущего на бесплодной земле и тех несчастливых наследников, кто, ведомый легитимной дерзостью, иногда совершает «символическую революцию»²⁵. Изучение университетской системы позволило ему не только взять в качестве объекта отношения между школьной иерархией ценностей и социальной иерархией, воспроизводимой в габитусе, и тем самым вскрыть механизмы школьного отбора, но также выделить — чтобы включить в анализ — такую величину, которая передается наследникам, возрастает, уменьшается и исчезает, подобно капиталу, но о которой никто ранее не подозревал, что она может быть капиталом. Речь идет о «культурном капитале», величине, которая никогда не может быть объективирована окончательно, поскольку несет отметку тех, кто присваивает его легитимно и естественно; тех, кто лишает смелости чужаков, обреченных пройти испытание полной конверсией, если не удастся уговорить их отказаться от претензий. Способ существования, определяющий габитус, — это способ обладания и использования, способ приобретения, в котором запечатлевается время — продолжительность стажера или научения, в котором также указывается будущее: стабильное будущее, приемлемое будущее и т. д. Специфическими средствами и в своей области социолог заново открывает принципы критики Лейбницем картезианского механицизма, в частности, отказ от допущения исключительно внешнего источника движения, поскольку за актуальными позициями и точечными событиями, доступными эмпирическому наблюдению, он стремится различить своего рода невидимую силу предшествующего движения и

²³ Можно выдвинуть следующую гипотезу: формирование интеллектуального габитуса Пьера Бурдьё могло стать уникальным результатом двойного кризиса воспроизводства: того, что затронул крестьянский мир, из которого вышел Бурдьё, и более современного, который поставил под вопрос основы университетской институции.

216

предвосхищение будущих «состояний», короче говоря, динамическое единство энергии или усилия. В этом случае значимая реальность не может быть чем-то иным, кроме реальности «траекторий»²⁶, поскольку изучаемые индивиды раскрывают всю полноту своей идентичности, только если удастся развернуть во времени закон их изменений, их «формулу». Капитал — это такая неравномерно распределенная и неравнодоступная ценность, которая приобретает не мгновенно, но предполагает наличие инструментов присвоения. Здесь все подчинено своей мере²⁷ и ничто не сводится к чистой субъективности — исходному источнику выбора и рациональности. В каком-то смысле социальный мир есть мир наследников, поскольку отсутствие наследства — это тоже нечто, передающееся по наследству.

Если книга «Наследники» была новаторской, то прежде всего потому, что предлагала новый способ говорить о культуре, принимая в расчет предпосылки различных культурных практик в студенческой среде и, конечно, за ее пределами. Поскольку доминирующий дискурс о культуре неразрывно связан с «внутренней» трактовкой их содержания (*opus operatum*), то научная точка зрения, напротив, предполагает анализ отношения к культуре (*modus operandi*), с ее образцовыми моделями и в ее различных модальностях. Принципы соответствия здесь были существенным образом скорректированы. Лишившись защитной оболочки снисходительности, как в случае туземцев, культурное содержание оказалось подвергнуто осмыслению в связи с очень разнящимися по социальному определению универсумами, объединенными в этом содержании благодаря единому организующему принципу — габитусу, действующему как посредством разума, так и посредством тела, выражаясь в жестах и манерах, но также и во

²⁶ Вот почему анализ условий передачи культурного (символического) капитала позволяет лучше понять формирование габитуса и условия наследования.

²⁷ Эта очень общая формулировка не должна заставлять забыть о множественности форм капитала, соответствующей множественности дифференцированных социальных универсумов.

217

вкусе (и его отсутствии). Основной инвариант, на который была направлена работа по прояснению и уточнению — габитус доминирующих, — в различных областях и обстоятельствах характеризовался такими чертами, как непринужденность, естественность, изящество, а также признаками раннего знакомства с высшими ценностями, уверенностью, обеспечивавшей дистанцию в отношении общих правил, принуждений и необходимости. Это видение ставило под вопрос некоторые неявные предпосылки той точки зрения, которую интеллектуалы склонны иметь в отношении «буржуа», и Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

вскрыло фундамент тайного согласия, этот дух близости, который объединяет доминирующих — буржуа и интеллектуалов, — несмотря на наиболее очевидные различия, существующие между ними. Приоритет, отданный практическому чувству в форме «отношения к культуре», обозначал или, лучше, иллюстрировал революцию в научном представлении о социальном мире, которую можно было бы назвать коперниканской: объективное знание включает знание условий объективации. Осмыслить условия наследования не значило взяться за один из множества объектов, это значило предоставить средство интеллектуального освобождения по отношению к любому наследству, обнаружить форму немислимого не в тайных основаниях так называемой «цивилизации Запада», как это делают теоретики, но в негласных схемах (безобидных и действенных), определяющих и ограничивающих легитимное мышление. И это грозило обескуражить всех тех, кого специфический капитал превращал в теоретиков и кто, ожидая от науки «теоретического» взгляда в споре о допустимых и признанных вариантах выбора, обнаружил, что теория практики предназначена для использования также и в отношении «теоретических» сюжетов и даже философии.

Теория как знание и власть

Практическая генеалогия теории практики должна была бы прояснить, как «коперниканские» опровержения, ли-

218

шенные счастливой определенности, которая свойственна наследству, могли быть подкреплены иным способом. Прежде всего, следовало бы отметить, что, пользуясь доминирующим представлением о теории, несущим на себе отпечаток философской культуры, социология (и прежде всего эмпирическая) была обречена на положение отверженной в поле теории. Поскольку структурализм — позиция, доминирующая в сравнении с социологией, презираемой философами, — казалось, воплощает интеллектуализм в его наиболее полной форме, обнаруживая работу устойчивых и сложных логик в отношениях родства, обмена и мифах, низвержение его господства предполагало введение более мощной теории, способной объединить в себе все ранее сделанные приобретения, одновременно указав границы их действенности. Речь шла о том, чтобы предложить теорию, которая, продвинувшись далее своих предшественниц, виновных в том, что Бурдьё назвал «непомерным отречением»²⁸, могла бы учитывать даже наименее поддающуюся ученому разумению компоненту — жизненный опыт туземцев. Таковой должен был трактоваться не как своего рода остаток, но как неотъемлемая часть самой реальности. «Объективная истина», с которой срывает покровы научный взгляд, всегда находится в сознании или бессознательном агентов или, если угодно, она их обуславливает, но только в форме сокрытия или отрицания, свойственной человеку чести традиционного общества, который, как на первый взгляд, «дает, не считая»²⁹, или современному студенту, который стремится бесконечно продлить неопределенность существования без принуждений³⁰. Познание социальных условий незнания образует один из основополагающих аспектов науки,

²⁸ Un art moyen... P. 17.

²⁹ См. исследование «Чувство чести» (воспроизведенное в «Наброске теории практики», *op. cit.*), где можно обнаружить, в частности, на с. 43, первый набросок (1960 год) анализа предельной связи между честью и экономикой, даром и обменом и т. д.

³⁰ См.: Bourdieu P., Passeron J.-C. Les Héritiers. Les étudiants et la culture. P.: Minuit, 1964. P. 83 et sq.

219

если принять, что социальный мир существует также в объективности представлений и точек зрения.

Наконец, невозможно не заметить, что задуманная как альтернатива структурализму теория, предложенная Пьером Бурдьё, позволяла преодолеть ограничения, накладываемые объектом, и поставить вопрос об общей антропологии, охватывающей этнологию и социологию. В самом деле, интеллектуальные предпосылки структурализма были связаны прежде всего с характеристиками мало дифференцированных универсумов, изучаемых этнологами, которые, не всегда замечая это, работают над предельным случаем общества, где силовые отношения наименее выражены. Именно отсюда вытекает предрасположенность рассматривать структуры преимущественно в когнитивном контексте «смысла»³¹. Теория же практики, в силу приоритетного внимания к стратегиям, интересам, капиталам, напротив, могла оказаться более пригодной к описанию дифференцированных универсумов, таких, как современные общества. Научный выигрыш мог быть получен без отказа от преэминентности, поскольку и в рамках докапиталистических обществ можно обнаружить одну из форм капитала — символический капитал, — имеющую эквивалент в наших обществах. Такая общая антропология, предложенная Бурдьё, изменяла статус прежде доминировавшей структуралистской теории, указывая ее ограниченную и отчасти ущербную функцию на одном из полюсов оси теорий. В пространстве базовых возможностей эта теория, связанная с именами Дюркгейма, Кассирера, Соссюра, была расположена учитывать логические классификации, но показала свою неспособность объяснить борьбу, конфликт, политику, оставляя эту задачу для другого полюса, воплощенного в фигурах Вебера и, еще более, Маркса³², со свой-

³¹ Существовали попытки адаптировать структурализм к изучению развитых обществ, однако они оказались направлены на включение формализма и идеализма в модные «семиологические» подходы, применяемые в отношении литературных текстов и т. д.

³² См. ранее упоминавшуюся статью «Генезис и структура религиозного поля»: «Чтобы разорвать один

из этих магических кругов и не попасть при этом в другой... следует попытаться разместиться в геометрическом месте различных перспектив, т. е. в такой точке, откуда можно воспринимать одновременно то, что может, и то, что не может быть воспринято с каждой отдельной точки зрения» (с. 295).

220

ственными этому полюсу собственными ограничениями и слепыми пятнами. Но одной из главных выгод преодоления логоцентрических и интеллектуалистских предпосылок было, возможно, изменение правил игры, когда конкуренты, обладающие теоретическими ресурсами, были вынуждены отказаться от привилегии внешнего наблюдателя за социальным миром. Социолог, который не мог забыть, что он также является ученым, помнил о необходимости брать в качестве объекта точки зрения, с которых социальный мир воспринимается и конструируется. Господствующим иерархиям, воспроизводящим точку зрения доминирующих, он противопоставлял единственное доступное ему оружие борьбы — тотальную объективацию, без предрассудков и цензуры охватывающую не только совокупность возможных «объектов», но также и объективаций этих объектов, т. е., в конечном счете, производителей этих объективаций.

Однако недостаточно, как иногда для быстроты говорят, «социологизировать» других и «социологизировать» себя. Следует также принять в расчет особенности борьбы и ее ставок. А для этого — преодолеть еще одну альтернативу, оппозицию частного и всеобщего, истории и научной рациональности, отвергнуть выбор между циничным взглядом на считающиеся наиболее чистыми устремления (например, свойственные ученым) и идеалистическим прекрасодушием. Наука — это такая игра, которая не может протекать без страстей, но последствия, вызванные противоречием, не сводятся только к ним. Эту игру можно рассматривать эпистемологически, как совокупность результатов, или социологически, как бесконечное движение, но никогда нельзя упускать из вида процесс конструирования всеобщего. В этом и состоит одна из функций разработанного вслед за понятием габитуса понятия

221

поля³³: сделать возможным и обосновать объективный анализ конкурирующих (и не только) позиций, в частности, в интеллектуальном универсуме. Заменяя практическое (и порой весьма болезненное) переживание альтернатив и конфликтов в режиме непосредственного участия, мышление в терминах поля становится тем интеллектуальным завоеванием, которое позволяет осмыслить точки зрения в их относительной (относительно одной точки зрения) истинности. Ставя под вопрос теоретически необсуждаемое, учреждающее науку как истину в последней инстанции, мышление в терминах поля предлагает не релятивистскую догму, но утверждение имманентности, т. е. глубокой историчности всякого культурного производства, включая такой «предельный случай», как научный разум³⁴. Нет ни догматизма, ни терроризма в этом действии, которое, конечно, «объективирует», но предоставляет всем опосредованное и, таким образом, избавленное от излишнего драматизма осознание объективных основ различий и разногласий. Оно состоит в конкретном указании на то, что любая позиция, поскольку она вписана в поле, может быть подвергнута сугубо позитивному описанию, которому не будет предпослана эпистемологическая оценка, даже если она дается для его существенного, а порой и решающего прояснения. Но не является ли подобный радикальный рационализм тем, что заставляет насколько возможно дальше идти в признании действия исторических детерминаций, включая происхождение всеобщего?

³³ Поскольку это понятие позволяет прояснить вопрос единства анализа и заставляет основательно пересмотреть спонтанный взгляд на выбор и на причинность в социальном мире, оно оказывается необходимым в теории практики, увенчивая ее и в то же время усложняя.

³⁴ Об историчности разума см., например: *Бурдьё П. Ориентиры // Бурдьё П. Начала / Пер. с фр. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1994. С. 69 и далее; Bourdieu P. Réponses... P. 162 sq.*

222

* * *

Не знаю, сумел ли я передать то оригинальное представление о теории, которое, на мой взгляд, дают труды Пьера Бурдьё. Нет ничего более отличающегося от обычного понимания. «Теория» — в той мере, в какой это слово может быть использовано в данном случае — это прежде всего метод работы, основанный на рефлексивности, каковая составляет «главный результат всего предприятия» Бурдьё³⁵. Социология обязана собственными средствами деконструировать то, что социальный мир конструирует в реальности посредством языка — научно деконструировать социально действенные и нередко признаваемые за легитимные конструкции. Таким образом, она основывается на благотворном методологическом номинализме, позволяющем сопротивляться языковым идолам, фетишам теоретического дискурса, эффектам коллективных образований (школы, класса, государства...). Однако эта критическая установка, имеющая очевидные философские предпосылки, отличается от установок, традиционно царившей в философии, тем, что всегда отпирывается от социального мира, чтобы осмыслить как объективные условия сознания, так и то, что ему препятствует. Тогда как проблемы, поставленные философами, зачастую отражают особенности интеллектуальной практики, над которой господствует «схоластическая» абстракция, на что указывает несостоятельность примеров, опирающихся на несколько упрощенную феноменологию, достоинство социологии Пьера Бурдьё — постоянное стремление соразмерять «теоретические» цели с эмпирически верифицируемыми средствами, предлагаемыми социологической практикой. Это метод ведет к «растворению»³⁶ некоторых во-

Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

³⁵ Бурдьё П. Практический смысл... Предисловие.

³⁶ «"Растворять" большие вопросы путем постановки их по поводу объектов социально незначительных и даже несущественных или, во всяком случае, сильно ограниченных и, следовательно, поддающихся эмпирическому восприятию, как фотографические опыты» (Бурдьё П. *Fieldwork in philosophy...* С. 36).

223

просов, указывая на фиктивный характер антиномий, их обосновывающих: субъективное и объективное, основание и причина, объяснение и понимание, экономика и культура... — оттого, что философы забывают принимать их к рассмотрению, во имя разработки концепции, которая, по их убеждению, имеет сугубо внутреннее происхождение, эти антиномии не становятся менее социально обоснованными.

Возможно, это по крайней их наивности.

Перевод с французского А. Т. Бикбова

Жак Бурдьё. ПРАВИЛА, ДИСПОЗИЦИИ И ГАБИТУС*

Если существует точка соприкосновения между Бурдьё и Витгенштейном, то это острое осознание двойственности слова «правило» или то, что я назвал бы различными смыслами — возможно, даже очень различными, — в которых слово «правило» может употребляться. Бурдьё в своей книге «Набросок теории практики» уже цитировал отрывок из «Философских исследований», в котором Витгенштейн задает вопрос, в каком смысле можно говорить о «правиле, по которому он действует» и всегда ли можно говорить о чем-либо в этом роде, когда некто употребляет это слово:

«Что я называю "правилом, по которому он действует"? — Гипотезу, удовлетворительно описывающую наблюдаемое нами его употребление слов; или правило, которым он руководствуется при употреблении знаков; или же то, что он говорит нам в ответ на вопрос о его правиле? — Но что если наблюдение не позволяет четко установить

* Статья представляет собой исправленную и дополненную французскую версию доклада, сделанного в Берлине во время коллоквиума, посвященного творчеству Пьера Бурдьё. На немецком языке доклад опубликован под названием «Was ist eine Regel?» в книге: *Praxis und Aesthetik: Neue Perspektiven im Denken Pierre Bourdieus* / Hrsg. von G. Gebauer und Ch. Wulf. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1993. S. 41-56. Русский перевод осуществлен по изданию: *Bouveresse J. Règles, dispositions et habitus // Critique*. № 579-580. 1995. P. 573-594.

© Bouveresse J., 1995

225

правило и не способствует прояснению вопроса? — Ведь, дав мне, например, ответ, что он понимает под *N* ту или иную дефиницию, он тотчас же был готов взять ее обратно и как-то изменить. — Ну, а как же определить правило, по которому он играет? Он сам его не знает. — Или вернее: что же в данном случае должна означать фраза "Правило, по которому он действует"?¹

Существуют, со всей очевидностью, два уровня, которые нужно четко различать в его разоблачении того, что можно назвать «мифологией правил». Приведенный отрывок является частью критики идеи языка как исчисления, которой Витгенштейн еще придерживался в эпоху «Трактата», то есть предположения, что «произнося предложение и *осмысляя* или *понимая* его, человек тем самым якобы проводит исчисление по определенным правилам»². Это просто неверно, замечает Витгенштейн, что употребляя такое слово, как, например, слово «стул», «мы располагаем правилами всех его возможных применений»³; и это вовсе не означает, что мы, по сути, не связываем с этим словом никакого значения. Употребление слова может быть правильным, не будучи при этом «полностью ограничено правилами»⁴.

Но Витгенштейн также критикует концепцию, которую можно назвать «механистической», — концепцию того, что происходит в том случае, когда мы действительно имеем дело с исчислением, подчиняющимся совершенно строгим правилам. Когда мы применяем совершенно эксплицитные и однозначные правила, наподобие тех, которые мы используем в математике, кажется, что понимание правила в некотором роде определено заранее, раз и навсегда и должно осуществляться в каждом случае. Обсуждая эту кон-

¹ Wittgenstein L. *Philosophische Untersuchungen* // Wittgenstein L. *Werkausgabe*. Band I. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1984. § 82. (Здесь и далее перевод приводится по: Витгенштейн Л. *Философские исследования* // Витгенштейн Л. *Философские работы* / Пер. с нем. Ч. I. М.: Гнозис, 1994. С. 118.)

² Ibid. §81.

³ Ibid. §80.

⁴ Ibid. §84.

226

цепцию, Витгенштейн прибегает к метафоре бесконечных рельсов, назначение которых состоит только в том, чтобы по ним следовать. Однако рельсы могут быть полезными лишь при условии, если опыт понимания сообщает нам недвусмысленное представление об их невидимой части, которая выходит за пределы того, что находится перед глазами, и так до бесконечности. Но как раз в этом и состоит проблема. Если невозможно считать, что все переходы уже были осуществлены — в некотором смысле мгновенно, в акте понимания, — мы, видимо, вынуждены обратиться к интуиции или к моментальному впечатлению, чтобы каждый раз определять тот способ, каким рельсы продолжают и которым, следовательно, их нужно продолжать, чтобы правильно применять правило. Нам хотелось бы

понять способ, каким понимание может дать тому, кто следует правилу, уверенность (по большей части оправдываемую и подтверждаемую тем, как он фактически применяет правило), что он находится и при любых обстоятельствах будет находиться на рельсах его правильного использования. Даже если употребление слова подчинялось бы совершенно строгим правилам, оставалась бы проблема, которая вытекает из того, что называют «парадоксом Витгенштейна» и которую лучше было бы назвать «парадоксом Крипке».

В силу очевидных причин Бурдьё особенно чувствителен к смешению, которое часто допускается, в частности социологами, между двумя очень различными употреблениями слова «правило»: правило как объяснительная гипотеза, сформулированная теоретиком для понимания того, что он наблюдает, и правило как принцип, в действительности регулирующий практику агентов. Именно это смешение приводит к тому, что «принципом практики агентов становится теория, которую необходимо сконструировать для ее понимания»⁵. Из-за этого почти неизбежного смешения Бурдьё в конечном итоге обращается к терминам стратегии, габитуса и диспозиций, а не к термину «прави-

⁵ Bourdieu P. Choses dites. P.: Minuit, 1987. P. 76.

227

ло». В «Началах» он объясняет, что не нужно смешивать существование некой *регулярности* с наличием *правила*.

«Социальная игра, — пишет он, — регулируема, она — место регулярностей. События происходят в ней регулярным образом; богатые наследники *регулярно* заключают браки с младшими дочерьми из богатых семейств. Это не означает, что для богатых наследников является правилом жениться на богатых младших дочерях, даже если считать, что жениться на наследнице (даже богатой), а тем более на бедной младшей дочери — это промах, а в глазах родителей — даже ошибка. Могу сказать, что все мои рассуждения исходят отсюда: каким образом поступки могут регулироваться, не являясь продуктом подчинения правилам? <...> Для того чтобы сконструировать *модель* игры, которая не является ни простой регистрацией эксплицитных норм, ни высказыванием закономерностей, но одновременно интегрирует то и другое, необходимо *продумать различные способы существования* принципов регулирования и регулярности практик: конечно, существует габитус — регулируемая диспозиция, порождающая регулируемые и регулярные условия вне всякого обращения к правилам; и в обществах, где не очень развита кодификация, габитус является принципом большинства практик»⁶.

Лейбниц говорит, что мы обладаем *габитусом* для некой вещи, когда эта вещь делается обыкновенно на основании предрасположенности агента (*Habitus est ad id quod solet fieri ex agentis dispositione*) и определяет *спонтанное* как то, принцип чего заключен в агенте (*Spontaneum est, cum principium agentis in agente*)⁷. Свобода добавляет к спонтанности идею решения, основанного на размышлении. Свободу можно определить как «спонтанность вкупе с размышлением» (*Liberias spontaneitas consultantis*) или как рациональную, или осмысленную, спонтанность. Животные наделены спонтанностью, но, не будучи наделены разумом, они не способны к свободным действиям. То, что

⁶ Ibid. P. 81-82.

⁷ См.: Leibniz W. G. Opuscles et Fragments inédits/ Publiés par L. Couturat, Georg Olms. Hildesheim, 1966. P. 474.

228

поведение агента является продуктом габитуса, отнюдь не угрожает спонтанности его действия, если только последнее не является результатом внешнего принуждения, но диспозиции, которая заключена в самом агенте. Но в той мере, в какой осуществление свободы включает размышление, большая часть наших действий, особенно тех, которые проистекают из габитуса, — действия просто спонтанные, а не собственно свободные, хотя они явно не являются вынужденными. Можно заметить, что причина, по которой существование детерминизмов — подобных тем, что описывает социология — легко создает впечатление угрозы не только свободе, но и спонтанности регулярных действий, ничуть не исходит от регулярностей, которые данные детерминизмы производят в поведении агентов, какими бы строгими эти регулярности ни были. Она связана скорее с тем, что сегодня мы, возможно, испытываем — по причинам, отнюдь не чуждым прогрессу научных знаний вообще и социальных наук, в частности, — трудность (гораздо большую, нежели Аристотель и Лейбниц) делать различие между действиями, чей принцип заключен «в» агенте, и теми, принцип которых лежит вне его и которые могут осуществляться не только без него, но также против него. Однако философская проблема свободы возникает вместе с идеей незамечаемого принуждения и невидимой тюрьмы. Мысль о том, что мы можем не быть свободными, пугает нас потому, что мы чувствуем, что в противном случае мы окажемся в невыносимых условиях. И, как отмечает Деннет, литература дает нам в этом смысле множество аналогий — одна тревожнее другой: «Быть несвободным — это то же самое, что находиться в тюрьме, или быть загипнотизированным, или парализованным, или быть марионеткой, или... (список можно продолжить)»⁸.

Деннет считает, что эти аналогии не являются простыми иллюстрациями, но лежат в основании самой философской проблемы:

⁸ Dennett D. C. Elbow Room: The varieties of free will worth wanting. Oxford: Clarendon Press, 1984. P. 5.

229

«Уверены ли Вы, что Вы не находитесь в некоем подобии тюрьмы? Давайте рассмотрим цепь трансформаций, которые ведут нас от очевидных тюрем к тюрьмам неочевидным (но не менее ужасным),

к тюрьмам совершенно невидимым и необнаружимым (но не менее ужасным). Возьмите оленя в парке Магдален-колледжа. Находится ли он в заточении? Да, но не слишком. Загон очень просторный. Предположим, что мы перевели его в еще более просторный загон. Скажем, Нью Форест, обнесенный оградой. Будет ли он теперь в заточении? Мне говорили, что в штате Мэн олени не отходят более чем на пять миль от того места, где они родились. Если бы ограда находилась за привычными, преодолеваемыми без всяких препятствий границами странствий, которые олень совершает в своей жизни, то будет ли он внутри этой ограды в заточении? Возможно. Но заметьте, что для нас очень важно, была ли ограда установлена кем-то или нет. Чувствуете ли Вы себя в заточении на планете Земля — подобно тому, как Наполеон был заточен на острове Эльба? Одно дело родиться и жить на острове Эльба, совсем другое — быть помещенным и удерживаемым на этом острове кем-то другим. Тюрьма без тюремщика не тюрьма. Является ли она нежелательным местом или нет, зависит от других характеристик; это зависит от способа (если он вообще есть), каким она налагает парализующие ограничения на стиль жизни ее обитателей⁹.

Этих рассуждений вполне достаточно для того, чтобы объяснить, почему теории, которые обращаются к социальным механизмам и детерминизмам для объяснения наших, на первый взгляд, самых свободных и личных действий, чаще всего воспринимаются как простое отрицание самой реальности того, что мы называем свободой личности. Тягостно и даже невыносимо не то, что свобода наших действий осуществляется в пределах, которые, возможно, не являются теми, которые мы представляли себе (хотя они могут быть в точности такими, какими они должны быть, чтобы мы оставались теми, какими мы считаем себя, а именно свободными), но мысль о том, что нами, даже в наших,

⁹ Ibid. P. 8.

230

по-видимому, самых свободных действиях, могут полностью манипулировать невидимые агенты, которые, как пишет Деннет, «соперничают с нами за контроль над нашими телами [или, что еще тяжелее, над нашими душами. — Ж. Б.], которые объединяются против нас, интересы которых противоположны нашим интересам или, по крайней мере, независимы от них»¹⁰. Мы считаем, например, почти само собой разумеющимся, что род свободы, в которой мы нуждаемся и которая единственно достойна нашего обладания — это свобода, при которой «мы всегда могли бы поступить иначе». Однако, как отмечает Деннет, в серьезном рассмотрении нуждается как раз само это предположение, а не попытки описания необходимых и достаточных условий такой свободы. Лейбниц, со своей стороны, не видел никакого противоречия в том, что действие может быть полностью детерминировано (что для него совсем не одно и то же, что необходимо) и в то же время совершенно свободно.

* * *

В социальной игре определенное число регулярных видов поведения является прямым результатом воли следовать кодифицированным и признанным правилам. В этом случае регулярность является продуктом правила, и подчинение правилу — сознательный акт, который включает знание и понимание того, о чем правило говорит в данном случае. На другом полюсе находятся регулярности, объясняемые чисто каузально с помощью лежащих в их основании «механизмов» в смысле, не слишком отличном от объяснения регулярного поведения природных объектов. Кроме того, как в науках о человеке, так и в науках о природе мы склонны предполагать, что везде, где существуют характерные регулярности, они должны вызываться действием механизмов, которые, будучи известными, позволяли бы эти регулярности объяснить. Однако существует так-

¹⁰ Dennett D. C. Elbow Room... P. 7.

231

же регулярное социальное поведение — и, возможно, оно является наиболее частым, — которое нельзя удовлетворительно объяснить ни обращением к правилам, по которым агенты сознательно выстраивают свое поведение, ни с помощью терминов грубой причинности. Именно на этом промежуточном уровне Бурдые вводит ключевое понятие *габитуса*.

Отметим попутно, что если Витгенштейн систематически критикует тенденцию мыслить действие правила в качестве осуществляющегося таким же образом, что и действие каузального закона, как если бы правило действовало в некотором роде наподобие движущей силы, вынуждающей пользователя двигаться в определенном направлении, он с такой же решимостью отвергает и другую форму мифологии, состоящую в понимании законов природы как правил, которым природные явления вынуждены следовать. В недавно опубликованной лекции о свободе воли и детерминизме он подчеркивает, что закон есть выражение некой регулярности, но он не является причиной существования этой регулярности, как это было бы, если бы можно было сказать, что объекты ведут себя так, а не иначе, поскольку сам закон вынуждает их к этому. Из этого Витгенштейн заключает, что даже если человеческие решения обнаруживают регулярности, которые можно выразить в форме законов, не совсем ясно, почему эти решения не могут быть свободными: «Не существует причины, по которой, даже если бы в решениях была регулярность, я был бы не свободен. В регулярности нет ничего, что делало бы нечто свободным или несвободным. Понятие принуждения появляется, если вы думаете о регулярности как о принуждении, как о произведенном рельсами, если, кроме понятия принуждения, вы вводите в игру понятие: нечто должно перемещаться таким образом, поскольку так были положены рельсы»¹¹. Витгенштейн полагает, что употребление таких выражений, как «свободный», «ответственный», «невозможно удержаться от» и т. д. «совершенно не

¹¹ Wittgenstein L. Lecture on freedom of the will // Philosophical Investigations. Vol. 12. № 2. 1989. P. 87.

232

зависит от вопроса, существуют ли законы природы»¹². И, по его мнению, оно точно так же не зависит от вопроса, существуют ли, например, законы психологии или социологии. Вследствие этого характерные регулярности, которые обнаруживает социология и науки о человеке в поведении индивидуальных агентов, сами по себе не ведут к отрицанию свободы и ответственности их действий. Предположим, что я знаю все (больше, чем физики, биологи, психологи, социологи и т. д.), и это позволяет мне с уверенностью рассчитать, что кто-либо совершит в данный момент, например, что он совершит кражу. Означает ли это, что я должен с необходимостью отказаться считать его ответственным? «В какой мере, — спрашивает Витгенштейн, — я могу говорить, что это делает его более похожим на машину — если не в той, в какой я хочу сказать, что могу лучше предсказывать»¹³?

Бурдые обращается к понятию габитуса, чтобы найти средний путь между объективизмом, в котором он упрекает структуралистов, например, Леви-Строса, и спонтанеизмом, который философия субъекта пытается ему противопоставить. Структуралисты мыслят социальный мир «как пространство объективных отношений, трансцендентное по отношению к агентам и несводимое к взаимодействию между индивидами»¹⁴. Бурдые стремится заново ввести агентов, которых структурализм сводит к состоянию «простых эпифеноменов структуры»¹⁵, но не субъекта «гуманистической» традиции, который действует исключительно в зависимости от намерений, которые он знает и которыми он управляет, а не в зависимости от детерминирующих причин, о которых он ничего не знает и на которые он никак не может повлиять. В этом он также близок к Витгенштейну, для которого решение не состоит в выбо-

¹² Bouwsma O. K. Wittgenstein: Conversations 1949-1951 / Ed. by J. L. Craft and E. Roland. Hustwit; Indianapolis: Hackett Publishing Company. 1986. P. 15.

¹³ Wittgenstein L. Lecture on freedom of the will... P. 92.

¹⁴ Bourdieu P. Choses dites... P. 18.

¹⁵ Ibid. P. 19.

233

ре между традиционным философским понятием говорящего и действующего *субъекта*, которое в действительности более чем подозрительно, и идеей безличных автономных механизмов, которые являются в некотором роде настоящими производителями высказываний и действий, авторами которых наивно считают себя субъекты. Обе эти концепции одинаково мифические, и в реальности возможен третий путь.

Одним из главных недостатков понятия правила, по мнению Бурдые, является то, что поскольку без дальнейшего уточнения оно может применяться к совершенно разным вещам, оно позволяет замаскировать существенные противоречия, например, между его собственной позицией и позицией Леви-Строса:

«Мне кажется, что оппозиция маскируется двойственностью слова "правило", позволяющей устранить саму проблему, которую я пытался поставить: мы никогда точно не знаем, понимается ли под правилом принцип юридического или квазюридического характера, более или менее сознательно произведенный и усвоенный агентами, или же это совокупность объективных регулярностей, которая навязывается всем, кто участвует в данной игре. Именно эти смыслы имеют в виду, когда говорят о правиле игры. Но можно держать в голове еще и третий смысл — смысл модели — принцип, созданный учеными для того, чтобы понять игру. Я считаю, что скрывая такие различия, мы рискуем впасть в одно из самых пагубных заблуждений в науках о человеке, которое состоит в том, чтобы выдавать, по старому выражению Маркса, "вещи логики за логику вещей". [Витгенштейн говорил: "Вещи приписывается то, что заключено в способе представления". — Ж. Б.] Чтобы избежать этого, нужно вписать в теорию реальный принцип стратегий, т. е. практическое чувство, или, если хотите, то, что спортсмены называют чувством игры — практическое владение логикой или имманентной необходимостью игры, которое приобретает с опытом игры и функционирует вне сознания и дискурса (как, например, техники тела). Такие понятия, как габитус (или система диспозиций), практическое чувство, стратегия

234

связаны со стремлением выйти из структуралистского объективизма, не впадая в субъективизм»¹⁶.

Как неоднократно отмечал Витгенштейн, обучение игре может происходить с помощью формулирования и эксплицитного усвоения правил, управляющих игрой. Но можно усвоить род правильного поведения, соответствующего практическому владению игрой, без того, чтобы высказывание каких-либо правил участвовало в данном процессе. Я могу знать, как правильно продолжить ряд чисел, потому что мне в голову пришла некая алгебраическая формула, порождающая этот ряд; но я могу быть уверен, что сумею правильно продолжить и в действительности сделать это без того, чтобы какое-либо правило пришло мне в голову, т. е. не располагая ничем другим, кроме примеров. Случай обучения языку относится скорее ко второму типу, нежели к первому. Наконец, существует ситуация внешнего наблюдателя, который пытается объяснить игру и формулирует гипотезы о правилах, которым могли бы следовать игроки и которым они, возможно, следуют на самом деле, т. е. пытается сформулировать систему правил, неявное или явное знание которых составляло бы достаточное условие (но не обязательно необходимое) для того, чтобы характерные регулярности, которые наблюдаются в поведении акторов, осуществлялись на самом деле. В большинстве случаев то, что Бурдые называет практическим чувством игры, сочетается с «теоретическим» знанием (если они существуют) и приобретает только в практике игры. Практическое знание приобретает только посредством практики и выражается только в некой практике. Однако в случае социальной игры, в которой регулярности без правил являются, если можно так выразиться, скорее правилом, чем исключением, Социоанализ Пьера Бурдые. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

тщетной представляется попытка выйти за пределы понятий практического чувства или чувства игры в поисках такого понятия, как, например, система правил игры. Ведь ничто не доказывает, что любое практическое знание можно рекон-

¹⁶ Bourdieu P. Choses dites... P. 76-77.

235

струировать в форме имплицитного знания соответствующей теории. Х. Патнэм и другие высказывали мнение о том, что некоторые практические способности, например способность говорить на языке, возможно, слишком сложны, чтобы их можно было реконструировать подобным образом. В такого рода случаях описание практического знания, которое делает возможным данная практика, вероятно, не будет слишком отличаться от соответствующего описания самой практики.

* * *

Несомненно, теоретическая роль, которую играет у Бурдьё понятие габитуса или близкие к нему понятия, весьма значительна. Габитус позволяет понять то, как «поведение может быть ориентировано на цель, не будучи сознательно направленным к этой цели, направляемым этой целью»¹⁷.

«Габитус, — продолжает он, — устанавливает с социальным миром, продуктом которого он является, настоящее онтологическое соучастие, принцип знания без сознания, интенциональности без интенции и практического освоения регулярностей мира, позволяющий предвосхищать будущее без того, чтобы полагать его как таковое»¹⁸.

И он сожалеет, что к его анализу часто применяют «те самые альтернативы, которые понятие габитуса стремится преодолеть, — сознание и бессознательное, объяснение посредством детерминирующих или посредством конечных причин»¹⁹. Понятие габитуса позволяет объяснить то, как субъект практики может быть детерминированным и в то же время действующим. Поскольку габитус не имеет *ментальной* природы (существуют телесные габитусы), он находится вне различия между сознанием и бессознательным, а также вне различия между тем, что является продуктом простого каузального принуждения, и тем, что

¹⁷ Ibid. P. 20.

¹⁸ Ibid. P. 22.

¹⁹ Ibid. P. 20.

236

является «свободным», в том смысле, что он избегает всякого принуждения подобного рода. Бурдьё особенно настаивает на «творческом» аспекте практик, управляемых габитусом:

«...Я хотел противодействовать механистической ориентации Соссюра (который — я показал это в "Практическом смысле" — понимает практику как простое *исполнение*) и структурализму. Весьма сближаясь в этом с Хомским, у которого я обнаружил то же стремление придать практике активную, творческую интенцию (некоторым защитникам персонализма оно казалось оплотом свободы от структуралистского детерминизма), я настаивал на *порождающей способности* диспозиций, подчеркивая, что речь идет о приобретенных, социально конституированных диспозициях. Ясно, до какой степени абсурдна каталогизация, стремящаяся включить в разрушающий субъекта структурализм работу, которая руководствуется желанием восстановить практику агента, его способность изобретать, импровизировать. Но я хотел напомнить, что такая "творческая", активная, изобретательная способность — это способность не трансцендентального субъекта идеалистической традиции, но действующего агента»²⁰.

Иногда Бурдьё говорил даже, что в таких сложнейших играх, как матримониальные обмены или ритуальные практики, участвует система диспозиций, которую можно мыслить по аналогии с порождающей грамматикой Хомского «с той разницей, что дело касается диспозиций, *приобретенных в результате опыта*, следовательно, изменяющихся в зависимости от места и времени. Это "чувство игры", как говорят французы, позволяет порождать бесконечное число поступков, приспособленных к бесконечному числу возможных ситуаций, которые ни одно правило, каким бы сложным оно ни было, не может предусмотреть. Таким образом, правила родства я заменил матримониальными стратегиями»²¹.

²⁰ Bourdieu P. Choses dites... P. 23.

²¹ Ibid. P. 19.

237

Обращение к Хомскому в такого рода контексте на первый взгляд удивительно, поскольку он является типичным представителем теории языка как исчисления — теории, которая обычно возводится к Фреге и которую Витгенштейн критиковал, а затем окончательно от нее отказался. Сама по себе способность порождать бесконечное число грамматически правильных фраз и приписывать им семантические интерпретации, применяя чисто формальные правила, не заключает в себе ничего, что внутренне превосходило бы возможности некоего механизма. Катц и Фодор подчеркивали, что вопрос о том, какую семантическую интерпретацию приписать некой фразе, должен решаться на основе формальных исчислений, без обращения к какой-либо языковой интуиции: «Необходимость в формальной семантической теории вытекает из необходимости избежать пустоты; поскольку семантическая теория пуста — настолько, насколько правила этой теории применяются корректно с опорой на интуицию или интуитивное знание говорящего, касающееся семантических отношений»²².

Идет ли речь о семантическом или синтаксическом аспекте компетенции, правила должны быть формально представлены и их применение механически осуществимо. В концепции лингвистической компетенции Хомского ничто не подразумевает, что обладающий ею должен быть сознательным существом или личностью. Скорее, ставился вопрос о том, какого рода автоматом (абстрактным) должна

быть какая-либо физическая система, чтобы быть способной конструировать и интерпретировать, как это делаем мы, потенциально бесконечное число фраз в естественном языке.

Креативность в собственном смысле слова — в той мере, в какой она отличается от формальной генеративности, являющейся результатом простой рекурсивности правил, — находится в совершенно ином месте, на уровне, который Хомский называет «креативностью употребления»

²² *Katz J. J., Fodor J. A. The structure of a semantic theory // Katz J. J., Fodor J. A. The structure of language; Readings in the philosophy of language. Englewood Cliffs (N. J.): Prentice-Hall, Inc., 1964. P. 504.*
238

ния», т. е. способностью использовать надлежащим образом бесконечное число различных и в большинстве своем новых предложений в новых ситуациях. Только на этом уровне и может идти речь о том, что Бурдые называет чувством игры или интуицией практического чувства. Однако порождающая лингвистика ничего не говорит о такого рода вещах — просто потому, что она является теорией компетенции, а не теорией употребления, точнее, потому, что тот аспект компетенции (если еще можно о ней говорить), который заключается в обладании знанием или практическим чувством, не выраженным в терминах правил, вообще ее не касается. Если, как говорит Бурдые, некоторые полагают, что у Хомского можно найти аргументы в пользу персоналистской концепции творческого субъекта, то это можно сделать лишь ценой фундаментального недоразумения, которое к тому же Хомский сам систематически поддерживал.

Не нужно думать также, что правила лингвистики Хомского ближе, чем теоретические модели структуралистов, к тому, что Бурдые называет «принципом практики агентов» — в отличие от теории, которую конструируют, чтобы понять практику. Они были и остаются по сути экспликативными гипотезами, даже если о них говорят как о правилах, которые говорящий сам знает и имплицитно применяет. Последователи Витгенштейна Бейкер и Хакер утверждали, что Витгенштейн заранее дискредитировал любое начинание, подобное теории Хомского, и вообще любую попытку создания систематической теории значения по модели Фреге (язык как исчисление). В частности, он отмечал, что правила, которых мы не знаем и к которым нас может редуцировать лингвист, пытаясь объяснить наше поведение и сформулировать гипотезы, едва ли могут осуществлять реальную нормативную функцию: «Не существует нормативного поведения, откуда нормы не обнаружены»²³.

²³ *Baker G. P., Hacker P. M. S. Language, sense, and nonsense: A critical investigation into modern theories of language. Oxford: B. Blackwell, 1984. P. 313.*
239

Я думаю, что Бейкер и Хакер заходят в этом отношении слишком далеко — хотя бы потому, что Витгенштейн настаивает на важных различиях, которыми обычно пренебрегают, но никогда не высказывает запретов на использование понятий «неявное правило» или «неосознаваемое правило», или любого другого понятия. Вполне возможно, что в конечном итоге такого рода понятия нельзя будет употреблять последовательно. Но самым важным, по мнению Витгенштейна, является знание того, что происходит, когда употребляется слово или выражение, то есть в данном случае то, что правило, которое мы знаем и которое действительно включено в игру, не противопоставляется правилу, выдвинутому в качестве экспликативной гипотезы, — иными словами, «как выражение "стул, который я вижу" выражению "стул, который я не вижу, потому что он находится за моей спиной"»²⁴.

Понятия инновации, изобретения, импровизации и т. д., которым Бурдые отводит важное место, включаются в практику подчинения правилу двумя весьма различными способами. Изобретение необходимо, потому что правило, с которым имеют дело, оставляет довольно значительное пространство неопределенности, так как применение правила к конкретному случаю может вызвать проблему интерпретации, которую нельзя решить, обратившись к дополнительному правилу, относящемуся к корректному способу интерпретации этого правила. Большинство правил, которые мы используем, принадлежат к этому типу и требуют, как говорится, сознательного применения. Во многих случаях применять правило должным образом означает, помимо всего прочего, быть способным интерпретировать его в зависимости от обстоятельств или даже игнорировать и сознательно нарушать его. Здесь можно вспомнить, что Музиль говорит о моральных правилах: они напоминают сито, отверстия которого столь же важны, сколь и основа. Действие некоторых правил производит впечат-

²⁴ *Wittgenstein L. Philosophische Grammatik // Wittgenstein L. Werkausgabe. Band 4. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1984. S. 49.*
240

ление механизма, потому что они определяют свое применение таким образом, который совершенно не оставляет места инициативе. Другие значительно ограничивают свободу действий пользователя, но не определяют однозначно действие, которое должно быть совершено на каждом этапе их применения. Прибегая к метафоре Витгенштейна, можно сказать, что первые напоминают рельсы, а другие определяют лишь общее направление движения, но не конкретный маршрут.

Витгенштейн оспаривает, говоря самым общим образом, идею о том, что правила, включая правила первого типа, действуют подобно каузальному принуждению. Он говорит, например, что мы должны рассматривать доказательство не как процесс, который нас принуждает, а скорее как процесс, который нас ведет (*führt*). Иными словами, это значит, что правило направляет действие, но не производит его, подобно тому как сила производит действие. Правило применяется именно к действиям, которые, независимо от того, подвержены ли они правилам, в любом случае принадлежат к определенной области

и следуют некоей логике, не являющимся областью и логикой природных явлений.

Если мы внимательно отнесемся к скептическому парадоксу, сформулированному Витгенштейном относительно того, что значит «следовать правилу», можно заключить, что никакое правило, даже совершенно эксплицитное и однозначное, в действительности не определяет своего применения. Парадокс, кажется, означает, что независимо от способа, каким индивид может в данный момент применить правило, оно может быть совместно с тем способом, каким он его понял, — как это следует из его предыдущих применений. Ряд прошлых применений правила, очевидно, не может наложить какого-либо ограничения на будущее применение. Это означает, что на каждом этапе применения правила необходим акт творчества или изобретения, чтобы определить то, что нужно сделать. Но парадокс, вопреки мнению некоторых интерпретаторов, не отражает позицию Витгенштейна. Автор «Философских

241

исследований» пытается найти путь между Сциллой объективистской (платоновской) концепции значения правила как уже содержащего в себе все свои применения, без какого-либо вмешательства с нашей стороны, и Харибдой креативистского анархизма, согласно которому *все* заключено в том вкладе, который мы делаем каждый раз.

Макдоуэл говорит о некоем натурализованном платонизме, который заменяет собой «ползучий платонизм». Витгенштейн не отвергает идеи (которую при желании можно назвать «платоновской»), что значение правила в самом деле содержит *некоторым образом* всю сумму его будущих применений, — но просто пытается устранить то таинственное и тревожное, что добавляет к нему ползучий платонизм, предполагая, что значение может оказывать такое действие только благодаря силам, в которых нет ничего природного, но только магическое²⁵.

То, что называют «делать то же самое, что и раньше» или «корректно применять правило», не определено в себе, независимо от регулярной практики применения, и имеет смысл только внутри практики такого рода. Как говорит Витгенштейн, неверно думать, что правило само по себе куда-то ведет, даже если человек следует ему. И так же неверно считать, что оно способно выбирать одну-единственную возможность внутри абстрактного пространства, которое не было бы уже ограничено и структурировано склонностями, способностями и реакциями, составляющими принадлежность субъекта к миру людей и универсуму человеческих практик в целом.

Понятие «делать то же самое» не предзадано в платоновском мире значений, но конституируется в практике. Поэтому на самом деле оно определено, даже если и не является таковым с точки зрения, внешней по отношению к практике, которую принимает платоновская концепция в худшем смысле слова. Если бы всякий раз, желая применить правило, мы нуждались одновременно в этом пра-

²⁵ См.: McDowell J. *Mind and the world*. Cambridge (Mas.); L. (U. K.): Harvard University Press, 1994. P. 176-177.

242

виле и в особой интуиции, чтобы определить, что оно от нас требует, это означало бы, что правило само по себе является бессильным и, в конечном счете, бесполезным. Витгенштейн порой иронизирует над концепцией интуитивистов, которые утверждают, что нам нужна интуиция, чтобы написать 3 после 2 в ряду натуральных чисел. Вместо того чтобы говорить, что интуиция необходима на каждом этапе применения правила, по его мнению, лучше говорить о решении. Но это, как сразу же добавляет он, также было бы обманчивым, потому что мы ничего не решаем; обычно корректное применение не является результатом выбора между несколькими возможностями, как и интуитивным выбором одной-единственной возможности. Говорить о решении лучше в том смысле, что оно отсекает всякую попытку искать оправдание или основание там, где его нет. Таким образом, Витгенштейн не поддерживает концепцию основанного на решении применения правила, но просто пытается дискредитировать интеллектуалистскую концепцию действия правила, согласно которой его применение каждый раз является результатом знания. Идея решения вводится для того, чтобы перенести проблему из области знания в область действия: важно то, что усвоение правила обычно приводит к тому, что на определенной стадии его применения мы не колеблясь *делаем* то, для чего у нас нет особого основания, кроме самого правила. Действовать согласно правилу отнюдь не всегда означает действовать согласно некоей его интерпретации. И согласованность, которая устанавливается между пользователями в процессе его применения, является согласованностью не интерпретаций или интуиции, но действий.

Понятно, что социолог может быть стеснен слишком общим употреблением Витгенштейном таких понятий, как «правило» или «соглашение». Хотя он был особенно чувствителен к различению, которое необходимо проводить между правилом, реально участвующим в игре, и правилом, только объясняющим эту игру стороннему наблюдателю, правила, на которые он ссылается, не всегда являются эксплицитными и даже не всегда такими, при предъ-

243

явлении которых игроки могли бы признать, что они их применяют. О предложениях, которые выражают «грамматические правила», Витгенштейн говорит, что они обычно не формулируются и очень редко становятся предметом явного усвоения. В процессе обучения языку мы, если можно так выразиться, не осознавая, глотаем их вместе со всем остальным. Сказать, что некто употребляет слово в соответствии с неким соглашением, не обязательно означает, что это соглашение усвоено. В своих лекциях 1932—1935 годов Витгенштейн уточняет это положение:

«Поставим вопрос о том, что такое соглашение. Это одно из двух: правило или тренировка (*training*). Соглашение устанавливается с помощью слов, например: "Каждый раз, когда я хлопну в ладоши один раз, подойдите к двери, а когда хлопну два раза, отойдите от нее" <...> Под соглашением я понимаю то, что употребление некоего знака согласуется с языковыми привычками или языковой тренировкой. Может существовать ряд соглашений, в основе которых лежит языковая тренировка или привычка реагировать определенным образом. Обычно мы не называем их соглашениями — это слово мы оставляем для соглашений, которые даны нам в виде знаков. Можно сказать, что эти знаки играют свою роль в силу привычных способов действия»²⁶.

Следовательно, есть случаи, когда соглашение первично, а языковой габитус вторичен, и другие случаи — возможно, более многочисленные — для которых соглашение является лишь способом обозначить уже приобретенный языковой габитус.

* * *

Бурдьё характеризует габитус — в том смысле, в котором он употребляет это слово — как «продукт инкорпорации объективной необходимости»:

²⁶ Wittgenstein's Lectures, Cambridge, 1932-1935. Oxford: B. Blackwell, 1979. P. 89-90.

244

«Габитус — необходимость, ставшая добродетелью, — производит стратегии, которые, хотя и не являются ни продуктом сознательного устремления к целям, явным образом основанным на адекватном знании объективных условий, ни продуктом механической детерминации какими-либо причинами, оказываются объективно приспособленными к ситуации. Действие, руководимое "чувством игры", обладает всеми признаками рационального действия, которое мог бы нарисовать беспристрастный наблюдатель, располагающий всей необходимой информацией и способный рационально ее использовать. Но, тем не менее, в его основании лежит не разум. Достаточно представить мгновенное решение игрока в теннис, который неудачно подбегает к сетке, чтобы понять, что это действие не имеет ничего общего с учеными построениями, которые в процессе анализа развивает тренер, чтобы объяснить его и извлечь из него урок»²⁷. «Игра, — говорит он также, — есть место имманентной необходимости, которая является одновременно имманентной логикой <...> и чувством игры, которое участвует в этой необходимости и в этой логике, есть форма знания этой необходимости и этой логики»²⁸.

Однако маловероятно, что смысл, в котором габитусы составляют инкорпорацию объективной необходимости, может быть применен непосредственно к самим языковым габитусам. То, что называют правилами социальной игры, следовало бы, согласно Бурдьё, назвать габитусами или социальными стратегиями. Он отмечает (и, как мне кажется, не без основания), что «в социальных науках язык правила часто скрывает невежество»²⁹. Однако, по-видимому, применительно к языку правило — это одно, а стратегии и габитусы, в которых воплощена необходимость языкового действия, — другое. Для Витгенштейна не существует случая, когда можно было бы сказать о правилах грамматики — в том значении, в каком он употребляет это слово, — что они являются продуктом инкорпорации некой объективной необходимости. Тезис об автономии грамма-

²⁷ Bourdieu P. Choses dites... P. 18.

²⁸ Ibid. P. 81.

245

тики означает, что правила или, если угодно, языковые габитусы, которые им соответствуют, не фиксируют предсуществующую необходимость, но сами лежат в ее основе — по крайней мере, в основе необходимости того рода, которую он называет «логической» или «грамматической». Конечно, мы не будем здесь рассматривать проблему степени независимости, которую социолог склонен приписывать этому типу необходимости, особенно если учесть, что необходимость, которой он интересуется, должна быть выражением в высшей степени фактических социальных ограничений. Гораздо интереснее задаться вопросом о том, что Бурдьё реально может объяснить с помощью понятия габитуса. В приведенном выше отрывке он говорит о том, что габитус способен порождать поведение, которое, будучи приобретенным, обладает, тем не менее, всеми признаками инстинктивного поведения и которое, хотя и не содержит никакой рефлексии или расчета, производит результаты, в большинстве случаев совпадающие с результатами, которые можно было бы получить с помощью рационального расчета. Несомненно, что соответствующая тренировка способна у нормально развитого субъекта выработать автоматизм, который, если судить по его результатам, обладает всеми признаками осознанного действия и заставляет его делать «то, что нужно» в тех случаях, когда такое действие просто невозможно. Но совершенно неочевидно, что мы много добавляем к простой констатации этого факта, говоря, как Бурдьё, об «интуиции "практического чувства"», которая является результатом длительного воздействия условий, подобных тем, в которых они (агенты) находятся»³⁰. Как отмечает Витгенштейн, находящий это скорее удивительным, мы обладаем непреодолимой склонностью считать, что каждый раз, когда некто приобрел некий габитус или какой-либо регулярный способ действия, в его голове должны произойти значительные изменения. И мы считаем, что объяснение мож-

²⁹ Ibid. P. 90.

³⁰ Ibid. P. 21.

246

но дать только с помощью описания гипотетического состояния ментального или церебрального механизма, который, вероятно, мы когда-нибудь откроем. Вполне возможно, что в этом мы отчасти похожи на лорда Кельвина, который заявлял, что не может понять явление, пока не построит его механическую модель.

Бурдые подчеркивает предсказательную силу габитуса. Он может «служить основанием предвидения (научный эквивалент практических предвосхищений обыденного опыта)»³¹, несмотря на то, что «его принципом не является правило или эксплицитный закон». Витгенштейн сам говорит о слове «понимать», что оно обозначает одновременно и ментальный опыт, осуществляющийся во время восприятия на слух или произнесения слова, и нечто совершенно отличное, имеющее природу некой способности: «употребление слова "понимать" основано на том факте, что в большинстве случаев мы, после некоторых проверок, оказываемся способными предсказать, что некто употребит данное слово определенным образом. Если бы это было не так, нам было бы совершенно не нужно употреблять слово "понимать"»³². Но разумеется, Витгенштейн не собирается объяснять — и я не знаю, можно ли вообще удовлетворительно объяснить — тот способ, каким процесс обучения приводит к таким последствиям, очевидно не соизмеримым с небольшим числом рассмотренных эксплицитно примеров и ситуаций, которые мы характеризуем словом «понимать».

Объяснения в терминах диспозиций или габитуса, когда они не могут стать предметом характеристики, достаточно независимой от простого описания поведенческой регулярности, очевидно, можно заподозрить в том, что они остаются чисто вербальными. Как отмечает Куайн, дис-

³¹ Bourdieu P. Choses dites... P. 96.

³² Wittgenstein's Lectures on the Foundations of Mathematics, Cambridge, 1939. From the Notes of R. G. Bosanquet, N. Malcolm, R. Rhees, Y. Smythies / Ed. by C. Diamond. Hassocks (Sussex): The Harvester Press, 1976. P. 23. См. также: Wittgenstein's Lectures. Cambridge, 1932-1935... P. 77-78.
247

позиционное объяснение напоминает сознание долга, который надеются однажды вернуть, осуществляя, как это делает химик в отношении диспозиционного предиката «растворимый в воде», описание соответствующего структурного свойства. Однако понятно, что легитимность употребления диспозиционного термина не может быть во всех случаях подчинена надежде или обещанию редукции такого рода и что диспозиции могут быть нередуцируемыми, не будучи при этом невозстановимыми, потому что идея «выкупа» в их случае не имеет никакого смысла и является результатом лишь прискорбной тенденции сравнивать их статус со статусом таких предикатов, как «растворимый в воде».

В одном из своих редких рассуждений о диспозиции Витгенштейн пишет:

«Диспозиция понимается как некая вещь, которая всегда присутствует, являясь источником поведения. Это аналогично структуре некой машины и ее поведению. Есть три разных высказывания, которые, по-видимому, означают "А любит В": (1) недиспозиционное высказывание, относящееся к сознательному состоянию, то есть к чувствам; (2) высказывание, которое говорит, что при определенных условиях А будет вести себя определенным образом; (3) диспозиционное высказывание, согласно которому если некий процесс имеет место в его голове, то он поведет себя тем или иным образом. Это соответствует описанию некой идеи, которая обозначает либо ментальное состояние, либо совокупность реакций, либо состояние некоего механизма, следствием которого выступает одновременно поведение и некоторые ощущения. Мы, по-видимому, выделили три значения "А любит В", однако это не так: (1), из которого следует, что А любит В, когда он испытывает определенные чувства; (2), из которого следует, что А любит В, когда он ведет себя тем или иным образом; и оба эти значения составляют значение слова "любовь". Но диспозиционное высказывание (3), отсылающее к механизму, не является достоверным. Оно не привносит нового значения. *Диспозиционные высказывания всегда в своей основе являются высказыва-*

248

ваниями, относящимися к механизму (курсив мой. — Ж. Б.). Язык использует аналогию машины, которая постоянно сбивает нас с толку. В подавляющем большинстве случаев наши слова имеют форму диспозиционных высказываний, которые отсылают к механизму, независимо от того, есть он или нет. В примере о любви никто не имеет ни малейшего представления о том механизме, к которому происходит отсылка. Диспозиционное высказывание не говорит нам ничего о природе любви — это только способ ее описания. Из трех значений диспозиционное значение — единственное, которое в действительности значением не является. На самом деле это высказывание относится к грамматике слова "любовь"»³³.

Важный момент, касающийся грамматики слова «понимать», состоит в том, что оно также имеет диспозиционную форму и обманчиво заключает в себе почти неизбежную отсылку к скрытой машине:

«Хотя оно не отсылает к машине, как это может показаться, за грамматикой этого высказывания стоит образ механизма, устроенного так, чтобы реагировать определенным образом. Мы считаем, что если мы видим только машину, мы знаем, что значит понимать»³⁴.

Одна из причин, по которым Бурдые отказывается от идеи скрытого механизма, состоит в том, что поведение, которое необходимо объяснить, не относится к тому роду строгой регулярности, которую производит механизм:

«... Порожденное габитусом поведение не обладает совершенной регулярностью поведения, выведенного из законодательного принципа: *габитус тесно связан с размытостью и неопределенностью*. Будучи порождающей спонтанностью, которая утверждается в неподготовленном столкновении с постоянно изменяющимися ситуациями, он следует практической логике — логике нечеткости, логике "приблизительно", определяющей обыденное отношение к миру»³⁵.

³³ Wittgenstein's Lectures, Cambridge, 1932-1935... P. 91-92.

³⁴ Ibid. P. 92.

³⁵ Bourdieu P. Choses dites... P. 96.

249

Понятие габитуса или другое такое же понятие кажется действительно необходимым для адекватного понимания регулярностей определенного типа, которые строго не детерминированы, но включают в себе элемент изменчивости, пластичности и неопределенности и подразумевают адаптации, инновации и всякого рода исключения, регулярностей, характеризующих область практики, практического разума и практического чувства. Однако трудность состоит в том, что, как отмечает Витгенштейн, мы обладаем непреодолимой склонностью искать механизм там, где его нет, и полагать, что настоящее объяснение находится только на этом уровне. То, что кажется очевидным в случае слова «понимать», должно было бы быть очевидным в случае большинства терминов, обозначающих психологические или социальные габитусы: мы не должны поддаваться искушению искать механическое объяснение немеханического. Спротивление идеям Бурдьё происходит по большей части не от враждебности по отношению к механизму, как можно было бы думать, но, напротив, от тенденции считать, что мы поняли бы общество, если бы нам удалось увидеть социальную машинерию в действии.

Перевод с французского Александра Тавровского

Филипп Коркюф. КОЛЛЕКТИВНОЕ В СПОРЕ С ЕДИНИЧНЫМ: ОТТАЛКИВАЯСЬ ОТ ГАБИТУСА*

Часто социологии Пьера Бурдьё приписывают интерес прежде всего к «коллективному», «социальным структурам» и их «воспроизводству». Для «индивидуалистически» ориентированных критиков она предстает «холистской», отдающей предпочтение целому над частями, обществу над индивидами. Согласно этим предвзятым оценкам, она неспособна схватывать то, что составляет единичность индивидов и их действий. Однако менее частичное и пристрастное прочтение работ Бурдьё может пролить свет на определенную трактовку единичного в его связи с коллективным. Именно здесь его социология поможет нам осмыслить проблему единичности в самых разных ее смыслах, причем не нужно торопиться унифицировать их с самого начала. Такое использование ресурсов социологии Пьера Бурдьё должно возобладать над более беглыми прочтениями его работ, будь они благожелательны или, наоборот, неблагоприятны. Эти прочтения исходят из направленности, которую шаг за шагом обрело его творчество, и перекрывают то, что является в нем наиболее оригинальным, увлекая его почти исключительно на сторону коллектив-

* Corcuff P. Le collectif au défi du singulier: en partant de l'habitus // Le Travail sociologique de Pierre Bourdieu: dettes et critiques / Éd. sous la dir. de B. Lahire. P.: La Découverte, 1999. P. 95-120.

© Éditions La Découverte & Syros, 1999

251

ного и «объективных закономерностей», противопоставленных единичному. Конечно, такое направление мысли присутствует у Бурдьё, но только как одно из многих.

Принимая всерьез положение, что «нельзя ожидать, будто мышление о границах даст выход к мышлению без границ» [7, с. 23], мы не можем на этом остановиться, даже если полностью интегрируем позитивный вклад Пьера Бурдьё в социологию единичности. Ведь творчество полезно не только тем, что оно позволяет увидеть, но и тем, что оставляет в тени, своей недостаточностью¹. Таким образом, в интеллектуальной работе можно превращать препятствия в ресурсы и, отталкиваясь от границ определенного подхода, находить новые пути. Границы поля зрения, предложенные социологией габитуса в отношении единичности, побуждают нас прибегнуть к другим способам проблематизации. Только преодолевая напряжение, колебания и шероховатости произведения, а также благодаря ограничениям, которые в нем присутствуют, можно заставить звучать произведение в социологическом ключе. Именно такой способ прочтения, уже освоенный в других работах [16, с. 18-20], хотелось бы продолжить и здесь. Он присущ ряду работ, как социологических [15, с. 32-33], так и философских [13, с. 40], которые отличаются стремлением уйти от бесплодных споров «за или против Пьера Бурдьё». В рамках этого направления мы имеем дело с процессом *поиска*, когда исследуется еще не найденное и, следовательно, предполагаются действия вслепую, распусть, риск оказаться в тупике.

Мы будем продвигаться, придерживаясь заданной перспективы, путем новой проблематизации единичности в связи с исследованиями Пьера Бурдьё. Здесь мы будем

¹ Здесь мы исходим из положения, развернутого Жаном-Клодом Пасроном в связи с использованием аналогии в социологии: «Хотелось бы показать, что концептуальная аналогия, подобная той, которая переносит понятие инфляции в не связанную с деньгами сферу, рождает гипотезы или, более скромно, определяет для нас границы и задачи исследования, как своим соответствием, так и несоответствием тем феноменам, которые она пытается разбить на категории» [35, с. 554].

252

опираться прежде всего на современную философскую литературу, чтобы выделить три весьма различающихся предмета, которые носят имя единичности. Затем остановимся на классических интерпретациях работ Пьера Бурдьё и на их некоторой слепоте относительно данного вопроса, чтобы впоследствии попытаться по-новому раскрыть его оригинальный вклад как в теоретическом («Практический смысл»), так и в эмпирическом плане («Политическая онтология Мартина Хайдеггера»). Необходимо определить ряд ограничений, налагаемых на три аспекта единичности, которые мы будем различать. И наконец, мы очертим то *невидимое* в социологии Пьера Бурдьё, но *видимое* в социологии

Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

опыта Франсуа Дюбе [22] и в социологии режимов действия Люка Болтански и Лорана Тевено [4-5, 41], что может быть привнесено в анализ случая Хайдеггера. Эти два направления следуют путям, отчасти различающимся, отчасти вплотную приближающимся к тем, которых с недавнего времени придерживаются Клод Кауфман [30—31] в рамках социологии идентичности и Бернар Лаир [33] в рамках психологической социологии; оба они стремятся переработать понятие «диспозиции» в том, что касается условий инкорпорирования диспозиций индивидом или их выборочной активации в различных ситуациях повседневной жизни.

Три стороны единичности

Единичное обычно указывает на то, что представляется уникальным, что невозможно скопировать, что нельзя приписать другому человеку или событию. Одно из определений, предложенное словарем, гласит: «Тот, кто вызывает удивление, кто выделяется (в хорошем или плохом смысле) своими незаурядными чертами» [37, с. 1653]. Следовательно, единичное противопоставляется коллективному. В таком случае, не вступает ли единичное в противоречие с идеей коллективного, дюркгеймовская традиция которого правомерно считается наиболее продвинутой? Нужно

253

ли непременно выбирать: единичное или коллективное? Способна ли социология сказать нечто новое в отношении единичности или следует просто умерить наши притязания на такое противопоставление? Должны ли мы исключать эту проблему из пространства социологических исследований, оставляя ее на рассмотрение философии, психологии или искусства, или вовсе закрывая вопрос о самой возможности существования такого как бы иллюзорного слоя реальности?

Чтобы ответить на эти вопросы, возможно, следует вначале уточнить значение того, что называется единичностью и, не направляя заранее свои размышления только в одном плане, рассмотреть множество предметов единичности. Философские споры предлагают нам для этого необходимые инструменты. В современной философии единичность рассматривается как в связи понятием идентичности, так и в связи с тем, что выходит за рамки этого понятия. Анализируется как единичность той или иной личности, которую можно соотнести с идентичностью, так и единичность индивидуальных действий, которые ускользают от внимания, если предполагать целостность и постоянство личности.

Идентичность-самость и идентичность-тожесть

Что выступает на первый план в отношениях между единичностью и идентичностью личности? Поль Рикёр [39] различает два полюса идентичности: *самость* и *тожесть*; эти две модальности указывают, каждая по-своему, на единственность личности и ее постоянство во времени.

Самость, согласно Рикёру, является постоянством «что» относительно «кто», т. е. она отвечает на вопрос «что я?» [там же, с. 147]. Она показывает непрерывность свойств личности, которую Рикёр определяет понятием «характер», т. е. «совокупность устойчивых диспозиций, *по которым (а quoi)* можно распознать личность» [там же, с. 146]. Составленная из объективных черт личности, са-

254

мость представляется, в некотором роде, как объективная часть индивидуальной идентичности. Эта область известна социологии, в частности, в связи с понятием габитуса, определяемым Пьером Бурдьё как «система устойчивых и переносимых диспозиций», инкорпорированных индивидом в процессе его существования [6, с. 88, 101].

Что касается тожести, то она связана с «вопросом *кто?*, который не сводим ни к одному вопросу *что?—*» [39, с. 143]. Следовательно, она ориентирована исключительно на вопрос «*кто я?*» [там же, с. 147], приводя к такому предмету, как «сохранение себя» [там же, с. 148]. Тожество является, в некотором смысле, субъективной частью индивидуальной идентичности. Тожество, в значении быть-самим-собой-для-себя, рассматривается в связи с ощущением индивидуумом своей целостности и непрерывности. Она определяется, по словам Жослин Бенуас, «как функция целостности, как установление идентичности самого себя» [2, с. 545]. Социология также обращалась к этому вопросу. Понятие «отход от роли» Ирвинга Гофмана [25] и следующего по его стопам Франсуа Дюбе с темой «осадочных слоев» *ощущения себя (quant a soi)*, вступающих в противоречие с воплощаемыми социальными ролями, представляя собой попытки разработки этой проблемы.

Однако исчерпывается ли единичность, носителем которой является индивид, двумя рассмотренными измерениями идентичности (самость и тожество)? Жослин Бенуас отвечает на этот вопрос отрицательно.

Моменты субъективации

Существует также понятие *моменты субъективации*, введенное Бенуас. В этой разновидности опыта предметом обсуждения является «прежде всего, отход от идентичности и ее отсутствие» [2, с. 546]. В каком смысле? «Отход от других, конечно, но также и от самого себя, которым утверждается неустранимое своеобразие, отказ от идентичности» [там же, с. 546]. Поэтому такая субъективность означает «изменчивость» и «неопределенность» по отно-

255

шению как к другим, так и к самому себе и выражается через «колебания», «неуверенность»,

«неопределенность действий» [там же, с. 547-550]. В данном случае «Я» выражает не идентичность, а проявление несводимости, единичности отдельных моментов, отдельных действий. Такие моменты субъективации не являются, тем не менее, асоциальными, поскольку они включаются в сферу повседневного общения с другими людьми и с остальным миром, а значит, в ту область, которая в социологии называется в широком смысле «социальными отношениями» или «социальными играми». И хотя эта область менее изучена социологией, тем не менее, она уже начала высказываться на сей счет. Социология состояния *agapé* [4], представляющего собой моменты беззаботности, посвященные удивительной любви, избавленной от каких-либо расчетов, открывает одно из таких направлений. Интерпретация той «мечтательной задумчивости», которая проникает в процесс ведения домашнего хозяйства (стирка, глажение и т. д.) — в работах Жана-Клода Кауфмана [31, с. 98-100, 199-200] — или той, которая создает единичность литературного опыта — у Бернара Лаира [33, с. 107-108], указывает на возможность другого подхода.

От философии к социологии

Согласно таким философским концептуализациям, единичность индивида и его действий входит в состав, по меньшей мере, трех понятий: идентичность-самость, идентичность-тождество и субъективация. «Спекулятивная типично философская идея?» — спросит здесь нетерпеливый социолог. Действительно, философские ресурсы, разработанные в рамках определенного интеллектуального регистра, имеющие свои традиции и свое использование, не могут быть перенесены *такими, какие они есть*, в социологическую² «игру познания», в которой теоретические

² Если использовать понятие, образованное от понятия «языковая игра» Людвиг Витгенштейна.

256

понятия должны подтверждаться эмпирическим опытом. Свободно излагая идею Л. Витгенштейна, можно сказать, что перевод одной «языковой игры» в какую-либо другую (из философии в социальные науки) влечет за собой изменение употреблений, а значит, и смысла. Но если принять меры предосторожности, поставленные здесь вопросы вполне могут стать предметом социологического анализа, программы исследования и эмпирической практики, что уже здесь отмечалось. Три философских предмета идентифицированной единичности послужат нам ориентиром для переоценки вклада и границ социологической проблематизации и в первую очередь проблемы *габитуса*. Но это предполагает прежде всего отказ от наиболее частых интерпретаций данной проблемы.

Габитус, или Вызов коллективной единичности

Обычные комментарии к понятию габитуса у Пьера Бурдьё редко обращаются к возможному использованию этого понятия для выявления связей между единичным и коллективным. Они образуют некую оболочку, которая весьма затрудняет прочтение исследований Пьера Бурдьё, поскольку обращает наше внимание только на одно из направлений — то, которое игнорирует и даже борется с темой единичности. После критического обзора этих комментариев нам следует вернуться к наиболее амбициозным теоретическим формулировкам, встречающимся в «Практическом смысле» [6], или к их эмпирической разработке в исследованиях творчества Мартина Хайдеггера [9], философа и политика в одном лице.

Обедневший габитус

Благодаря эффекту увеличения, крайности делают более очевидными некоторые ловушки. Путь Жанин Вердес-Леру — от позитивного использования понятия габитуса в «Социальной работе» [42] до негативного — в пасквиле

257

«Ученый и политик» [43] — представляет с этой точки зрения определенный интерес. В первом произведении понятие габитуса используется исключительно для осмысления воздействия коллективного, объективных структур и упорядоченности на индивидуальное поведение. Она пишет так:

«Чтобы понять унитарный смысл практик, которые объективно согласованы с глобальными функциями институции, нужно задуматься над смыслом существования используемых агентами способов поведения, т. е. использовать понятие габитуса как устойчивой и переносимой системы схем восприятия, мышления и действий <...> Например, частота, с какой католики становятся общественными активистами, является характеристикой габитуса социальных работников. Это понятие позволяет принять во внимание упорядоченность общественных реакций у различных категорий социальных работников, а также согласие (кажущееся спонтанным) между этими реакциями и общими интересами уполномоченных организаций» [42, с. 10].

Но переход Вердес-Леру с позиции исследователя на позицию безоглядного критика не сделал ее более восприимчивой к трактовке единичного у Пьера Бурдьё. Двадцать лет спустя она все еще пишет, что «социология Пьера Бурдьё занималась тем, что обстругала понятие единичности и игнорировала его» [43, с. 100]. Просто то, что раньше было для нее положительным, стало отрицательным.

Если обратиться к менее «манихейским» высказываниям, чем памфлет Вердес-Леру, то вопрос об отношениях между единичным и коллективным все равно не становится более ясным. Например, синтез,

Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

предложенный недавно Луи Пэнто [38], оставляет в стороне этот вопрос. Позиция здесь выстраивается как бы «по умолчанию», через понятия «объективные структуры» и «объективная упорядоченность» [там же, с. 46], «безличные механизмы» (позволяющие «уйти от идеологии уникального творения» [там же, с. 50]), «обусловленность положением, занимаемым в социальном пространстве» [там же, с. 51], «интери-

258

оризация внешних детерминаций» [там же, с. 60] или «безличностная объективность объективных структур и социальной классификации» [там же, с. 148]. С помощью этих понятий наполняется содержание понятия габитуса, в то время как отдельные намеки на «единичность» не участвуют в системном построении. Что касается исследований, которые Натали Хейниш [28] представляет как «новую социологию», подчеркивая их отрыв от социологии Пьера Бурдьё, то здесь мы находим почти те же расхожие мнения. «Социологическое», или, точнее, «социологистское», прочтение отталкивается от «принципиального предпочтения коллективных феноменов» и исходит из «критики единичного» [там же, с. 15].

То, что говорят Вердес-Леру, Пэнто и Хейниш, защищая или критикуя, не является полностью ошибочным, но отражает всего лишь одну из сторон творчества Пьера Бурдьё. Однако Пьер Бурдьё в равной степени стремился принимать во внимание и вопрос о единичности. Именно это направление нам предстоит открыть заново.

Теоретический вызов

В 1967 году в послесловии к работе историка искусства Эрвина Панофски «Готическая архитектура и схоластическое мышление» Пьер Бурдьё практически впервые в систематическом виде вводит понятие габитуса. Здесь он заявил об определенных амбициях, но также и о напряжениях, связанных с этим понятием:

«Противопоставлять индивидуальное коллективному, чтобы отстаивать право на творческую индивидуальность и тайну единичного творения, — значит лишить себя возможности открыть коллективное в самом сердце индивидуального в форме культуры <...> или в форме габитуса, посредством которого, говоря языком Эрвина Панофски, творец участвует в жизни своей коллективности и своей эпохи и который ориентирует и направляет без ведома самого творца его, казалось бы, самые уникальные творения» [34, с. 142].

259

Здесь явно заметно колебание между двумя путями: 1) путь, по которому следует большинство комментаторов и который выбирает коллективное, выступая против иллюзорного единичного, и 2) обращение к новому альянсу между индивидуальностью и коллективом.

Этот новый альянс получит одно из самых интересных объяснений в главном произведении Пьера Бурдьё, которым, безусловно, является «Практический смысл» (1980). Конечно же, эта работа не исключает перегибов в анализе и, следовательно, присутствия критики единичного в пользу коллективного, например, когда в предисловии он характеризует социологию как «стремящуюся обнаружить внешнее в сердце внутреннего, банальность в иллюзорной редкости, общее в исследованиях уникального» [6, с. 40—41]. Но различия, установленные между *габитусами классов и индивидуальными габитусами*, открывают нам другие перспективы. Существуют габитусы классов, так как существуют «класс(ы) условий существования и тождественных или сходных обусловленностей» [там же, с. 100]. Однако такие понятия, как габитус класса и индивидуальный габитус, не являются синонимами у Пьера Бурдьё, поскольку анализ должен принимать в расчет два полюса. С одной стороны, «очевидно, что любой представитель одного класса имеет больше возможностей, чем представитель другого класса, столкнуться с ситуацией, более частой для членов его класса: [существуют] объективные структуры, которые наука воспринимает как вероятность доступа к благам, услугам или власти». С другой стороны, «исключено, чтобы *все* представители одного и того же класса (или даже двое из них) пережили бы *одни и те же события в том же самом порядке*» [там же, с. 100]. Поэтому «принцип дифференциации индивидуальных габитусов заключается в единичности *социальных траекторий*, которым соответствуют серии детерминаций, упорядоченных хронологически и несводимых одни к другим. Габитус в каждый момент времени структурирует — в зависимости от структур, произведенных предшествующим опытом, — новый опыт, преобразующий первоначальные

260

структуры в границах, определяемых их избирательной силой. Габитус осуществляет единую интеграцию опытов статистически общих для всех членов одного и того же класса, но зависящую от их первичных опытов» [там же, с. 101-102].

Единичность, несводимость, уникальность. Габитус, таким образом, не является только лишь «бульдозером» коллективного в борьбе с единичным, даже если новизна проблематизации ограничена уточнениями, которые несколько сужают ее значение. Так, Пьер Бурдьё пишет, что «любая индивидуальная система диспозиций есть один из структурных вариантов других» или что «личный стиль» составляет «только отклонение от стиля определенного времени или класса» [там же, с. 101]. Если, оставив эти колебания, обратиться к позитивной постановке вопроса единичности (рассмотреть то, к чему она отсылает), а не только к негативной (критика иллюзий, которые с ней ассоциируются), то следует сконцентрировать свое внимание на парадоксальной силе наметившегося направления. Габитус Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

здесь становится выразителем замечательного вызова — думать о коллективном *и* единичном, о коллективном *с* единичном, в терминах настоящей *коллективной единичности*. Если следовать этой теории, то каждый может вернуться к единичности, созданной коллективным, «единичности "Я", создающейся в и через социальные отношения» [12, с. 161]. Габитус есть, в некотором роде, несводимая в каждом случае индивидуализация коллективных схем.

Между теоретическими амбициями и эмпирической недостаточностью

С эмпирической точки зрения, проблематика коллективной единичности была сравнительно мало освещена Пьером Бурдьё. Анализ случая Флобера в «Метод искусства» [10], высказывания в работах «Нищета мира» [11] и «Политическая онтология Мартина Хайдеггера» [9], на которой мы остановимся позже, фигурируют среди работ, в которых такая ориентация была доказана эмпирически.

261

Работа Пьера Бурдьё о Мартине Хайдеггере остается отчасти программной, в том смысле, что использованные в ней исторические данные ограничены относительно степени предпринятого обобщения. Большая скромность в высказываниях оградила бы Пьера Бурдьё от критиков, которые главным образом ищут предлог, чтобы не читать его работ и извлечь выгоду от такого уклонения. Но зачем парализовать раньше времени доброжелательного читателя и исследователя, ищущего полезные инструменты, *обобщениями в условном наклонении* (например, «все это нужно было бы сделать, чтобы открыть всю истину»), введением с самого начала таких формулировок, как «безграничность задачи, которая предполагает обновление целой системы отношений, в которой они существуют» [9, с. 13] или «речь идет, ни больше ни меньше, как о реконструкции поля философского производства и всей истории, которая является его результатом <...> и, таким образом, о постепенной реконструкции всей социальной структуры Веймарской Германии» [там же, с. 13—14]. Недостаток такого рода формулировок заключается в том, что они а priori признают недействительными конкурентные или дополнительные формулировки (в пользу гипотетических обобщений).

Эти чрезмерные амбиции, часто сдерживаемые риторическими средствами, а также подчеркивание хрупкости выдвинутой точки зрения³ привносят нечто вроде трагического блеска в творчество Бурдьё. Здесь приходит на ум высказывание Стенли Кевелла, характеризующее стиль Витгенштейна и, в частности, «чередование скромности и высокомерия в его прозе»: «Я прочитываю в этих колебаниях постоянное усилие, направленное на достижение отчаянно желаемого равновесия, ходьбу по натянутому канату. В этом усилии выражается нечто от вечной борьбы между отчаянием и надеждой» [14, с. 85]. Но социолог, будучи одновременно читателем и практиком, должен

³ В этой работе Бурдьё отмечает «неизбежные ограничения любого анализа в действии» [9, с. 14].

262

устанавливать равновесие между эстетикой исследования (неодолимым влечением к красоте таких отчаянных усилий) и этикой интеллектуальной работы, озабоченной прежде всего скромностью высказываний, определением областей применения сделанных выводов и возможностями ведения споров. Целый ряд авторов предвзятых мнений относительно работ Пьера Бурдьё, возможно, не избежал такого рода давления, которое сопровождает столкновение (среди своих и с другими) между восхищением творческими дерзаниями и заботой ремесленника о добротной работе. Понятие габитуса, заключенное между допускаемыми им эмпирическими операциями и тщетностью чрезмерных претензий, делает этот вопрос особенно актуальным. Однако обсуждение социологического понятия отличается от философской дискуссии, поскольку при его теоретической оценке мы должны учитывать характеристики, свойственные различным контекстам применения понятия, и, следовательно, принять тот факт, что социологическое понятие призвано служить инструментом по отношению к эмпирическим материалам. Именно так мы можем проанализировать случай Хайдеггера.

Эмпирический случай: Хайдеггер

Обращаясь к философскому творчеству Мартина Хайдеггера, Пьер Бурдьё стремится прежде всего открыть новый путь анализу философских произведений, т. е. не политическое, не философское, не исключительно внешнее или внутреннее их прочтение [9, с. 10]. Скорее, он пытается связать два подхода, представляя «политическую онтологию Хайдеггера» как «политическую точку зрения, которая формулируется исключительно как философская» [там же, с. 13] По его мнению, такой подход способен разъяснить загадку Хайдеггера — принятие им нацизма, — не сводя его философию к этому политическому жесту и не отсылая ее в область чистых идей, безразличных к отношению с миром ее автора.

263

Пьер Бурдьё воссоздает прежде всего политико-интеллектуальную обстановку, в которой была сформулирована хайдеггеровская философия как система политических взглядов. В Веймарской Германии развилось «идеологическое настроение» или «*völkisch* дискурс», который можно определить также как «консервативно-революционный». Для Пьера Бурдьё этот «развращенный радикализм», подпитанный, в частности, сочинениями Освальда Шпенглера и Эрнста Юнгера, ассоциируется с «самой грубой ненавистью к индустрии и технике, с самой нетерпимой элитарностью и с жесточайшим презрением к массам» [там же, с. 40]. Он функционирует как «*некое этическое и политическое* Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

направление», позволяя «в каждом отдельном случае производить нечеткие и общие различия, которые никогда полностью не совпадают с различиями другого пользователя, но и не являются абсолютно разными; поэтому они придают всем проявлениям этого времени некий дух единства, не поддающийся логическому анализу» [там же, с. 31]. Такая политико-интеллектуальная разработка, созданная из различий *и* общих схем, а следовательно, из индивидуальности *и* коллективной оркестровки, берет свое начало в «объективном упадке относительного положения профессорского корпуса и специфического кризисе, поразившем "филологические факультеты" с конца XIX века (в связи с прогрессом наук о природе и человеке и соответствующим переворотом в академической иерархии)» [там же, с. 22]. Антимодернистская, антипозитивистская, антинаучная, антидемократическая и другие тематики, вызванные консервативно-революционными настроениями, стали, таким образом, неким ответом немецких преподавателей «на кризис не культуры, как они утверждают, но их культурного капитала» [там же, с. 23]. Составные части этой идеологии тщательно переработаны в философии Хайдеггера посредством «обратного перевода» [там же, с. 46] в соответствии с автономной логикой поля философского производства и его собственной социальной траекторией.

264

Находясь в особом, сформированном философией социальном пространстве, в данный момент времени в данной стране, философ «всегда мыслит уже помысленное» [там же, с. 24], в особенности когда он размышляет и осмысливает себя «относительно других мыслителей» [там же, с. 52]. Таким образом, Хайдеггера связывают с неокантианцами (такими, как Герман Коген или Эрнст Кассирер), которые занимали в то время ведущую позицию в университетской философии. Хайдеггер выступил прежде всего против неокантианцев, оставаясь в амбивалентных отношениях с феноменологией Эдмунда Гуссерля, своего «личного противника» [там же, с. 70], у которого он был ассистентом. Коллективные требования и оригинальность творчества не противопоставляются Пьером Бурдьё:

«Своеобразие философского предприятия Хайдеггера состоит в том, что оно стремится *создать* внутри философского поля, путем революционного переворота, новую позицию, по отношению к которой должны быть переопределены все другие позиции» [там же, с. 57].

Но следует также учитывать и чистый эффект социального пути от «обычного преподавателя», вышедшего из мелкой сельской буржуазии» [там же], до «малочисленной и, следовательно, редкой социальной траектории» [там же, с. 59], столкнувшейся с нарциссическими обидами, вызванными повседневными контактами с социальной средой, занимающей университетские должности на более законных основаниях. Искушения «аристократического популизма» [там же, с. 60] и идеализация крестьянского мира составляют, таким образом, «превращенное и сублимированное выражение амбивалентных чувств по отношению к интеллектуальному миру» [там же, с. 62]. Все это может выражаться в самых интимных движениях тела, которым наделены и философы, несмотря на свои бесчисленные претензии на «чистоту» мышления.

Таким образом, Пьер Бурдьё собирает элементы мозаики, выявляя незамеченные ранее связи между коллектив-

265

ными феноменами⁴ и весьма индивидуальными наклонностями. Например, когда он отмечает:

«Историки философии слишком часто забывают, что крупные философские течения, которые становятся вехами в пространстве возможностей (неокантианство, неотомизм, феноменология и др.), представляются в чувственной форме личностей, воспринимаемых по их стилю жизни, одежды, манере разговаривать, их седой шевелюре и олимпийскому спокойствию (описание Кассирера того времени, противопоставляющее его Хайдеггеру — "невысокому brunetu, спортсмену и лыжнику"); они ассоциируются с этическими диспозициями и политическим выбором, придающими им конкретный облик. Именно по отношению к этим чувственным, синкретично воспринимаемым конфигурациям — вызывающим симпатию или антипатию, негодование или соучастие — поверяются позиции и определяются точки зрения» [там же, с. 63].

Социальные и философские различия, воплощенные в личностях, в нашем случае — Кассирере и Хайдеггере, могли служить возрождению, в эфемизированной и скрытой форме, антисемитских тенденций, присущих австрийскому социал-христианскому течению, которым было проникнуто формирование молодого Хайдеггера⁵.

Мы не будем останавливаться здесь на подробностях перечитывания проблематики и языка философии Хайдеггера с применением инструментов социологического анализа. Хотелось бы только рассмотреть, в большей степени эмпирически, каким образом коллективное и единичное, общее и оригинальное могут осмысливаться как одно целое. Конечно, здесь также можно обнаружить колебания (как это уже показали другие тексты Бурдьё), когда социолог, озабоченный притязаниями своего субъекта/объекта (Хайдеггер) на «величие», «чистоту» и «ясность» и

⁴ Такими, как отношения между социальными группами, процессами образования этносов (в равной степени спорный вопрос антисемитизма Хайдеггера) и диапазон свободных философских направлений.

⁵ Смотрите по этому вопросу более подробные, чем у Пьера Бурдьё, положения, представленные Виктором Фариа [24, с. 27–65].

266

преодолевая сопротивление социально-исторической контекстуализации, пытается наложить единичное на коллективное. Затем он стремится включиться в соревнование между социологией и

философией за использование «действительно истинных высказываний», не учитывая того, что эти две дисциплины не могут действовать в одном режиме истинности. Две последние фразы книги с этой точки зрения являются показательными. Они замечательны, поскольку схватывают границы любого мышления и в то же время являются сугубо корпоративными, так как скрыто поднимают значение социологии (как дисциплины, имеющей привилегию осмысливать «социально непомысленное» и, следовательно, истинно «сущностное»):

«Именно потому, что он никогда не знал того, что он сказал, Хайдеггер смог сказать, не говоря этого на самом деле, то, что он сказал. И возможно, именно по этой причине он отказался до конца объяснить свое принятие нацизма: в действительности, чтобы это сделать, необходимо было бы признать(ся), что "сущностное мышление" никогда не осмысливало "сущностное", т. е. через него выражалось социально непомысленное и то вульгарное "антропологическое" основание крайнего ослепления, которое единственно может вызвать иллюзию всемогущества мышления» [там же, с. 119].

Постоянные колебания между трагической красотой и социологическим тщеславием, «натянутый канат» Кавеля... Как в теоретических размышлениях Пьера Бурдьё, так и в их эмпирической проверке, понятие габитуса позволяет думать, что индивидуальная единичность питается ограничениями и ресурсами коллективного. Тем не менее, это только один из затронутых нами философских аспектов единичности, тот, который Рикёр называет *идентичностью-самостью*. Уникальная в каждом отдельном случае конфигурация социально сформированных схем, которые интериоризирует индивид, структурирует целостность и постоянство его личности. Идентичность-*тожесть*, являясь субъективным самоощущением, кажется более далекой от задач социолога. Пьер Бурдьё рассматривает эту

267

тожесть как препятствие для анализа в своей критике «биографической иллюзии», где последняя выступает условным способом индивида представлять себе непрерывность своей личности [8]. «Биографическая иллюзия» противостоит габитусу, понимаемому как непрерывность, реконструированная социологом, исходя из поддающихся объективации свойств, но по большей части неосознаваемая. Чувство собственной аутентичности, завоеванное в борьбе с иллюзиями чувства общности (в частности, «биографической иллюзией»), все же появляется у Пьера Бурдьё, но в форме спинозовской идеи знания детерминаций. Именно так он рассматривает возможность выделения субъекта в последней фразе предисловия к «Практическому смыслу»:

«Направляя силы на раскрытие внешнего в самом центре внутреннего, шаблонности в иллюзии исключительности, общего в исследовании уникального, социология не просто разоблачает всякого рода обманы нарциссического эгоизма, — она дает средство, может быть единственное, поучаствовать (хотя бы только знанием детерминаций) в конструировании, которое иначе было бы сдано на милость сильных мира, такой штуки, как субъект» [6, с. 40-41].

Следовательно, становление подлинного субъекта предполагает самопознание собственных социальных детерминаций.

Это последнее направление оставляет, тем не менее, ограничения в трактовке тождести, представляя ее исключительно как горизонт самоанализа, но не как действенное измерение обыденного опыта. Вместе с тем субъект Пьера Бурдьё, в качестве воспроизведения в сознании социально сконструированной идентичности, все еще слишком связан с целостностью и постоянством личности, чтобы интересоваться моментами субъективации, о которых писала Бенуас [2]. Чтобы продвигаться далее в теоретическом и эмпирическом понимании различных сторон единичности, в частности, тождести и моментов субъективации, находясь при этом в рамках социологического проекта, т. е. в их связи с коллективным, нужно освободиться

268

от понятия габитуса. Ограничения этого понятия влекут за собой поиски других инструментов. Вызов габитуса, т.е. вызов коллективной единичности, вынуждает нас продолжать исследование, но в других формах, при помощи других концептуальных ресурсов.

Множественная единичность

Хотя понятие габитуса позволило начать социологическое исследование единичности: теоретическое («Практический смысл») и эмпирическое («Политическая онтология Мартина Хайдеггера», «Метод искусства» и «Нищета мира»), — мы подошли к тому, чтобы отделиться от него, чтобы рассмотреть другие случаи единичности.

Еще раз о габитусе

Одним из наиболее часто встречающихся недостатков применения понятия «габитус» (свойственных и Пьеру Бурдьё) является отсылка к некому «черному ящику», определяемому, по сути, его следствиями. Таким образом, существует опасность «представить в качестве решенных проблемы, которые еще не были поставлены как таковые» [29, с. 387]. И все же такая критика чаще всего забывает отметить, что понятие габитуса, возможно именно таким способом использованное, нейтрализовало ряд вопросов и позволило эффективно упорядочить эмпирические материалы. Остается опасность перейти от методологической нейтрализации проблемы — временного взятия в скобки, чтобы передать хотя бы частичную интеллигибельность феномена — к отрицанию проблемы и реификации концепта к общим амбициям. Мы должны признать двойственность, возникающую в исследовательской деятельности: немислимое концепта может быть одновременно тем, что делает возможным эту деятельность, извывая Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

концепт от некоторого количества вопросов, и тем, что препятствует продвижению исследования, когда новые вопросы уже не ставятся вследствие иммобилизации того же концепта.

В «черном ящике» габитуса содержатся допущения целостности и постоянства личности. Имея такие допущения, Пьер Бурдьё смог социологически переработать проблему биографии, переплетая нити коллективного и единичного в единое полотно. Однако с того времени новые направления, впрочем, предшествующие прежним, побуждают нас быть более восприимчивыми к прерывности и множественности, собственным жизненным индивида [16,33]. Открыты новые эмпирические пространства и разработаны новые теоретические инструменты, позволяющие рассматривать единичность как с позиции Множества, так и с позиции Единицы. Часто эти инструменты побуждают придавать больше свободы действиям и взаимодействиям по отношению к инкорпорированному индивидом прошлому. Аристотелевское раскрытие понятия *диспозиций*, понимаемых как потенциальная возможность (*власть*) привести в действие (становящаяся действительной в момент перехода к *действию*), вновь обретает здесь свою молодость. Согласно Пьеру Бурдьё, система диспозиций индивида представляет один из центральных детерминантов действия, в то время как у Аристотеля «...то, чем мы обладаем по природе, мы получаем сначала [как] возможность (*dynameis*), а затем осуществляем в действительности (*tas energeias apodidomen*)» [1]. Возвращаясь к этой гипотезе, следует быть более внимательными, в эмпирическом плане, к логике действия. Внимание к множественной идентичности и восприимчивость к разнообразию действий объединяются, чтобы открыть новые пути в направлении единичности. Здесь мы только начнем — в форме предложения — рассмотрение того, что другие проблематики могли бы привнести в анализ случая Хайдеггера, рассмотренный Пьером Бурдьё.

Отложение слоев обыденного чувства собственной единичности

Франсуа Дюбе, исходящий из теоретических горизонтов, которые по многим аспектам антагонистичны позиции

270

Пьера Бурдьё и близки позиции Алена Турена, изложил в «Социологии опыта» [22] новые перспективы, способные восполнить слепые пятна понятия габитуса. Именно в *невидимом* одних концептуализаций может усилиться острота зрения других концептуализаций. Дюбе представляет «разделенного актора» с его «гетерогенностью пережитого» и «напряжения опыта». Таким образом, множественность «логик действия» складывалась как отложение исторических слоев, связанных с разнообразием аспектов социального ансамбля, не интегрированного в связную «систему». Дюбе, в частности, различает три логики действия: интеграцию, стратегию и субъективацию⁶. Эта последняя логика, «логика субъекта», проявляется «только *косвенно* в критической деятельности, которая предполагает несводимость *актера* ни к его ролям, ни к его интересам, когда он принимает иную точку зрения, нежели точка зрения интеграции или стратегии» [там же, с. 127]. Дюбе выдвигает ряд предложений, в которых многое взято из работ предшественников (например, Мида, Гофмана, Хогарта), но формулировки которых приоткрывают новое пространство для исследований, как теоретических, так и эмпирических. Речь идет о «субъективной части идентичности», т. е. об *«ощущении себя*, мешающем индивиду полностью сливаться со своей ролью или своей позицией [там же, с. 129]. Такая субъективность была социально и исторически создана внутри социальных отношений. Если слегка развить некоторые интуитивные положения Дюбе, то именно диверсификация институциональных миров наших современных обществ и ассоциированных с ними способов действия способствуют появлению и консолидации «Я», «которое в состоянии придать смысл и связность рассредоточенному по природе опыту» [там же, с. 184]. Идентичность-тождество, о которой говорил П. Рикёр, вплотную сталкивается здесь с социологической проблематизацией. Проведя систематизацию того немногочисленного, что разрозненно и иногда нечетко показано в работе Дюбе, мож-

⁶ В смысле, отличающемся от того, который ранее рассматривала Жослин Бенуа [2], так как он относится у Дюбе к идентичности личности.

271

но сказать, что возникает новый социологический предмет, раскрытию которого способствует возобновление во Франции восьмидесятых годов интеракционистских исследований. Упрочение *обыденного чувства «собственной аутентичности»* или *собственной единичности* не сводится здесь, в отличие от Пьера Бурдьё, к «иллюзии», а воспринимается как одна из реальностей индивидуального, социально сконструированного опыта. То, что «Я» представляет мне как *мою* аутентичность, проявляется через мои социальные отношения и становится одним из аспектов моего опыта.

Если вернуться к Мартину Хайдеггеру, туда, где мы его оставили с Пьером Бурдьё, то вырисовываются альтернативные пути, которые принимают во внимание поставленные им проблемы, но стремятся избежать эффекта приглаживания и сжатия, свойственного габитусу. Как в начале своей работы («специфическое ослепление профессионалов здравого смысла — наиболее законченным проявлением которого представляется, в очередной раз, Хайдеггер — повторяется и подтверждается их отказом от знания и их высокомерным молчанием» [9, с. 8]), так и в уже процитированном нами конце ее («вульгарное "антропологическое" основание крайнего ослепления, которое единственно может вызвать иллюзия всемогущества мышления» [там же, с. 119]), Пьер Бурдьё борется против «ослепления» и «иллюзий», порождением которых стали молчание и упущения, касающиеся нацистского периода. Однако можно попытаться рассмотреть поведение Хайдеггера не с точки зрения всеобщего Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

сумасшествия (производное от «иллюзий») и определяющей роли социального бессознательного (к чему склоняется Пьер Бурдьё), а принять всерьёз его субъективное отношение к принятию им нацизма. Не для того, чтобы отрицать это принятие, но чтобы соотнести свидетельства этого принятия, те, которые выявил Виктор Фариа [24], с субъективными притязаниями Хайдеггера, нацеленными на устранение от ответственности за это принятие. Поза возвышенной души, оскорбленной ничтожными нападками, принятая им

272

в интервью «Шпигелю», которая самой манерой выражения передает философские отношения между высоким («мышление» и «фундаментальные вопросы») и низким («политика» и «практические вопросы»), представляется, с этой точки зрения, довольно значимой. Например, М. Хайдеггер говорит о своей эпохе: «В то время я был полностью захвачен вопросами, которые рассматривались в "Бытии и времени" (1927), а также в сочинениях и лекциях последующих лет: фундаментальными вопросами мышления, опосредованно относящихся к национальным и социальным вопросам» [26, с. 17—18]. Вот как он высказывается по поводу современного мира:

«Насколько я могу видеть, мышление не дает индивиду возможности иметь такой глубокий взгляд на мир в целом, который мог бы дать практические указания о том, что нужно делать, особенно когда нужно отыскать прежде всего основу для самого мышления. Нельзя требовать от мышления — к тому же так долго, что его серьезность останется достойной большой традиции, — чтобы оно вмешивалось и давало указания такого рода» [там же, с. 70-71].

Можно интерпретировать хайдеггеровскую дистанцию по отношению к своему собственному историческому участию как осажение обыденного чувства своей аутентичности; аутентичности, которая никогда не чувствует себя полностью ангажированной своими действиями и принятыми социальными ролями. Это не мое аутентичное «Я» вступает в игру, идя на компромиссы с миром, — кажется, говорит Хайдеггер своим поведением. «Он не чувствует глубину своей ошибки», — писал его старый друг Карл Ясперс [24, с. 338]. Помимо отношения к нацизму, его неистовая «самоинтерпретация», отмеченная Пьером Бурдьё [9, с. 115—117], проявляется в упрочении обыденного чувства собственной единичности:

«Эта работа по самоинтерпретации выполняется в и через исправления, очищение, доработку, опровержения, посредством которых автор защищает свой публичный образ от обсуждения — в особенности политического, —

273

или, что еще хуже, против всех форм сведения к общей идентичности» [там же, с. 116].

Понятие *ощущение-себя*, о котором говорит Дюбе, нагружено здесь координатами социального опыта Хайдеггера: философ участвует в жизни таких профессиональных миров, проанализированных Натали Хейниш [27], как, например, мир писателей, для которых требования единичности, несоизмеримости и несводимости творческого акта к общему особо сильны. С другой стороны, философские упражнения сами по себе — и здесь мы присоединимся к замечаниям Пьера Бурдьё — судя по концептуальному инструментарию, который унаследован от господствующей традиции, чрезвычайно зависят от противопоставления возвышенной позиции мыслителя низости практики. Это принимает специфическую форму в философии М. Хайдеггера, вследствие той роли, которую там играет пара подлинность/неподлинность. Данное представление усиливает претензии мыслящего существа на подлинность перед лицом общественных возможностей. Здесь мы имеем ряд социальных условий, которые увеличивают претензии аутентичного «Я» в сравнении с социальными записями индивида.

Пара социальное бессознательное/субъективные иллюзии, возрождающая в социологии Пьера Бурдьё марксистскую тематику «ложного сознания», кажется слишком невнимательной к опыту единичности, который Поль Рикёр называет *тожестью*. Он склоняется к унификации и преждевременной функционализации отношений между индивидом и социальными структурами. С другой стороны, в случае М. Хайдеггера он прямо высказывает суждение о моральной ответственности, но использует научные категории, которые не являются непосредственно моральными категориями и часто предстают даже как освободившиеся от каких-либо моральных категорий. Мы не отрицаем здесь, что этические предположения и следствия пронизывают социальные науки, в противовес нейтральности и релятивизму, требование о которых недавно выдвинула Натали Хейниш [27]. Социальные науки име-

274

ют большую моральную значимость, даже если прямо не содержат моральных суждений [21]. В случае Хайдеггера социология, по-видимому, не должна проводить непосредственно следствие по его делу или рассматривать симметрично Хайдеггера и Фарию как две возможные «точки зрения», принимая релятивистскую позицию, но способствовать разъяснению материалов «дела Хайдеггера», предлагая более тонкое понимание связей между его субъективным отношением к своему опыту и фактами принятия им нацизма, представленными историками. Переложение этических требований в автономной логике социальных наук может стать собственным вкладом социологии.

Множество форм вступления в действие

Другой способ сделать множественным наш подход к единичности, исходя из анализа слепых пятен понятия габитуса у П. Бурдьё, представлен прагматической социологией Люка Болтански и Лорана Тевено [4, 5, 41]. В этой социологии режимов действий каждый актер наделен большим психическим и Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

физическим репертуаром, делающим возможной множественность способов вступления и приспособления к действию. Составляющие этого репертуара могут рассматриваться не как диспозиции в том, склоняющемся к детерминистическому, смысле, которое им дал Пьер Бурдьё, но как компетенции и способности, которые могут актуализироваться или не актуализироваться в действии в зависимости от встречающихся ситуаций. Здесь они близки к диспозициям в значении потенциалов, о которых говорил Аристотель. Некоторая доля неопределенности допускается как со стороны индивидов (в силу разнообразия способов приспособления к миру, которыми они располагают), так и со стороны мира (в силу разнообразия обстоятельств). Способ адаптации индивидов к их окружению — это встреча относительной упорядоченности (репертуар индивидов как типов ситуаций является заранее сформированным и пред-установленным) с сингулярной динамикой действия. Сами категории «инди-

275

вид» и «коллектив» слишком глобальные с аналитической точки зрения, и было бы предпочтительнее интересоваться более детально соединениями и напряжениями, складывающимися в процессе взаимодействия многообразных состояний личности и многообразных состояний мира. Именно так индивиды могут вступить в различные режимы действия: публичное оправдание, *agapé*, сострадание, ярость, стратегия, близость и другие подобные режимы действия.

Эта социология кажется способной приблизить *моменты субъективации*, рассмотренные Жослин Бенуас [2], в тех случаях, когда они выходят за рамки индивида, воспринимаемого с точки зрения идентичности (самость — габитус или тожесть — ощущение-себя). Она позволяет уловить *в действии* самую разрозненную субъективность. В переходе от одной социальной игры к другой можно заметить не только осаждение слоев диспозиций или субъективного взгляда на самого себя, но и более определенное выражение нередуцируемости «Я» в действии, которое всегда единично.

«При переходе из одной игры в другую (через перегибы, несоответствия, часто незначительные сдвиги) в тот же самый момент (во время "перехода") вновь оказываешься, "вновь узнаешь" себя все-таки в том же самом, от чего только что ушел: здесь мы имеем дело с субъектом, этим бледным переходом, который придает своей оттенок различным деяниям нашей жизни» [там же, с. 555—556].

Именно в гибели Субъекта (с заглавной буквы) выступают эти более лабильные процессы *субъективации*, во время переходов между множеством способов вступления в мир. Поскольку это вторгается в область социальных отношений, социология готова высказаться по этому поводу.

В случае Мартина Хайдеггера ни идентичность-самость габитуса по Пьеру Бурдьё, ни идентичность-тожесть ощущения-себя по Дюбе не в состоянии схватить эту фигуру единичности. Ее очертания надо искать в переходах и напряжениях между вдохновением философа, стратегией преподавателя и политика или любовью любов-

276

ника. Чтобы сконструировать ее социологически, необходимо работать с другими эмпирическими материалами, например, такими, как переписка с самыми разными корреспондентами, в которой активизируется множественность регистра. Эссе Э. Эттингера [23] об отношениях между Ханной Арендт и Мартином Хайдеггером, несмотря на ее сильную враждебность к Хайдеггеру и отрывочный характер представленных материалов, предлагает нам некоторые ресурсы для того, чтобы двигаться в этом направлении. Любовная связь, которую Хайдеггер и Арендт поддерживали между 1925 и 1928 годами и которая началась тогда, когда она была его студенткой, предлагает нам необычный взгляд на Хайдеггера, «темпераментного и страстного мужчину», автора «глубоко сентиментальных и романтических писем» [там же, с. 22], выступающего в других контекстах действия. Упоминание в дальнейшей переписке их первого разговора в его кабинете — «нежное» воспоминание «впечатления от Ханны, входящей в его кабинет, одетой в плащ и шляпу, которая слегка скрывала ее лицо, чуть слышно говорящей время от времени "да" или "нет"» [там же, с. 23] — представляет, с этой точки зрения, интересный случай. Интуитивно представляется, что соотнесение воспоминания об этом эмоциональном моменте с габитусом (идентичность-самость) или с устоявшимся чувством собственной аутентичности (идентичность-тожесть) не позволит заметить нечто важное в опыте, а именно: несводимость субъективных эмоций в действии к идентитарной принадлежности. Это тот вид опыта, затрагивающий наше отношение ко времени, о котором писал Даниель Бенсаид, заимствуя из философии Вальтера Беньямина: «Во встрече влюбленных взглядов, в мелькании событий бесконечно малое властвует над бесконечно большим. Мимолетное держит в плену вечное» [3, с. 137]. Однако прагматическая социология имеет инструменты, позволяющие ей вступить на это поле исследований. Подобную фигуру единичности можно уловить в состоянии *agapé*, описанном Болтански [4]. Если продолжить рассматривать случаи любовного опыта, то исследования Кауфмана [31] и Лаи-

277

ра [33] о повседневной мечтательности также могли бы оказаться эвристичными.

Такого рода инструменты могут нам помочь пролить новый свет на вопрос об антисемитизме Мартина Хайдеггера. Речь не о том, чтобы гипостазировать антисемитизм как вездесущую сущность (поскольку нужно обязательно учитывать любовные отношения со студенткой-еврейкой, в которых никоим образом не проявлялось антисемитское настроение: Арендт защищала Хайдеггера от обвинений в нацизме и антисемитизме до конца своей жизни), но о том, чтобы рассмотреть его как одну из диспозиций или возможностей, открытую в первые годы его ученичества и актуализированную лишь в некоторых обстоятельствах. Например, случай политико-университетского конфликта, противопоставившего его философу Эдуарду Баумгартену, можно трактовать как активацию

стратегического режима действия. В 1933 году Хайдеггер послал, по своей собственной инициативе, конфиденциальное письмо в организацию преподавателей национал-социалистов университета в Геттингене (в то время как сам он был в Фрайбурге), свидетельствующее о его враждебности по отношению к служебному продвижению Баумгартена, которое рассматривал университет. В частности, он там писал:

«Доктор Баумгартен происходит, судя по его семье и его духовному настрою, из круга либерально-демократической интеллигенции, объединившейся вокруг Макса Вебера. За время его пребывания здесь он был кем угодно, только не национал-социалистом. <...> После того как он потерпел неудачу со мной, он тесно сблизился с евреем Френкелем, который был очень активным в Геттингене, а затем был изгнан из этого университета» (цит. по: [24, с. 275]).

Мы не станем и в этом случае принимать позицию релятивизма, который попытался бы расположить симметрично различные «точки зрения» на антисемитизм Хайдеггера. Скорее, речь идет о том, чтобы более точно обозначить условия активации такого типа диспозиции или возможности в различных режимах действия. То, что имеет смысл

278

в стратегическом режиме, может утратить его в режиме *agapé*. Как, например, в исследовании, опирающемся на работы Дюбе, где понимающее намерение стремится не допустить релятивистского уклона, разрушительного с этической точки зрения.

Осмысливать единичность человеческих существ — значит пытаться осмысливать также их диспозиции и потенции, многообразие способов вступления в мир, разнообразие встречающихся обстоятельств, их противоречия и их неоднозначность. Для социолога, находящегося под двойным ограничением социологической «игры познания», это означает: во-первых, исследовать «социальные отношения», т. е. в широком смысле отношений с людьми и с окружающей действительностью в предустановленном социально-историческом мире; во-вторых, разрабатывать теоретические инструменты *в перспективе* эмпирических испытаний. Именно в этом проявляется двойная специфика социологии в сравнении с другими дисциплинами, такими, как философия или психология.

В конце этого обзора становится ясно, каким образом понятие габитуса может выступать одновременно и как точка опоры, и как препятствие при выявлении различных сторон единичности. Понятие, даже самое совершенное, не способно с самого начала охватить такую сложную реальность, которая требует провести еще множество исследований, теоретических и эмпирических. Теоретический плюрализм, свойственный социальным наукам [36], является здесь козырем, не позволяющим впасть в эклектизм, т. е. невыстроенное совмещение понятий разного происхождения. Впрочем, в наши задачи не входило опровержение в целом исследований, ставших возможными благодаря понятию габитуса, но только желание самым скрупюльным образом поучаствовать в том, чтобы лучше определить их вклад, и открыть новые горизонты, отталкиваясь от их недостатков. С этой точки зрения, предпринятый нами *постбурдьевский* обзор прежде всего воздает должное творчеству Пьера Бурдьё.

Перевод с французского Г. А. Зайцевой

279

Литература

1. *Аристотель*. Никомахова этика 1103 а 26 /Пер. Н. В. Брагинской // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4 / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. А. И. Доватура. М.: Мысль, 1984. С. 78.
2. *Benoist J.* La subjectivité // Notions de philosophie/ Kambouchner D. (dir.). Т. II. P.: Gallimard, 1995.
3. *Bensaïd D.* Walter Benjamin: Sentinelle messianique. P.: Plon, 1990.
4. *Boltanski L.* L'Amour et la Justice comme compétences. P.: Métailié, 1990.
5. *Boltanski L., Thévenot L.* De la justification. P.: Gallimard, 1991.
6. *Bourdieu P.* Le Sens pratique. P.: Minuit, 1980.
7. *Bourdieu P.* Leçon sur la leçon. P.: Minuit, 1982.
8. *Bourdieu P.* L'illusions biographiques // Actes de la recherche en sciences sociales. 1986. № 62-63.
9. *Bourdieu P.* L'Ontologie politique de Martin Heidegger. P.: Minuit, 1988.
10. *Bourdieu P.* Les Règles de l'art: Genèse et structure du champ littéraire. P.: Seuil, 1992.
11. *Bourdieu P.* (dir.) La Misère du monde. P.: Seuil, 1993.
12. *Bourdieu P.* Méditations pascaliennes. P.: Seuil, 1997.
13. *Bouveresse J.* Règles, dispositions et habitus // Critique. 1995. № 579-580.
14. *Cavell S.* Les Vois de la raison: Wittgenstein, le scepticisme, la moralité et la tragédie : Trad. fr. P.: Seuil, 1996.
15. *Cicourel A. V.* Aspects of Structural and Processual Theories of Knowledge // Bourdieu: Critical Perspectives / Calhoun C & al. Cambridge: Polity Press, 1993.
16. *Corcuff P.* Note de lecture sur «Réponses» de P. Bourdieu et L. J. D. Wacquant (Paris: Seuil, 1992) // Revue française de sociologie. Vol. 34. 1993. № 2.
17. *Corcuff P.* Les Nouvelles Sociologies: Constructions de la réalité sociale. P.: Nathan, 1995.
18. *Corcuff P.* Théorie de la pratique et sociologie de l'action: Anciens problèmes et nouveaux horizons à partir de Bourdieu // Actuel Marx: Autour de Pierre Bourdieu. 1996. № 20.
19. *Corcuff P.* Ordre institutionnel, fluidité situationnelle et compassion: Les interaction au guichet de deux Caisses d'Allocations Familiales // Recherches et Prévisions. CNAF. 1996. №45.

280

20. *Corcuff P.* Lire Bourdieu autrement // Magazine littéraire: Pierre Bourdieu: l'intellectuel dominant? 1998. № 369.
21. *Corcuff P.* Le sociologue et les acteurs: épistémologie, éthique et nouvelle forme d'engagement // L'Homme et la Société. 1999. № 131.
22. *Dubet F.* Sociologie de l'expérience. P.: Seuil, 1994.
23. *Ettinger E.* Hannah Arendt et Martin Heidegger: Trad. fr. P.: Seuil, 1995.
24. *Farias V.* Heidegger et le nazisme :Trad. fr. P.: Verdier/Le Livre de Poche, 1987.
25. *Goffman E.* Asiles : Trad. fr. P.: Minuit, 1968.
26. *Heidegger M.* Réponses et questions sur l'histoire et la politique : Trad. fr. P.: Mercure de France, 1988.
27. *Heinich N.* Façon d'être écrivain: L'identité professionnelle en régime de singularité // Revue française de sociologie. Vol. XXXVI. 1995.
28. *Heinich N.* Ce que l'art fait à la sociologie. P.: Minuit, 1998.
29. *Héran F.* La seconde nature de l'habitus: Tradition philosophique et sens commun dans la langage sociologique // Revue française de sociologie. Vol. XXVIII. 1987.
30. *Kaufmann J.-C.* Rôles et identité: l'exemple de l'entrée en couple // Cahiers internationaux de sociologie. Juillet-décembre, 1994.
31. *Kaufmann J.-C.* Le Cœur à l'ouvrage: Théorie de l'action ménagère. P.: Nathan, 1997.
32. *Lahire B.* Pratiques d'écriture et sens pratique // Identité, lecture, écriture /M. Chaudron, F. de Singly (éds). P.: Centre Georges Pompidou-BPI, 1993.
33. *Lahire B.* L'Homme pluriel: Les ressorts de l'action. P.: Nathan, 1998.
34. *Panofski E.* Architecture gothique et pensée scolastique / Trad. fr. et postface de P. Bourdieu. P.: Minuit, 1967.
35. *Passeron J.-C.* L'inflation des diplômes: Remarques sur l'usage de quelques concepts analogiques en sociologie // Revue française de sociologie. Vol. XXIII. 1982. № 4.
36. *Passeron J.-C.* De la pluralité théorique en sociologie: Théorie de la connaissance sociologique et théorie sociologiques // Revue européenne des sciences sociales. 1994. № 99.
37. Petit Robert. P.: Dictionnaires Le Robert, 12^e édition, 1973.
38. *Pinto L.* Pierre Bourdieu et la théorie du monde social. P.: Albin Michel, 1998.

281

39. *Ricoeur P.* Soi-même comme un autre. P.: Seuil, 1990.
40. *Taylor C.* Suivre une règle // Critique. 1995. № 579-580.
41. *Thévenot L.* Pragmatiques de la connaissance // Borzeix A. & al (éds.). Sociologie et connaissance. P.: Ed. du CNRS, 1998.
42. *Verdés-Leroux J.* Le Travail social. P.: Minuit, 1978.
43. *Verdés-Leroux J.* Le Savant et la politique: Essai sur le terrorisme sociologique de Pierre Bourdieu. P.: Grasset, 1998.

Библиография

Основные труды Пьера Бурдьё

- Социология политики I* Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1993.
- Начала. Choses dites I* Пер. с фр. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1994.
- Университетская докса и творчество: против схоластических делений I* Пер. с фр. // Socio-Logos'96. М.: Socio-Logos, 1996. С. 8-31.
- За рационалистический историзм I* Пер. с фр. // Социо-Логос постмодернизма: Альманах Российско-французского центра социологических исследований. М.: Институт экспериментальной социологии, 1997.
- Дух государства: генезис и структура бюрократического поля I* Пер. с фр. // Поэтика и политика: Альманах Российско-французского центра социологии и философии. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1999. С.125-166.
- Социология и демократия I* Пер. с фр. // Поэтика и политика: Альманах Российско-французского центра социологии и философии. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1999. С. 119-124.
- Практический смысл I* Пер. с фр. / Общ. ред. и послесл. Н. А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001.
- Sociologie de l'Algérie.* P.: PUF, 1958.
- Le Déracinement: La crise de l'agriculture traditionnelle.* P.: Minuit, 1964, 1977. (avec A. Sayad).
- Les étudiants et leurs études.* P.: EHESS-Mouton, 1964. (avec J.-C. Passeron, M. Eliard).

283

- Les Héritiers: Les étudiants et la culture.* P.: Minuit, 1964. (avec J.-C. Passeron).
- Rapport pédagogique et communication.* P.: Mouton, 1965. (avec J.-C. Passeron, M. de Saint Martin).
- Un art moyen: Essai sur les usages sociaux de la photographie.* P.: Minuit, 1965. (avec L. Boltanski, R. Castel, J.-C. Chamboredon).
- L'Amour de l'art: Les musées de l'art européens et leur public.* P.: Minuit, 1966, 1969 (avec A. Darbel, D.

Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

Schnapper).

Le Métier de sociologue. P.: Mouton-Bordas, 1968. (avec J.-C. Passeron, J.-C. Chamboredon).

La Reproduction: Éléments pour une théorie du système d'enseignement. P.: Minuit, 1970, 1989 (avec J.-C. Passeron).

Esquisse d'une théorie de la pratique: Précédée de trois études d'ethnologie kabyle. Genève: Droz, 1972.

Algérie'60. Structures économiques et structures temporelles. P.: Minuit, 1977.

La Distinction: Critique sociale du jugement. P.: Minuit, 1979.

Le Sens pratique. P.: Minuit, 1980.

Questions de sociologie. P.: Minuit, 1980.

Leçon sur la leçon. P.: Minuit, 1982.

Ce que parler veut dire: L'économie des échanges linguistiques. P.: Fayard, 1982.

Homo academicus. P.: Minuit, 1984, 1992.

Choses dites. P.: Minuit, 1987.

L'Ontologie politique de Martin Heidegger. P.: Minuit, 1988.

La Noblesse d'Etat: Grandes écoles et esprit de corps. P.: Minuit, 1989.

Language and symbolic power. Cambridge: Polity Press, 1991.

Réponses: Pour une anthropologie réflexive. P.: Seuil, 1992 (avec L. J. D. Wacquant).

Les Règles de l'art: Genèse et structure du champ littéraire. P.: Seuil, 1992.

La Misère du monde. P.: Seuil, 1993 (en collaboration).

Libre-échange. P.: Seuil/Les Presses du réel, 1994 (avec H. Haacke).

Raisons pratiques: Sur la théorie de l'action. P.: Seuil, 1994.

Sur la télévision: L'Emprise du journalisme. P.: Raison d'agir, 1996.

Méditations pascaliennes. P.: Seuil, 1997.

Les usages sociaux de la science: pour une sociologie clinique du champ scientifique. P.: INRA, 1997.

284

Contre-feux: Propos pour servir à la résistance contre l'invasion néo-libérale. P.: Raison d'agir, 1998.

La Domination masculine. P.: Seuil, 1998.

Propos sur le champ politique. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 2000.

Contre-feux 2: Pour un mouvement social européen. P.: Raison d'agir, 2001.

Публикации о Пьере Бурдьё

Карсенти Б. Социология в пространстве точек зрения // Поэтика и политика: Альманах Российско-французского центра социологии и философии. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1999.

Може Ж. Социологическая ангажированность // Поэтика и политика: Альманах Российско-французского центра социологии и философии. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1999.

Шматко Н. А. Введение в социоанализ Пьера Бурдьё: Предисловие к книге П. Бурдьё «Социологии политики». М.: Socio-Logos, 1993.

Шматко Н. А. Габитус в структуре социологической теории // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. № 2.

Шматко Н. А. Генетический структурализм Пьера Бурдьё // История теоретической социологии. В 4 т. Т. 4 / Отв. ред. и составитель Ю. Н. Давыдов. СПб.: РХГИ, 2000.

Шматко Н. А. На пути к практической теории практики: Послесловие к книге П. Бурдьё «Практический смысл». М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001.

Accardo A. Introduction à une sociologie critique: lire Bourdieu. Paris : Mascaret, 1997 (2e éd.).

Accardo A., Corcuff P. La Sociologie de P. Bourdieu: Textes choisis et commentés. P.: Le Mascaret, 1986.

Ansart P. Les sociologie contemporaines. P.: Seuil, 1990.

Bonnewitz P. Premières leçons sur la sociologie de P. Bourdieu. P.: PUF, 1998.

Caillé A. Don, intérêt et désintéressement: Bourdieu, Marx, Platon et quelques autres. P.: La Découvert, 1994.

Caro J.-Y. La sociologie de Pierre Bourdieu: élément pour une théorie du champ politique // Revue française de science politique. 1980. №6.

285

Corcuff P. Les nouvelles sociologies: Construction de la réalité sociale. P.: Nathan, 1995.

Ferry L., Renaut A. La pensée 68: Essai sur l'anti-humanisme contemporain. P.: Gallimard, 1985.

Grignon C. Le savant et le lettré: Ou l'examen d'une désillusion // Revue européenne des sciences sociales. Vol. 34. 1996. № 103.

Grumberg G., Schweisguth E. Bourdieu et la misère: une approche réductionniste // Revue française de science politique. Vol. 46. 1996. № 1.

Lahire B. (dir.) Le Travail sociologique de Pierre Bourdieu: Dettes et critiques. P.: La Découverte, 1999.

Meyer N. L'entretien selon Pierre Bourdieu // Revue française de sociologie. 1995. №36.

Mongin O., Roman J. Le populisme version Bourdieu ou la tentation du mépris // Esprit. 1998. № 244.

Passeron J.-C. Le Raisonnement sociologique. P.: Nathan, 1991.

Passeron J. C., Grignon G. Le Savant et le Populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et littérature. P.: EHESS, Gallimard, Seuil, 1989.

Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. — 288 с.

Pinto L. Pierre Bourdieu et la théorie du monde sociale. P.: Albin Michel, 1998.

Raynaud P. Le sociologue contre le droit // Esprit. Mars 1980.

Swartz D. Culture and Power: The sociology of Pierre Bourdieu. Chicago: University of Chicago Press, 1997.

Verdès-Leroux J. Le Savant et la Politique: Essais sur le terrorisme sociologique de Pierre Bourdieu. P.: Grasset, 1998.



ИЗДАТЕЛЬСТВО

«АЛЕТЕЙЯ»:

НОВЫЕ КНИГИ О ГЛАВНОМ

Книги нашего издательства продаются в Москве:

магазин «Библио-Глобус» (м. «Лубянка»); в книжной лавке «У Сытина» (тел.: (095) 156-8670; проезд Черепановых, 56); Московский Дом Книги (м. «Арбатская»); магазин «У Кентавра» (м. «Новослободская», Миусская пл., д. 6; тел. (095)214-5446);

магазин «Ad marginem» (м. «Павелецкая», 1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7; тел. (095) 951-9360); еженедельная книжная ярмарка в «Олимпийском» (м. «Проспект мира»).

В Петербурге весь ассортимент книг издательства «Алетейя» представлен в специализированных магазинах и отделах:

Дом Книги (Невский пр., 28, отдел «Общественных наук и учебной литературы»);

в магазинах издательства Санкт-Петербургского университета (Университетская набережная, д. 7/9);

Российская Национальная (б. Публичная) Библиотека (м. «Гостиный Двор», книжный киоск при входе в Научные Читальные Залы на площади Островского); в магазинах и киосках «Академкниги»;

в магазинах издательско-торгового дома «Летний Сад»:

Большой пр. П. С, 82 (тел. (факс) (812) 232-2104); В. О.,

Менделеевская линия, 5; Невский пр., 3;

в ассортиментном кабинете «Петербургского книжного центра» (Стремянная ул., 20) тел. (812) 113-1012;

на еженедельной книжной ярмарке в ДК им. Крупской (м. «Елизаровская»).

Наши книги в Интернете: <http://www.petropol.com>

<http://www.biblio-globus.ru>

Для получения книг почтой заказы направляйте по адресу:

199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9

Издательство Санкт-Петербургского университета, отдел «Книга — почтой»:

факс (812) 218-4422,

тел. (812)218-7763

а также заказав их через отдел "Книга — почтой"

Санкт-Петербургского Дома Книги,

прислав заказы по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 28

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРИГЛАШАЕТ

К СОТРУДНИЧЕСТВУ АВТОРОВ, ПЕРЕВОДЧИКОВ, РЕДАКТОРОВ

Телефон редакции: (812) 567-2239 **факс:** (812)567-2253 **E-mail:** aletheia@spb.cityline.ru Пишите нам по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 13

Дирекция издательства: О. Л. Абышко И. А. Савкин

Редактор: *Н. М. Баталова*

Корректор: *Т. А. Брылева*

Макет обложки: *А. Бондаренко*

Оригинал-макет: *И. А. Смаришева*

ИД № 4372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»:

Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 13

Телефон:(812) 567-2239

Факс:(812)567-2253

Сдано в набор 15.02.2001. Подписано в печать 01.06.2001.

Формат 84* 108 1/32. Объем 9 п. л. Тираж 1300 экз.

Заказ № 4394

Отпечатано с готовых диапозитивов

в Академической типографии «Наука» РАН

199034, Санкт-Петербург, 9 линия, д. 12

Printed in Russia

Сканирование и форматирование: [Янко Слава](mailto:Янко_Слава) (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || yanko_slava@yahoo.com || <http://yanko.lib.ru> || Исq# 75088656 || Библиотека: <http://yanko.lib.ru/gum.html> || Номера страниц - внизу

update 29.12.06
